„ЧТО ДЕЛАТЬ?"
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Историко-функциональное исследование

«НАУКА»

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
Институт мировой литературы им. А. М. Горького

„ЧТО ДЕЛАТЬ?" Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Историко-функциональное исследование

Ответственный редактор
доктор филологических наук
К. Н. Ломунов

Москва «Наука»
1990

ББК 83.3Р
Ч 11

Редакционная коллегия:
У. А. Гуральник, Г. Г. Елизаветина,
И. В. Кондаков, К. Н. Ломунов

Рецензенты:
доктор филологических наук *А. Ф. Захаркин,*
кандидат филологических наук *С. Д. Гурвич*

«Что делать?» Н. Г. Чернышевского: Историко-функцио-
Ч 11 нальное исследование.— М.: Наука, 1990.— 248 с.
ISBN 5-02-011421-9

Коллективный труд о романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?» примыкает к серии исследований, посвященных «жизни во времени» шедевров русской классической литературы («Русская литература в историко-функциональном освещении», 1979; «Литературные произведения в движении эпох», 1979; «Время и судьбы русских писателей», 1981). На обширном материале рассматривается вопрос о современном прочтении знаменитой книги, получившей высокую оценку В. И. Ленина.

Для литературоведов, историков, преподавателей, аспирантов, студентов гуманитарных вузов.

Ч $\frac{4603000000\text{-}141}{042(02)\text{-}90}$ 746-90-(I) ББК 83.3Р

ISBN 5-02-011421-9

© Институт мировой литературы
им. А. М. Горького АН СССР, 1990

ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

Особое место романа «Что делать?» в истории русской литературы, огромное влияние, оказанное им на общественное самосознание, взаимоисключающие оценки, высказывавшиеся читателями в разное время, наконец, проблема художественности, неизбежно и неоднозначно встающая в связи со «Что делать?»,— все это привело к тому, что творение Чернышевского до сих пор продолжает занимать литературоведов, вызывать споры.

Изучение романа «Что делать?» ведется в разных аспектах, что имеет давнюю традицию. Однако необычность судьбы романа, богатство преломленных в нем идей, неординарность его формы и сегодня оставляют открытыми многие вопросы, которые встают в связи с попыткой постичь феномен «Что делать?». Содержание романа, его художественное своеобразие, несмотря на многие — в том числе весьма плодотворные — усилия ученых, все еще не поддаются итоговым определениям и оценкам. Относится это и к исследованиям историко-функциональным.

Среди работ, ориентированных на историко-функциональное изучение «Что делать?», есть исследования, относящиеся еще к дооктябрьскому периоду и первому послереволюционному десятилетию. Некоторые из них полностью сохранили свое научное значение до сих пор. Такова статья Н. Л. Бродского «Н. Г. Чернышевский и читатели 60-х годов» (1914) [1] или опубликованная в 20-е годы содержательная работа А. П. Скафтымова «Роман „Что делать?“. Его идеологический состав и общественное воздействие» [2] и ряд других. Но и нерешенных вопросов в историко-функциональном изучении творчества Чернышевского остается много. Например, «до сих пор систематически не изучена „жизнь во времени“ романов Чернышевского, их историко-функциональное бытование на протяжении ста с лишним лет» [3].

Представляется, что в данном случае наиболее значимым является указание на отсутствие именно систематического историко-функционального изучения «Что делать?». И в этом плане новый коллективный труд, задача которого — проследить, как воспринимался роман с момента его выхода и до сегодняшнего дня, может в какой-то мере восполнить существующие пробелы.

Основой историко-функционального исследования, осуществляемого в данной книге, стало убеждение в многообразии причин необыкновенного успеха романа и широком ареале распространения его влияния. Отсюда внимание к произведению Чернышевского и как к явлению собственно художественному, и как к политическому событию, и как к «учебнику жизни».

В коллективном труде соблюдается в целом хронологический принцип расположения материала, ибо лишь таким образом можно, во-первых, воссоздать наиболее полную картину жизни романа во времени и, во-вторых, выявить те особенности идейно-эстетической и политической борьбы в России, которые оказались решающими для «судьбы» романа на тех или иных этапах его существования в истории русской культуры.

Хронологические рамки книги определяются, с одной стороны, годом публикации романа — 1863, с другой — нашей современностью. Таким образом, коллективным исследованием оказывается охвачен весь период бытования романа Чернышевского — вплоть до настоящего времени.

Не претендуя на исчерпывающую полноту в освещении этого процесса, исследователи все же надеются, что им удалось обратить внимание всех, кого интересует творчество Чернышевского и его роман «Что делать?», на некоторые хотя бы еще недостаточно изученные проблемы.

Институт мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР выпустил ряд трудов, посвященных изучению литературы в историко-функциональном освещении. Среди них «Литературные произведения в движении эпох» (1979), «Время и судьбы русских писателей» (1981) и др. Примыкая к ним по методологии и решаемым научным задачам, новая книга отличается от предшествующих тем, что в ней исследуется лишь одно произведение. Этим обусловлены и преимущества, и трудности приложения историко-функционального подхода к литературному произведению, живущему так долго, как роман «Что делать?».

Все произведения Чернышевского (кроме особо оговоренных случаев) цитируются в коллективном труде по изданию: *Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч.: В 15 т. (16-й дополнительный). М., 1939—1953 — с указанием римской цифрой — тома и арабской — страниц.

[1] Вестник воспитания. 1914. № 9. С. 155—179.

[2] В кн.: *Чернышевский Н. Г.* Неизданные тексты, статьи, материалы, воспоминания. Саратов, 1926. С. 92—140.

[3] *Гуральник У. А.* Наследие Н. Г. Чернышевского — писателя и советское литературоведение. М., 1980. С. 229.

П. А. Николаев

«...ЧТОБЫ ЧИТАЛИ ВСЕ...»

Русская литература была для Чернышевского и высокой формой искусства, и одновременно высокой трибуной общественной мысли. Соответствовал такому представлению и написанный самим Чернышевским роман «Что делать?», имевший необыкновенную судьбу.

В 1862 г. Чернышевский, задумав создать обширную «энциклопедию» «знания и жизни», пишет жене о своем намерении обратиться к беллетристической форме, которая, как он надеется, даст ему возможность выйти на самого широкого читателя и познакомить его со своими воззрениями. Книга должна была быть написана «в самом легком популярном духе, в виде почти романа, с анекдотами, остротами, так, чтобы читали все, кто не читает ничего, кроме романов» [1].

По завершении роман «Что делать?» превзошел эти скромные намерения Чернышевского. Книга не просто популяризировала идеи, она имела самостоятельные художественные цели, соответствовала всей эстетической программе автора.

Разумеется все же, что не только в контексте теоретико-эстетических исканий 60-х годов надо искать историческое своеобразие художественной деятельности Чернышевского. Она объясняется и общественно-политическими потребностями. Центральной проблемой первого романа Чернышевского явился ответ на один из великих вопросов русской мысли, в ряду которых были герценовское «Кто виноват?» и добролюбовское «Когда же придет настоящий день?». Осуждая беспощадно все формы социального и духовного насилия, критик, ставший романистом, на собственный вопрос «Что делать?» отвечал: уничтожить такие формы и уничтожить единственным, революционным путем.

Книга создавалась в обстановке напряженнейшей — как в плане общем, так и личном. Поражение в Крымской войне стимулировало глубокий кризис царизма. В России ширились крестьянские волнения, усугубляемые крестьянской реформой 1861 г. Уже после нее произошли известные восстания крестьян в селе Кандеевка Пензенской губернии и в селе Бездна Казанской губернии. Последнее было жестоко подавлено. Бездненская трагедия вошла в историю как одно из самых кровавых преступлений царизма. Росли студенческие беспорядки, расширялась сеть тайных революционных кружков и групп, по рукам ходили листовки и воззвания. Царское правительство было не на шутку испу-

© П. А. Николаев, 1990

тано, а все честное и передовое в России в тревожном и радостном возбуждении ждало чего-то, что вот-вот должно было совершиться, ждало взрыва, ждало революции, перемен, будущего. Ждало героев.

Выйдя в свет, роман произвел впечатление ошеломляющее. И таким оно оставалось долго. Не только современники, несколько поколений русских читателей находились под его влиянием, под его обаянием.

«Кто не читал и не перечитывал этого знаменитого произведения? — писал Плеханов.— Кто не увлекался им, кто не становился под его благотворным влиянием чище, лучше, бодрее и смелее? Кого не поражала нравственная чистота главных действующих лиц? Кто после чтения этого романа не задумывался над собственною жизнью, не подвергал строгой проверке своих собственных стремлений и наклонностей? Все мы черпали из него и нравственную силу и веру в лучшее будущее.

И доверенность великую
К бескорыстному труду...

пусть укажут нам хоть одно из самых замечательных, истинно художественных произведений русской литературы, которое по своему влиянию на нравственное и умственное развитие страны могло бы поспорить с романом „Что делать?“. Никто не укажет такого произведения...» [2]

Мы знаем случаи, когда книги, возникшие в гуще боя, служившие орудием в острой идеологической борьбе и игравшие в ней немаловажную роль, утрачивали свое непосредственное художественное значение по мере того, как пропадала «утилитарная» необходимость в них; они оставались памятниками эпохи, ее документами, занимали должное место в истории литературы, но теряли свою живую силу. С романом «Что делать?» этого не случилось. Причина в том, что книга эта как произведение мыслителя заключает в себе непоколебимую истину. Произведение мужественного человека, она проникнута гражданским пафосом и героическим творческим напряжением. Причина еще и в том, что она представляет собою оригинальное, новаторское художественное произведение.

Ко времени выхода «Что делать?» в свет Чернышевский был широко известным, признанным идейным руководителем передовой части русского общества, имевшим много друзей, а еще более — врагов, которые ждали провала первого романа писателя. А. М. Скабичевский вспоминал: «В майковском салоне хихикали и радостно потирали руки в предвкушении падения идола молодежи с его высокого пьедестала» [3].

Злорадные надежды не сбылись. Трудно найти в русской литературе XIX в. еще произведение, которое имело бы такой общественный резонанс, оказало бы такое влияние на развитие революционной мысли, как «Что делать?». Естественно: ведь в романе читатель находил ответы на все то, что волновало и интересовало его.

Появление романа было исторически необходимым и неизбежным: назрела необходимость выразить идеи и стремления молодого поколения, вышедшего на арену общественной борьбы в России. П. Н. Ткачев в предисловии к французскому переводу «Что делать?» писал: «Основной вопрос, который обсуждался тогда в кружках молодых людей,— это вопрос о том, что делать?— что делать для того, чтобы освободить страну от подлого политического и экономического деспотизма... что делать для того, чтобы реализовать в частной и общественной жизни моральные и социальные идеи, запечатленные в сердцах молодежи. Чернышевский в своем романе подошел ко всем этим вопросам, и именно в виду этого реакционная партия назвала его „дело" евангелием социально-революционной партии» [4].

Бесспорно, «Что делать?» — политический роман. Но его автор, вопреки мнению реакционной и либеральной критики, прекрасно осуществил и собственно художественные задачи. Он активно думал о них, сопоставлял свой опыт с классической традицией. О характерах в его романе часто говорили: они — почти копия реальных лиц, и это будто бы единственное свидетельство их реалистичности. Сам Чернышевский, однако, отрицал прототипичность как реалистическую основу образов «Что делать?». В предисловии к своему роману «Повести в повести», написанном сразу же вслед за «Что делать?» и тоже в Петропавловской крепости, он заметил: «О действительных лицах говорят в ученых сочинениях; в поэтических произведениях — нет, не говорят... Главное в поэтическом таланте — творческая фантазия... когда я писал „Что делать?", во мне стала являться мысль: очень может быть, что у меня есть некоторая сила творчества. Я видел, что не изображаю своих знакомых, не копирую, что мои лица столь же вымышленные лица, как лица Гоголя» (XII, 682).

Понятно, почему прежде всего всплыло имя Гоголя: ведь его произведения Чернышевский до конца своих дней считал эстетическими образцами.

«Что делать?» принадлежит к тем произведениям, в которых видна характерная черта русской литературы — ее высокий социальный и нравственный пафос, ее стремление самоотверженно и сознательно служить народу, прогрессу, делу улучшения жизни людей на земле. Здесь имеет место тот нечастый случай, когда художественное произведение являет собою вершину научной, философской и общественной мысли своей страны и своего времени. Роман этот был в прямом смысле слова оружием в руках автора — революционера, ученого, писателя. Он и родился в пылу боя, и служить был призван борьбе.

В тяжких условиях одиночного заключения Чернышевскому приходилось вести напряженный поединок со следственной комиссией, разоблачая жульнические уловки жандармов, у которых не было формальных доказательств его виновности (это и заставило жандармов прибегнуть к услугам провокатора). Непостижимо, каким образом мог этот человек в таких условиях написать

в общей сложности около двухсот авторских листов, т. е. свыше трех тысяч страниц печатного текста, и в том числе роман «Что делать?».

Объяснить этот факт можно лишь одним: одержимостью сознательного и убежденного борца. Этим же в большой мере объясняется та сила, с какой воздействовал роман «Что делать?» на русское общественное мнение, на умы и сердца людей, на друзей и врагов. Последние с остервенением набросились на книгу, понося устно и печатно героев романа, его идеи, его художественные качества, самого автора, лишенного возможности защищаться. Сначала особенно активно действовала реакционная критика. Для газеты «Северная пчела», которая когда-то устами Булгарина поносила Гоголя и его школу, роман Чернышевского послужил поводом к бесчестным обвинениям разночинной молодежи в безнравственности. Роман был объявлен книгой, проповедующей свободу пошлых нравов. С еще большей силой критические приемы Булгарина возродил журнал «Домашняя беседа», где правительству рекомендовалось отправить автора «Что делать?» и людей, подобных героям его романа, в «смирительные дома, исправительные заведения», «пока не выйдет из головы эмансипированная дурь. А если и этим не проймешь, то есть дорога и подальше» [5]. И позднее подобная пресса продолжала бесстыдные нападки на роман Чернышевского. Но, несмотря ни на что, в том числе и на официальное запрещение, книга продолжала жить.

Своеобразие «Что делать?» заключается в том, что книга эта органично и естественно сочетает строго продуманную и логичную революционно-философскую систему, стройное учение о социалистическом переустройстве общества с глубоко личной, местами лирической интонацией рассказа о частных судьбах людей; она реализует в неповторимом художественном целом открытый публицистический пафос злободневности, пафос политического воззвания, революционной прокламации и высоту великих общечеловеческих идеалов, нравственных ценностей человечества.

Необычайно точна политическая нацеленность романа. Он содержит те основные черты, какие характерны для сочинения общественно-политического, в том числе и для революционного манифеста, программы. Здесь есть анализ современного исторического положения, которое не может более устраивать честных людей,— это картины того мира, где обитают и хозяйничают Марьи Алексеевны, Сторешниковы, Жаны, Сержи и другие, невидимые, стоящие за их спиной и над ними; это второй сон Веры Павловны, где реальный мир предстает в символическом образе поля. Здесь есть указания на тот экономический строй, посредством которого можно преобразовать этот мир в новый, достойный человека. Прообразом будущего мира являются мастерские Веры Павловны, созданные на социалистических началах. Здесь дан тот идеал общества, за который следует бороться: вдохновенные картины будущего в четвертом сне Веры Павловны, нравственная сущность главных героев романа.

Социализм Чернышевского, как указывал В. И. Ленин, был утопическим. Писатель не знал закономерностей перехода от феодально-крепостнического общества к социалистическому — их открыл марксизм. Чернышевскому казалось, что старая русская полуфеодальная крестьянская община может служить формой перехода к социализму. Поэтому картины будущей счастливой жизни, нарисованные в романе, выступают как олицетворение некоего весьма абстрактного идеала, а не как ясно видимые результаты исторического процесса.

Они прекрасны сами по себе. В них показано, как человек, освобожденный от эксплуатации, добивается невиданных успехов в развитии материальной и духовной жизни, как далеко он проникает в тайны природы. Эти картины, полные эмоциональности, красочности, оптимизма, романтики, поэзии духовного совершенствования людей, звучат гимном человеку, и потому при всей своей утопичности они оказали такое огромное воздействие на мысль современников. «Внутри образованных кружков молодая жизнь кипела идеями Чернышевского. Ссылка его пролетела ураганом из края в край через университеты. Бурлило тайно все мыслящее,— писал И. Е. Репин,— затаенно жило непримиримыми идеями будущего и верило свято в третий сон Веры Павловны („Что делать?“)» [6].

Но главное в другом, Чернышевский отличался от социалистов-утопистов Западной Европы, мечтавших перейти мирным путем к социализму. Он также был революционным демократом, он «умел влиять на все политические события его эпохи в революционном духе...» [7]. Это в полной мере относится к его роману «Что делать?».

В романе Чернышевский показывает, что мирный, чисто эволюционый путь к светлому будущему невозможен, наглядное тому свидетельство — судьба мастерских, вынужденных законсервироваться в реальных условиях самодержавной России. Наконец, в романе утверждается необходимость насильственного свержения старого порядка, революционной борьбы против него. Это представлено в образе профессионального революционера Рахметова и связанных с ним тем, разговоров, намеков, а также раскрыто в последней, шестой главе — «Перемена декораций», рисующей в зашифрованной форме победу революции.

Необычен сюжет романа. Казалось бы, заурядная ситуация — неволя девушки в родительском доме — символизирует утверждение: вся нынешняя Россия — «подвал», где все люди — узники и рабы. Освобождение женщины из-под родительского ига и обретение личного счастья происходит в неслыханных доселе моральных и экономических формах и имеет символический социальный смысл.

Полная свобода женщины немыслима без равноправных отношений в семье. Брак с Лопуховым, помогшим Вере Павловне обрести самостоятельность, кажется ей счастьем, но вскоре оборачивается драмой. Этот брак без подлинной любви, что даже в

лучшем случае предполагает несвободу — обоюдное самопожертвование, обоюдную моральную связанность. Наконец конфликт разрешается: Лопухов «исчезает», Вера Павловна находит семейное счастье в браке с Кирсановым, основанном не только на дружбе, взаимном уважении и общности идеалов, но и на глубоком чувстве.

Однако и такая свобода оказывается не вполне совершенной. Между Кирсановым и Верой Павловной происходит знаменательный разговор. Вера Павловна говорит: «Нужно иметь такое дело, от которого нельзя отказаться, которого нельзя отложить,— тогда человек несравненно тверже» (XI, 255). В дальнейшем такое дело называется «неотступным» делом, «личным» делом, а в применении к Рахметову — образцу твердости — прозрачно именуется «общим делом». Не случайно в этом контексте возникает образ Рахметова — «орла», до которого трудно подняться «обыкновенным людям», даже таким, как Кирсанов и Вера Павловна; не случайно произнесены и слова «общее дело». Идеал свободы, таким образом, ассоциируется с образом революционера Рахметова, который достиг полного слияния «личного» дела с «общим» в борьбе за революционное переустройство жизни.

«Я знаю о Рахметове больше, чем говорю»,— пишет автор (XI, 144). И тем не менее личность его обрисована достаточно ярко. Рахметов относительно «пассивен» в сюжете потому, что его активность проявляется вне пределов сюжета; она «читается» и ощущается по-настоящему в широком идейно-художественном контексте романа и даже выходит за пределы книги в своем воздействии на читателей. Этот поразительный и оригинальный эффект — «недействующее» лицо оказывается главным — составляет одно из достижений Чернышевского-романиста, его новаторский шаг в литературе, продемонстрировавший широкие возможности публицистического, общественно-философского романа.

При всем ригоризме, максимализме и прочих качествах, всегда приходящих на ум, когда вспоминаешь Рахметова, в этом образе заключено глубоко человеческое содержание. Речь не только о высоких идеалах Рахметова, не только о том, что сам автор характеризует своего героя как человека с пламенной любовью к добру, что Вера Павловна за его мрачностью и грубостью увидела нежную и добрую душу. Речь еще и о самом содержании слов, которыми определяют личность Рахметова другие герои и автор: «особенный человек», «необыкновенный человек», «высокая натура». Поверхностному взгляду может показаться, что это поэтизация «сверхчеловеческого», обожествление «высших натур» за счет принижения «обыкновенных». Но дело обстоит совсем наоборот. Ничего сверхчеловеческого и подавляющего в Рахметове нет. Просто он сильнее других людей, как это и бывает в жизни.

Образ Рахметова, как бы недорисованный и все же художественно завершенный, таинственный и вместе с тем предельно четкий, «бездейственный» в сюжете и одновременно главный в ро-

мане,— этот образ во всей своей необычности представляет яркий пример удивительной творческой свободы художника. Да и весь роман в целом с его «странным» сюжетом, необычными героями и раскованной композицией есть свидетельство творческой свободы писателя. Другое дело, что свобода не беззаконие. Нет необходимости доказывать, что Чернышевский следовал законам реализма: принципы реалистической эстетики, сформулированные им самим в знаменитой диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности», вошли, можно сказать, в плоть и кровь художника. Основным критерием художественности произведения Чернышевский считал жизненную правдивость, и этому критерию его роман соответствует вполне.

Особенность романа заключается в том, что «новые люди», составляющие в реальной действительности еще меньшинство, представлены Чернышевским как явление типическое, определяющее тенденцию развития. Положительные идеалы, положительные герои, конечно, не выдуманы писателем. Они выражают «прекрасные» начала реальной действительности. Появление нового — это и есть процесс движения, это и есть самое «интересное» в общественном развитии, это и есть прекрасное в жизни. Новое может стать предметом художественного воплощения, предметом типизации и в том случае, когда оно еще не стало господствующим, основным началом, когда оно еще исключительно. Так в образе Рахметова убедительно осуществлена типизация исключительного.

Враги романа «Что делать?», бессильные опорочить те идеалы, которые в нем проповедовались, пытались заходить с другого конца и заявлять, что роман слаб художественно. Их нападки свидетельствовали о том, что они слабо представляли себе ту самую специфику литературы, за которую на словах ратовали. Чернышевский прекрасно понимал, что специфика литературы — это прежде всего конкретный, единичный, индивидуальный образ, и не только образ определенного героя, но образ в широком значении этого слова. Нечего говорить, например, о том, какими яркими, сочными красками, как живо и наглядно изображена в романе Марья Алексеевна, как объемен и многозначен сатирический образ «проницательного читателя», какое огромное интеллектуальное и нравственное обаяние заключено в мастерски воплощенном авторском образе!

Вместе с тем, говоря о достоинствах романа, нет никакой необходимости приписывать ему те качества, которых в нем нет и которые ему, по его специфике, попросту не нужны. Не надо, например, выискивать черты мелочной «индивидуализации» положительных героев. Черты «новых людей» крупны, монолитны, это черты определенного типа, который только зародился, и нет нужды дробить их на мелкие черточки, преследуя то самое «правдоподобие», которому противостоит вся суть романа. Задача Чернышевского состояла как раз в том, чтобы подчеркнуть общее в подобных людях; индивидуализация этого типа прежде всего

в воссоздании его жизни и мышления. Надо сказать, что, когда сам автор отдает дань живописанию мелких привычек и отличий героев друг от друга, это нередко воспринимается как нечто необязательное по тем большим масштабам, которыми меряет он этих героев.

Существовало о романе «Что делать?» мнение, что, связанный цензурными ограничениями, Чернышевский не мог во всю ширь развернуть повествование о революционерах, о социальной борьбе и вот именно поэтому вынужден был высказать свои революционно-демократические взгляды в форме «семейного романа». Такое понимание романа в корне противоречит его духу и строю, всей его идейно-художественной концепции. Своеобразие и нравственная сила романа неотрывны от этой «вынужденной» его формы, от его «семейного» сюжета. Ведь именно этот сюжет, как мы видели, дает автору возможность с разных сторон подходить к теме неизбежности и необходимости революции, уверенно утверждать, что именно революция, решив проблемы общественные, поможет решить и проблемы частной жизни людей. Именно «семейный» сюжет позволил Чернышевскому вести свою пропаганду логически убедительно, от частного к общему и снова к частному. Но не только в логике дело. Дело еще и в нравственной позиции автора-гуманиста, в самой интонации романа, каковой есть не ученый трактат теоретика, а взволнованная проповедь.

Нет, не мог Чернышевский иначе «завязать» свой роман, иначе вести свой сюжет, как «через семью», через самое близкое, что есть у человека. Ибо идею социализма он «принял к сердцу» и говорить хочет о социализме от сердца, «чисто по-человечески». В том-то и дело, что социализм для него не только историческая необходимость, но и естественная, глубокая потребность настоящего человека, такая естественная и человеческая, как потребность в любви, в счастье. Здесь надо искать причины глубочайшего не только интеллектуального, но и эмоционального воздействия романа на читателей.

И если посмотреть на роман «Что делать?» в этом свете, то окажется, что политический, общественно-философский роман Чернышевского, роман-воззвание есть в самом деле и книга о любви. Не «любовный роман», а именно книга о любви, о том, что такое настоящая, истинная любовь и что нужно людям, чтобы все они могли жить по-человечески и любить по-человечески.

Именно в силу этого «общеинтересного» содержания роман и вызвал огромный общественный резонанс. Для многих поколений русских революционеров роман стал тем «учебником жизни», каким, по заявлению Чернышевского в его диссертации, должно быть всякое произведение искусства. От писателя, от его «учебника жизни» Чернышевский требовал объяснения изображаемых жизненных фактов, и это правило он выполняет в своем романе, прибегая к самым разнообразным приемам.

«Истинность» — одно из основных требований Чернышевского к литературе — не сводима к простому правдоподобию. Особенность романа заключается в том, что «новые люди», составляющие в реальной действительности еще меньшинство, представлены Чернышевским, как уже говорилось, в виде явления типического— во-первых; определяющего тенденцию развития — во-вторых. Положительные идеалы, положительные герои, конечно, не выдуманы писателем. Они выражают «прекрасные» начала реальной действительности. Появление нового — это и есть процесс видения, это и есть самое «интересное» в общественном развитии — для автора и для читателей романа.

Итак, «Что делать?» — книга о революции и книга о любви. Она отвечала интересам и стремлениям молодежи, которая и составила наиболее горячо принявшую роман часть читателей.

Роман Чернышевского породил целое движение. Тысячи женщин организовали артели по примеру мастерских Веры Павловны. Под влиянием романа была создана знаменитая коммуна писателя В. А. Слепцова, в течение двух лет существовала коммуна великого композитора М. П. Мусоргского, а также артель художников во главе с выдающимся живописцем И. Н. Крамским. Пусть бесплодны были эти попытки создать прочные социалистические организации в условиях полицейского режима, они сыграли свою благородную роль, революционизируя сознание людей.

Роман Чернышевского оказал огромное влияние на революционных деятелей второй половины XIX и всего последующего столетия. «Под его влиянием,— говорил В. И. Ленин,— сотни людей делались революционерами... Он, например, увлек моего брата, он увлек и меня. Он меня всего глубоко перепахал... Это вещь, которая дает заряд на всю жизнь» [8].

Замечательный — революционный и по идеям, и по своей поэтике — роман «Что делать?» во многом воздействовал на содержание русской демократической литературы второй половины XIX в., оказав определенное влияние и на развитие мировой литературы. Таким же широким было его влияние на читателей.

[1] *Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч.: В 16 т. М., 1949. Т. 14. С. 456. Далее ссылки на это издание даны в тексте с указанием тома и страницы.
[2] *Плеханов Г. В.* Соч.: В 24 т. М., 1924. Т. 5. С. 114.
[3] *Скабичевский А. М.* Литературные воспоминания. М.; Л., 1928. С. 248.
[4] *Ткачев П. Н.* Избр. соч.: В 6 т. М., 1932. Т. 4. С. 414.
[5] Домашняя беседа. 1864. № 8. С. 213.
[6] *Репин И. Е.* Далекое – близкое. М., 1964. С. 201.
[7] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 20. С. 175.
[8] В. И. Ленин о литературе и искусстве. М., 1976. С. 647.

К. В. Виноградов, Г. Г. Елизаветина

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЧИТАТЕЛЕ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ КРИТИКЕ «ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ»

Написанный в экстремальных условиях тюремного заключения, потерянный было и счастливым образом найденный вновь [1], сразу же опубликованный в одном из самых популярных журналов времени, хотя, казалось бы, все шло к тому, что из литературного процесса произведение будет изъято на долгие годы, роман «Что делать»? немедленно стал объектом страстного, также необычного, читательского интереса. Хорошо известны десятки отзывов, о высокой степени этого интереса свидетельствующих. Они давно изучаются, систематизируются, дополняются все новыми и новыми высказываниями. В собирании и осмыслении подобных материалов велика роль исследователей из родного города Чернышевского — Саратова. Изучение документов эпистолярного, мемуарного характера, по-видимому, и в дальнейшем будет питать наши представления о функционировании произведения Чернышевского, о его восприятии в различные эпохи, в том числе и в наше время. Исследователь, бывший среди тех, кто создавал теоретическую базу для изучения проблемы читателя, А. М. Левидов в своем труде «Автор—образ—читатель» говорит об «онтогенетическом» и «филогенетическом» чтении литературного произведения. «Онтогенетическое» — чтение какого-либо *одного* произведения *одним* человеком в различные его (этого человека) возрасты. «Филогенетическое» — чтение какого-либо *одного* произведения *различными* поколениями людей [2].

Примером «онтогенетического» чтения «Что делать?» может служить признание В. И. Ленина, говорившего, что каждое новое обращение к роману позволяло находить в нем каждый же раз все новые прекрасные и волнующие мысли [3].

Что же касается «филогенетического» чтения романа, то изучение такого чтения и является задачей настоящего труда, как и многих других, предпринятых в этом направлении ранее, и, безусловно, трудов, которые будут написаны о «Что делать?» в будущем. «Если „онтогенетическое“ перечитывание характеризует культурный уровень читателя, его кругозор, степень его эстетического развития, а в итоге — читателей, страну, эпоху, то перечитывание „филогенетическое“, помимо этого, выполняет „резолютивную“ функцию: каждый писатель в конце концов занимает то место, какое ему надлежит; незначительное или ничтожное отслаивается, а значительное или великое живет; живет не только на полках библиотек или в исследованиях специалистов, а в сознании нового поколения, в мыслях и эмоциях читательских масс, в жизни народа...» [4]

© К. В. Виноградов, Г. Г. Елизаветина, 1990

Историко-функциональный подход к изучению литературы вообще ведь несет в себе идею незавершенности, открытости, не предположение, но убеждение в непременной временной протяженности исследования. При этом вопрос о какой-либо последней хронологической границе условен, а с научной точки зрения и некорректен. Начало отсчета — момент публикации изучаемого произведения или иное событие, сделавшее произведение достоянием читателя (рукописные тексты, например, если вспомнить распространение неопубликованного «Горя от ума»). Даже если произведение не было замечено сразу, не получило отклика, этот факт все равно содержателен и нуждается в объяснении, а следовательно, в исследовании. Окончание функционирования, т. е. своего рода «смерть» произведения для читателей, не может быть предсказано принципиально, так как история литературы знает немало случаев, когда, казалось бы, автор и его творения отвергаются, не воспринимаются более, но наступает новая эпоха — и те или иные ее особенности возвращают забытое произведение, и оно снова находит отклик и в умах, и в сердцах читателей. И длительность этой новой вспышки жизни также не всегда может быть предсказана. Правда, бывают случаи, когда кратковременность возвращения произведения к читателю или зрителю очевидна. Трагедия В. А. Озерова «Димитрий Донской» к середине XIX в. уже не вызывала живого интереса. Приговор Белинского, его слова, что это «худшая» пьеса Озерова, «надутая ораторская речь, переложенная в разговоры» [5], редко кем оспаривались. Но вот Россия терпит поражение в Крымской (Восточной) войне, и Добролюбов записывает в дневнике 19 января 1856 г.: «Недавно в Александринском театре было представление „Димитрия Донского". Когда актер сказал: „Лучше смерть, чем позорный мир", все зрители встали с мест, и произошло волнение, весьма значительное... Кричали, говорят, „ура!" Галахов донес государю, который велел будто бы сказать театральной дирекции, что она очень неудачно выбрала время для представления этой пьесы» [6].

Точно так же горячо воспринималась пьеса Озерова и в 1812 г. [7] В промежутках же между этими двумя критическими моментами русской истории пьеса была в полузабвении. Не «возрождалась» она, насколько нам известно, и после эпизода, описанного Добролюбовым.

Возможность или невозможность вернуть забытое произведение к жизни — особая и чрезвычайно интересная проблема, неотрывная от целого ряда других, в том числе и от проблемы: может ли быть предсказан или даже организован читательский или зрительский успех? Если речь идет об искусстве, которое мы сейчас называем «массовым», то, несомненно, может. Другое дело — искусство подлинное, которое порой опережает свое время, и художник остается не понятым современниками. Природа успеха сложна, и с ней, если речь идет о литературе, связан вопрос о читателе, хотя и специфический, но имеющий тем

не менее много общего с проблемой завоевания внимания зрителя, слушателя — словом, воспринимающего (реципиента). «Писатель, живописец, режиссер ориентируются на определенную модель восприятия. Степень такой ориентировки автора и степень ее осознанности различны. Но о том, что эта ориентировка существует, говорят многие свидетельства. Заданность восприятия, стремление предугадать его эффект — элемент самой творческой работы» [8].

Демократическая критика по самой своей сути, по свойственному ей стремлению к наибольшей действенности слова, по надежде найти отклик в самой широкой аудитории должна была уделить проблеме читателя большое внимание и, во всяком случае, выработать себе определенное представление о нем. Автор исследования «Изучение читателей в России (XIX в.)» Б. В. Банк справедливо замечает: «Изучение читателей являлось для революционеров-демократов одной из сторон изучения массы; без этого изучения, без знания массы и условий ее жизни была бы невозможна их просветительная, воспитательная, пропагандистская деятельность» [9].

Период особенно интенсивного интереса к тому, что представляет собой русский читатель, Банк хронологически связывает с проведением крестьянской реформы [10], заставившей задуматься в большей, чем ранее, степени о читателе из народа и осознать, что состав русской «читающей публики» качественно меняется.

Нагляден в эти годы был и перелом, как количественный, так и качественный, в составе русской интеллигенции. Это также требовало новых представлений о читателе. Теперь читателя практически можно было найти во всех сословиях, что создавало некую новую ситуацию. Вокруг проблемы читателя сплетались политические, эстетические, коммерческие страсти.

Читатель «шестидесятых», несомненно, имел свое лицо. Если об этом забыть, то многое в читательском восприятии тех лет — да и в литературном процессе — останется непонятым. Прежде всего, конечно, надо помнить о том потоке разночинцев, который хлынул в русскую культуру и, в значительной мере демократизировав, преобразовал ее. Правда, вряд ли можно вполне согласиться с К. Ф. Головиным, писавшим о «шестидесятых годах», что «весь секрет реализма новой школы вовсе не в перемене взглядов на искусство, а в перемене среды, откуда выходят и читатели и писатели» [11], но значительная доля истины в этих словах содержится. Она связана с новым, даже и психологически, а не только социально, обликом читателя. Н. В. Шелгунов нарисовал портрет своего современника как читателя: «Никогда, ни раньше, ни после, писатель не занимал у нас в России такого почетного места. ...В шестидесятых годах, точно чудом каким-то, создался внезапно совсем новый, небывалый читатель с общественными чувствами, общественными мыслями и интересами... писатель перестал только развлекать праздный досуг,— он стал наставником и учителем общественного строительства» [12].

Такой читатель, с такими требованиями к литературе взял в руки «Что делать?». Но историко-функциональное исследование романа «Что делать?» предполагает, думается, изучение не только его восприятия читателями, но также понимание позиции самого автора по отношению к тому, как он мыслил себе, по известному выражению, «судьбы книг в зависимости от головы читателя» (Теренциан Мавр). Речь пойдет не об образе, точнее образах, читателя в самой структуре романа «Что делать?», но о том представлении о русском читателе, которое имела демократическая критика, о совпадениях и несовпадениях ее представлений с реальностью. Нельзя забывать: мнение о читателе, сложившееся у Чернышевского ко времени написания романа, во многом определило как его художественные особенности, так и его судьбу. И М. Т. Пинаев, конечно, совершенно прав, подчеркивая неразрывность связи «образа автора-повествователя» и образов возможных читателей «Что делать?»: «Широкий спектр интонационно-стилистических средств рассказчика, включающий добродушие и откровенность, мистификацию и дерзость, иронию и насмешку, сарказм и презрение, дает основание говорить о намерении Чернышевского создать в этом образе впечатление литературной маски, призванной осуществить авторское воздействие на разнородных читателей книги: „благородной“ читательницы (друга), „проницательного“ читателя (врага) и той „доброй“ читательской „публики“, еще „неразборчивой и недогадливой“, которую романисту предстоит привлечь на свою сторону» [13].

Подход Чернышевского к проблематике, связанной с его представлением о читателе, не был дилетантским. Производимый им анализ сведений о числе подписчиков на «Современник», сделанные им выводы не только количественного, но и качественного характера показывают, что Чернышевский был знаком с современными ему методами обработки такого рода материалов. Об этом же говорит и осуществленная им в связи со 100-летием «Московских ведомостей» обработка сведений об объеме подписки на газету, а также выявление динамики, роста числа читателей на протяжении нескольких десятилетий по России в целом. «Считая на каждый экземпляр по 10 читателей (так принято для подобных расчетов в заграничной книжной статистике),— пишет Чернышевский,— мы на 50 000 000 жителей Русской империи, для которых русский язык есть родной язык, получим 500 000 людей, читающих,— и увидим, что в полтораста лет, со времен Петра, один из ста наших соотечественников уже перешел в число людей более или менее образованных» (IV, 579—580).

Статистика для изучения читателей применялась давно. Например, статистические данные о составе читателей, об их требованиях приводились в годовых «Отчетах Императорской публичной библиотеки» с самого ее основания, и не случайно постоянное внимание «Современника» к этим «Отчетам...». Задачей нашей статьи не будет, однако, этот аспект интереса Чернышевского к проблеме читателя; необходимо было лишь напомнить,

что Чернышевским сознавалась и использовалась возможность разнообразных наблюдений, которые могли быть сделаны с помощью «сухих» цифровых сведений и делаемых на их основе выкладок. Значимые сами по себе, они, кроме того, использовались им для воссоздания общей картины русского литературного процесса, в котором читателю отводилась огромная роль. Именно это, собственно литературоведческое направление мысли Чернышевского и современной ему демократической критики станет для нас здесь главным. Чернышевский был близок к утверждению, позже четко высказанному Н. А. Рубакиным: «История литературы не есть только история писателей и их произведений, несущих в общество те или иные идеи, но и история *читателей* этих произведений» [14].

В «Очерках гоголевского периода русской литературы» Чернышевский формулирует положение, которое стало своеобразной декларацией, выражающей отношение к читателю всей демократической критики. Другое дело, что реализация провозглашенных в ней принципов была разной у разных критиков, когда речь шла о конкретных оценках; основа же их — общая с Чернышевским. «Два важных принципа особенно должны быть хранимы в нашей памяти, когда дело идет о литературных суждениях,— подчеркивает Чернышевский, — понятие об отношениях литературы к обществу и занимающим его вопросам; понятие о современном положении нашей литературы и условиях, от которых зависит ее развитие» (III, 298).

И первый и второй принципы включают в себя определенное представление о читателе. И главное в этом представлении, думается, то, что читатель выступает как важнейший фактор литературного развития, т. е. читатель не просто воспринимает, оценивает то или иное произведение, само наличие или отсутствие читателя в значительной мере влияет на судьбу литературы, на ход литературного процесса. «Условия, от которых зависит дальнейшее развитие русской литературы... лежат в публике,— полагает Чернышевский.— Литература может вызывать публику к умственной деятельности, но не может ни заменить собою публику, ни существовать без поддержки со стороны публики» (III, 304—305).

Неразвитость читательского вкуса бывает — и нередко — причиной успеха произведений, казалось бы, не заслуживающих внимания (Чернышевский приводит в качестве примера поэзию Бенедиктова), что может исказить истинную картину литературы того или иного периода. Чернышевский, к сожалению, не анализирует подробно ни литературную судьбу Бенедиктова (а она много поведала бы не только о случайности, но и закономерности его популярности), ни вообще такого сложного явления, каким всегда был литературный успех. Ясно, что ссылка на плохой вкус читателей недостаточна. Не только в эпоху Чернышевского, но и сегодня одно из самых трудных дел — объяснить причину успеха.

Чернышевский, однако, ставит перед собой цель не столько «разоблачения» читателя, сколько его воспитания. Чтобы усилить общественную активность читателя, пробудить в нем сознание своих прав, чувство собственного достоинства, Чернышевский, на наш взгляд, в какой-то мере даже преувеличивает, когда пишет: «Власть публики в литературных делах всесильна. Чего хочет публика, тем и бывает литература» (III, 305). Зависимость, скорее всего, сложнее, но не это Чернышевскому важно: «Публика должна сознать свои права на литературу, и тогда литература пойдет вперед. Без того все успехи литературы случайны и непрочны» (III, 306).

Пассивность читателя неизбежно, думает Чернышевский, приводит к снижению требований литературы к самой себе. Если читатель равнодушен к тому, о чем говорят ему литературные произведения, то и для читателя и для самой литературы это равно грозит деградацией или, во всяком случае, остановкой в развитии. Поэтому в «Очерках гоголевского периода...» Чернышевский буквально заклинает читателя; и повторения, пронизывающая их страстность должны были, вероятно, гипнотически действовать на него. «От вас, читатель, зависит развитие русской литературы: выразите непреклонную волю вашу, чтобы она развивалась, и только тогда будет она иметь возможность развиваться» (III, 309).

Вместе с тем Чернышевский указывает, конечно, и на обратное влияние: литературы на читателя, буквально повторяя мысль Белинского: «Вопрос о публике решает вопрос о литературе, и наоборот» [15]. Само формирование читательского круга в России происходило, по Чернышевскому, потому, что Ломоносов, Новиков, Карамзин умели привлечь общественное внимание к своим произведениям, заставить их читать. «Трудами этих людей образовалась в России „публика", то есть некоторая часть русского народа получила привычку находить в чтении наслаждение, без которого уже не могла обходиться»,—отмечает Чернышевский (III, 314). Особенно велика роль Пушкина, чьи произведения «могущественно действовали на пробуждение сочувствия к поэзии в массе русского общества, они умножили в десять раз число людей, интересующихся литературою и через то делающихся способными к восприятию высшего нравственного развития» (II, 474).

С иронией обращаясь в «Что делать?» к «проницательному читателю», сознавая неоднородность читательской массы, причем не только социальную, но и по вкусам, по уровню интеллектуального развития внутри одного и того же слоя, в целом Чернышевский очень высоко оценивает русского читателя в его отношениях к отечественной словесности. «Нельзя упрекать нашу публику в отсутствии сочувствия к литературе; нельзя упрекать ее и в неразвитости вкуса. Напротив, от особенного положения нашей литературы, составляющей самую живую сторону нашей духовной деятельности, и от состава нашей публики, к которой

принадлежат все наиболее развитые люди, в других странах мало интересующиеся беллетристикою и поэзиею,— от этих особенностей происходит то, что ни одна в мире литература не возбуждает в образованной части своего народа такой горячей симпатии к себе, как русская литература в русской публике, и едва ли какая-нибудь публика так здраво и верно судит о достоинстве литературных произведений, как русская. ...За развитость ее вкуса ручаются тысячи случаев» — таков один из выводов, которые делает Чернышевский. Сознание этого писателями должно стимулировать литературный процесс, и, характеризуя читателя своего времени, подводя своеобразный итог тому, каким он виделся в начале «шестидесятых годов», Чернышевский пишет: «Как бы то ни было, от чего бы то ни происходило, не подлежит сомнению, что наша публика обладает в нынешнем своем составе двумя драгоценнейшими для развития литературы качествами: горячим сочувствием к литературе и замечательно верным взглядом на нее» (III, 306).

История восприятия романа «Что делать?» в общем подтверждает оптимистическое представление Чернышевского о русском читателе.

До сих пор говорилось о представлении, которое сложилось у Чернышевского о читателе литературы художественной, беллетристики. Но, при некоторой специфике высказываний, оно распространялось и на того читателя, которому были адресованы статьи литературно-критические. Специфика же заключалась главным образом в том, что общение критика и его читателя оказывалось, как правило, более легким, более, так сказать, прямолинейным. Мысль критика обнажена: соглашаясь или, напротив, не принимая ее, читатель уже реагировал на прочтенное, в то время как чтение художественного произведения взывало к чувствам, к интуиции, к эстетическому вкусу и т. д. Статья литературного критика с меньшими усилиями могла быть «доведена» хоть до сколько-нибудь образованного читателя. Правда, чтобы стать популярным у такого читателя, надо знать и суметь сделать предметом обсуждения именно те проблемы, которые его волнуют и интересуют. Подлинно замечательные критики и публицисты в то же время умеют вести читателя за собой, указывая на только еще возникающие в общественном самосознании проблемы, не ограничиваясь уже созревшими. «Критики и публика — это два лица беседующие»,— писал Белинский в 1835 г.[16] Чернышевский часто буквально воплощает в своих художественных произведениях эту мысль: известно, что традиция непосредственного обращения по ходу повествования к читателю нашла в Чернышевском одного из наиболее постоянных продолжателей. Тем более что понималась она Чернышевским прежде всего в плане связи с реальностью; обращение к читателю становилось своеобразным мостиком между миром художественного произведения, миром литературно-критической статьи и действительностью. Одно бросало отсвет на другое, и читатель оказывался во-

влеченным в то действо, в котором предлагал ему принять участие автор. Литература и действительность сближались до совпадений. Таким образом решалась очень важная задача, сформулированная Б. И. Бурсовым в книге «Мастерство Чернышевского-критика»: «Сближение, посредством публицистики, литературы с действительностью выражало собою также сближение читателя и писателя, читателя и критика, критика и писателя. Из того, что факты и лица художественной литературы признавались в такой же степени несомненными, как и действительные факты и лица, читатель должен был сделать для себя вывод о значении литературы. Критика Чернышевского при помощи такого подхода к литературе развивала у писателей чувство гражданского долга и ответственности, а у читателей — заинтересованное отношение к литературе и ее героям» [17].

Совмещение в Чернышевском, в одном лице, литературного критика, публициста, беллетриста позволило истории литературы еще раз осуществить жестокий эксперимент: проверить, окажутся ли эффективными идейно-теоретические, эстетические установки статей, если будут воплощены тем же автором в жанре романа, например. Жестокий потому, что он редко удавался: обычно одна сфера деятельности явно «перевешивала» другую. Разве что Герцен будет одним из немногих счастливых исключений. О пьесе, написанной Белинским, не приходится говорить как о чем-то равноценном с его статьями, а стихотворения Добролюбова все же гораздо менее значимы, чем его статьи. Роман же «Что делать?» произвел впечатление, может быть, еще большее, чем произведения Чернышевского — критика и публициста. Несомненно, сыграло в этом свою роль и тщательное изучение демократической критикой русского читателя, безошибочное знание того, чего он ждет от литературы. Причем изучение, осуществляемое не только Чернышевским, но и другими критиками, особенно Добролюбовым.

Представление о читателе неразрывно с представлением о назначении литературы. Видя в литературе дело общественного служения, Добролюбов, как и Чернышевский, уделяет проблеме читателя большое место. Хотя, в отличие от Чернышевского, мы не встретим у Добролюбова прямых обращений к «публике». Добролюбов постоянно следит за тем, как уровень читательских вкусов и требований, уровень общественной активности массы читателей отражается на литературном процессе — современном и прошлых эпох. Проблемы «литература и читатель», «литература и общество» рассматриваются им и в историческом аспекте, и в аспекте их актуальности для второй половины 50-х — начала 60-х годов XIX в. Добролюбов находил что писатели и издатели «должны были следить за современностью, угадывать потребности общества, если хотели иметь успех» [18].

Поощряя критическое направление в русской общественно-литературной мысли, Добролюбов уже за несколько лет до появления «Что делать?» указывает на все более явственно проявляю-

щееся в русском читателе стремление к позитивному, к поискам героя-деятеля. Добролюбов мог бы присоединиться к словам Салтыкова-Щедрина: «Новая русская литература не может существовать иначе, как под условием уяснения... положительных типов русского человека...» [19] Присоединиться с настойчивым напоминанием, что этого от литературы требует читатель, осознавший необходимость общественных перемен, желающий принять участие в их осуществлении и ищущий в литературе героя, который стал бы для него идеалом.

В рецензии «Журналы, газеты и публика» Добролюбов, как и Чернышевский в «Очерках гоголевского периода...», подчеркивает, что «апатия общественная» влечет за собой «малозначительность литературы» [20], теряющей живые связи с читателем; в то же время интерес читателя указывает на то, что литература коснулась волнующих его вопросов.

Заметим, однако, что и Добролюбов ни в коем случае не идентифицирует успех литературного произведения у читателя с представлением о действительно выдающихся художественных достижениях автора. «Чтобы оценить значение того, что называют успехом в литературе, надо непременно рассмотреть, между кем приобретен этот успех и как долго он продолжался или мог продолжаться» [21]. Читательским вниманием могут пользоваться разнокачественные произведения, но так или иначе отвечающие интересам «публики».

Гений может опередить время и быть непонятым своими современниками; писатель, «угождающий» их вкусу (если он правильно его угадал), добьется успеха. Причем это далеко не всегда успех низкопробный; природа его может быть объяснена именно тем, что писатель сумел ответить на вопросы — или поставить их — тогда и так, как ждет этого от литературы читатель.

Добролюбов отнюдь не представляет себе читателей как некую однородную массу. Если для некоторых чтение — «серьезное занятие», то для многих оно «служит... развлечением», третьи же — и к ним Добролюбов относится с нескрываемым сочувствием — «берутся за книгу как за лекарство от томящей их скуки однообразия; они хотят забыться на минуту, хотят перенестись в другие места, в другую жизнь...». Критик сочувствует этому разряду читателей, так как обычно к нему принадлежат «люди с умными и благородными стремлениями, но нисколько или весьма мало развитые, затертые в задние ряды окружающими их тузами и parvenus, размельчавшие среди мелких интересов общества, в котором они живут, опустившиеся в грязь и тину зловредного болота, в которое попали по обстоятельствам...» [22].

Таких читателей было много среди современников Чернышевского и Добролюбова, и у критиков нет иллюзий, что им будет доступно сложное по приемам и средствам художественной выразительности произведение; они, скорее всего, окажутся неготовыми к его восприятию. Но Добролюбов не оставляет этот раз-

ряд читателей за пределами внимания. Напротив, такие читатели «вполне достойны того, чтобы для них *в особенности* <курсив наш.— *Г. Е.*> литература делала все, что только может...». Критик верит во врожденное чувство правды и добра в демократическом читателе. «Для человека, забитого жизнью, из ряда литературных произведений может составиться свой особенный мир, в котором он будет находить и людей, сочувствующих себе, понимающих его стремления, и людей, которые еще ниже его и которым даже он может показать дорогу. ...Этот мир... наверное подействует благодетельно на его развитие, разбудит в его душе благородные инстинкты, расширит его взгляды, придаст ему силы для деятельности честной и полезной» [23].

Гуманистический пафос пронизывает эти слова Добролюбова, защищающего права «маленького человека» как читателя. Тогда, когда читателю трудно «познать доброе и лукавое» в литературе, добавляет Добролюбов, пусть ему «расскажет критика» [24]. С ее помощью читатель развивает свой литературный вкус, увеличивает требования к литературному произведению, начинает искать в нем не только занимательности. «Освоившись несколько со способом литературной огласки,— замечает Добролюбов,— публика во всяком самом благонамеренном рассказе потребует уже теперь, во-первых, жизненной правды, а не житейских сплетен и, во-вторых, литературного достоинства» [25].

Новые требования читателей, в свою очередь, поставят новые задачи перед писателями. «...По самому естественному порядку дел писатели, одаренные талантом, должны теперь оживлять свои поэтические вымыслы верной и правдивой передачей своих наблюдений над общественными интересами...» [26] Таковы отношения читателя — писателя — критики в представлении Добролюбова. Многократно напоминая об особой роли литературы для русского общества, Добролюбов указывает, что роль эта будет расти с ростом круга читателей. В увеличении его — важнейшая задача самой литературы. Вот почему, подобно Чернышевскому, говорит ли Добролюбов о Пушкине, Гоголе или Карамзине, он неизменно подчеркивает их важнейшую заслугу — они «умели заставить читать себя»; огромное число людей, до того к книгам не обращавшихся, приобщили к чтению.

Но читателей и в «шестидесятые годы» все еще слишком мало, чтобы можно было говорить о широком влиянии литературы. «Мы действуем и пишем,— с горечью замечает Добролюбов,— за немногими исключениями, в интересах кружка более или менее незначительного; оттого обыкновенно взгляд наш узок, стремления мелки, все понятия и сочувствия носят характер парциальности. ...В этом, конечно, ничего еще нет дурного,— пусть каждая партия свободно выскажет свои мнения: из столкновения разных мнений выходит правда. Но дурно вот что: между десятками различных партий почти никогда нет партии народа в литературе» [27]. Проблема народности в литературе включает в себя, таким образом, у Добролюбова и проблему читателя из народа.

Затрагивает критик и вопросы, связанные, как мы бы сейчас сказали, с «массовой литературой», отнюдь не смешивая ее с литературой, рассчитанной на демократического читателя. Это «лакейское» [28], как называет его Добролюбов, чтиво поставляет читателю с низким уровнем эстетических потребностей банальные мысли, псевдопоэтические чувства. Подобно Чернышевскому и в отличие от другого представителя демократической критики «шестидесятых» — И. А. Пиотровского, Добролюбов не считает, что читатель «всегда прав». Не согласен Добролюбов и с мнением Пиотровского, что читателю нужно давать лишь «полезные» [29] сведения. Литература не сводится к научно-популярному чтению. И если читатель относится к ней чисто утилитарно, то он обедняет сам себя.

Вкус читателя, его требования к литературе поддаются развитию и нуждаются в нем. Литературно-критическая деятельность Чернышевского и Добролюбова в определенной степени способствовала этому. В 1861 г. Добролюбов констатирует «изменения в читающей публике». Они проявляются в большей самостоятельности мнений, «недоступных пьедесталов уж нет, непогрешимые авторитеты не признаются... Всякий, худо ли, хорошо ли, старается судить сам». Читательские оценки могут быть и ошибочны, но уже в самом факте «разнуздания литературных суждений» [30] Добролюбов усматривает тенденцию плодотворную и многообещающую: тенденцию к свободному и «достойному» обсуждению литературных и общественных проблем.

Рассматривая развитие литературы в неразрывной связи с жизнью общества, Добролюбов был убежден: когда «общество или народ очнется и почувствует, хотя смутно, свои естественные нужды, станет искать средств для удовлетворения своим потребностям — и литература тотчас является служительницею его интересов» [31].

Роман «Что делать?» был, на наш взгляд, одним из актов этого «служения».

Суд читателя всегда пристрастен, особенно читателя-современника, отмечал Белинский, но в этой пристрастности «всегда бывает своя законная и основательная причинность» [32]. Была она и в восторженном приятии «Что делать?». Не затрагивая вопроса о художественных достоинствах романа (об этом речь идет в другой статье данного сборника), рассмотрим иного порядка основания успеха «Что делать?».

Сразу же возникает сомнение, можно ли в этом случае употреблять слово «успех»? Право, оно не в полной мере выражает впечатление, произведенное романом, приятие и неприятие которого достигали величайшего накала. Люди продавали «все наиболее ценное из своего имущества, чтобы только купить» [33] роман. Скорее подошло бы слово «энтузиазм», если речь идет о тех, кто романом восторгался. Он (энтузиазм) был тем более велик и горяч, что возник в период расцвета явления, казалось бы мешавшего зарождению увлечений чем бы то ни было конструктивным:

в период расцвета русского нигилизма. Все подвергалось сомнению: «Не было в то время ни одной области ведения, куда бы не заглянула критическая мысль, и не было ни одного общественного явления, которого бы она не коснулась. Земля и небо, рай и ад, выражаясь фигурально, вопросы личного счастья, вопросы счастья общественного, изба мужика, дом вельможи — все было осмотрено и обследовано критическою мыслью...» [34] Незадолго до появления романа в статье 1861 г. «Схоластика XIX века» Писарев излагает кредо свое и своих единомышленников: «...что можно разбить, то и нужно разбивать; что выдержит удар, то годится, что разлетится вдребезги, то хлам; во всяком случае, бей направо и налево, от этого вреда не будет и не может быть» [35]. Тогда, когда роман вышел в свет, популярность «отрицателя» Писарева набирала силу, а следовательно, сосуществовала с позитивной программой «Что делать?». Очевидно, для молодежи — а именно она была главным читателем и Чернышевского и Писарева— невозможно ограничиться отрицанием. Стремление к идеалу, действию, приводящему к позитивному результату, вероятно, органически ей свойственно, и роман на такую потребность ответил, внеся тем самым элемент гармонии в мятущиеся души поколения «шестидесятых». Сознавалось это или нет, а судя по мемуарным свидетельствам сознавалось, именно появление программы действий положительных привлекало, так как «чистое» отрицание само по себе заводило в трагический тупик, в безысходность, в чем и убедился читатель на примере тургеневского Базарова. Опубликованный в 1862 г. роман «Отцы и дети» был, думается, одним из существеннейших этапов в подготовке читателей к восприятию «Что делать?», ибо вопрос этот уже звучал для всех тех, кто вдумывался в базаровых и их судьбы. Правда, был путь, который предлагал Писарев,— путь науки, овладения знанием и с его помощью усовершенствования жизни, но он, хотя и увлекал и отвечал духу времени, был односторонен, а если касался других сфер жизни, эмоциональных особенно, то в общем принижал их по сравнению со сферой рационального, которая выдвигалась Писаревым в его статьях на первое место. Роман же «Что делать?» охватывал, казалось, всю жизнь, ставил вопросы, которые волновали тогдашнего читателя, и, главное, давал на них ответы, во-первых, позволяющие сохранить полноту жизни с ее любовью, радостями, самоотвержением, сложными отношениями между людьми; во-вторых, придающие жизни смысл и указывающие на ее цель. Может быть, не став «энциклопедией жизни», роман, безусловно, стал ее «учебником». Причем для многих читателей таким, следование которому считалось необходимым чуть ли не буквальное, как это бывает с сочинениями, излагающими основы религиозного вероучения. Отсюда употребление в отзывах о романе религиозной терминологии, а по отношению к последователям героев Чернышевского в жизни — именование «секта». Скабичевский в своих воспоминаниях констатировал, что молодежь искала в романе «программы для своей деятельности,

и отнюдь не верного изображения действительности... а той, какой еще нет, но к осуществлению которой следует стремиться». Вспоминая и свое собственное восприятие романа, он пишет:

Я нимало не преувеличу, когда скажу, что мы читали роман чуть не коленопреклоненно, с таким благочестием, какое не допускает ни малейшей улыбки на устах, с каким читают богослужебные книги.

Влияние романа было колоссально на все наше общество. Он сыграл великую роль в русской жизни, всю передовую интеллигенцию направив на путь социализма, низведя его из заоблачных мечтаний к современной злобе дня, указав на него как на главную цель, к которой обязан стремиться каждый. Социализм делался, таким образом, обязательным в повседневной будничной жизни, не исключая пищи, одежды, жилищ и пр.

Вследствие этого предписания проводить социализм во всех мелочах повседневной жизни, движение в передовых кружках молодежи приняло сектантский характер обособления от всего общества, равнодушного к предписаниям романа. Как и во всякой секте, люди, принадлежавшие к ней, одни лишь считались верными избранниками, солью земли. Все же прочее человечество считалось сонмищем нечестивых пошляков и презренных филистеров. ...Желание ни в чем не походить на презренных филистеров простиралось на самую внешность новых людей, и, таким образом, появились те пресловутые нигилистические костюмы, в которых щеголяла молодежь в течение 60-х и 70-х годов. Пледы и сучковатые дубинки, стриженые волосы и космы сзади до плеч, синие очки, фра-дьявольские шляпы и конфедератки,— боже, в каком поэтическом ореоле рисовалось все это в те времена и как заставляло биться молодые сердца, причем следует принять в соображение, что все это носилось не из одних только рациональных соображений и не ради одного желания опроститься, а демонстративно, чтобы открыто выставить свою принадлежность к сонму избранных [36].

Мы привели эту пространную цитату в силу ее очень большой содержательности. Скабичевский, с одной стороны, верно передает отношение к роману как к чему-то сакральному; с другой — нельзя не заметить, не услышать и звучание иронии, рожденной последующими годами и поздней оценкой увлечений молодости. И наконец, в-третьих, мемуарист правдиво рисует картину русского общества, потрясенного (без преувеличения) мощным воздействием произведения Чернышевского. Неясно, замечает ли Скабичевский, как странно звучит у него эпитет «нигилистический», когда речь идет о людях не только не отрицающих все, но, напротив, горячо верящих: они сумеют осуществить то, что таким перекрасным и реальным предстает в романе.

Нигилистом называли и самого Чернышевского. Отмечая несообразность прикрепления ярлыка «нигилизм» к Чернышевскому и его последователям, Н. П. Огарев писал: «Странное название, которого не может понимать ни сам его изобретатель, ни общество, которое с наслаждением за него схватилось, ни даже те, которые взяли его на себя comme un nom de guerre ‹как боевое имя.— *фр.*›. Нигилизм — имя, которое... уж никак не идет к людям, которые берут в основание всей деятельности опытную науку и ее выводы, т. е. признают действительность того, что изучают, и стремятся внести результаты этого изучения в общественное сознание. С их стороны поставить на своем знамени бессмысленное слово, изобретенное их врагами,— была неловкость» [37].

На неудачность «клички» указывает в своих мемуарах и Е. Н. Водовозова. Сама бывшая «нигилисткой», она подчеркивает, что все ее друзья и она также были «проникнуты скорее пламенною верою, чем огульным отрицанием» [38]. Конечно, «нигилист» было неудачным, не исчерпывающим суть явления названием. Собственно говоря, никто, кроме нигилистов, не оказался тогда, в «шестидесятые», способным к такому самозабвенному прозелитизму.

Увлечение романом в описанной ситуации могло принимать и принимало порой смешные формы. По свидетельству И. Е. Репина, ходил довольно злой анекдот об «обряде посвящения в нигилистки». Выяснение отношения к «Что делать?» играло в нем роль догмата веры. За пародийностью тем не менее отчетливо просматривается немало подлинных человеческих судеб и реальных обстоятельств. «Обряд был очень краток, надо было ответить на три вопроса:

Первый вопрос. Отрекаешься ли от старого строя?

Ответ. Отрекаюсь.

Второй вопрос. Проклинаешь Каткова?

Ответ. Проклинаю.

Третий вопрос. Веришь в третий сон Веры Павловны? (Из романа „Что делать?“ Чернышевского — фантастическое видение будущих форм жизни.) [39]

Ответ. Верю.

Острые ножницы производили энергичный звук „чик“, и пышная коса падала на пол» [40].

Мемуаристы свидетельствуют, что роман привел не только к организации мастерских (швейных, сапожных, переплетных и т. д.), «коммун для общежитий», «семейных квартир с нейтральными комнатами», к распространению фиктивных браков, но и к стремлению видеть и рассказывать «вещие сны, чтобы вполне уподобиться героине романа» [41].

Эти издержки увлечения были естественны. Порой уродливые, порой трогательные, но чаще всего не только искренние, но и связанные с риском и самоотвержением.

Кроме, так сказать, общего воздействия романа особо следует выделить значение, которое приобрел образ Рахметова. Не останавливаясь специально на этом прекрасно изученном аспекте читательского восприятия «Что делать?», напомним лишь о том, что подтверждает проводимую нами мысль о своего рода апостольстве Чернышевского в понимании читателей и связанном с ним претворении идей романа в жизнь. «Рахметовский ригоризм в отношении к женщине заметно повлиял на молодежь...— отмечает, основываясь на многочисленных изученных им фактах, М. Т. Пинаев в работе «Н. Г. Чернышевский — романист и „новые люди“ в литературе 60—70-х годов».— В уставы некоторых революционных кружков предлагалось „внести безбрачие, как требование от членов“» [42].

Часто повторяя, и справедливо, сколь многим революционерам служил идеалом Рахметов, не будем забывать и о тех, кто, может быть, не смог и не сумел пойти так решительно по пути, на который указывал Рахметов, но все же под влиянием романа вынужден был проделать значительную духовную работу. Результаты этой работы, несомненно, сказались на нравственном уровне общества в целом. И хотя противники Чернышевского упрекали его в проповеди безнравственности (а крайности в следовании за плохо понятыми идеями романа действительно иногда приводили не столько к радостной и гармоничной, сколько к удручающей своей бездуховностью «свободе» отношений между мужчиной и женщиной), все же роман стал шагом вперед на пути осознания личностью своих прав и своего достоинства. «Моя жизнь зависит от меня, я сам могу построить ее, как считаю разумным и лучшим» — такие убеждения, порожденные романом, были новы для русского общества и ошеломили его. Трагический вопрос «кто виноват?» сменился по сути своей оптимистическим «что делать?». И на первых порах казалось так легко «делать»! Ну пусть не для всех доступен рахметовский образ жизни, его духовная высота, его цели, но ведь остальные, «обычные» «новые люди» — ведь они совсем такие, как сам читатель. Замысел Чернышевского удался: читатель поверил в сходство, а следовательно, в возможность пересоздания своей жизни и жизни общества так, как подсказывал роман. Его автор, свидетельствует современник, «укреплял в юных сердцах пламенную надежду на счастье: каждая строка красноречиво говорила о том, что оно возможно на земле, что оно достижимо даже для обыкновенных смертных, если только они отнесутся к нему не пассивно, а всеми силами ума и сердца будут работать для его завоевания, памятуя о том, что оно должно идти рука об руку со счастьем ближнего» [43].

Чернышевский действительно знал своего читателя. «Новые люди Чернышевского *задуманы именно как рассчитанный на массовое воспроизведение тип* (курсив наш.— *Г. Е.*),— отмечает Л. Я. Гинзбург.— ...Для Чернышевского создание образцовой человеческой структуры не только в литературе, но и в жизни было вполне осознанной задачей» [44].

Одна из важнейших черт мастерства Чернышевского-беллетриста заключается, на наш взгляд, в том, что он сумел убедить читателя: «новые люди» уже существуют в реальности, их существование не только возможно, но и закономерно, число их мало, но должно и будет расти. В действительности «новые люди, изображенные в романах Чернышевского,— не столько закрепление жизненных явлений (так у Тургенева), сколько программа поведения» [45].

Причем, подчеркнем, не только поведения внешнего, но и внутреннего. Артели, коммуны, мастерские — они оказывались порождением и причиной нового психологического и социального самоощущения. Они были, во всяком случае, жизнетворчеством,

а иногда это влияло и на художественное творчество, как произошло с артелью художников, например, во главе которой стоял И. Н. Крамской. Просуществовав до 1870 г., она способствовала консолидации молодых художественных сил России [46].

Высказывались, конечно, и сомнения в осуществимости программы, предложенной Чернышевским. И не всегда его идейными противниками. Огарев не был им, но 22 февраля 1864 г. Н. И. Утин писал ему о Чернышевском: «Я никак не соглашусь, что у него цель фантастическая, потому что он и не думает говорить, что все осуществимо сию же минуту, напротив, он показывает, что нужно идти шаг за шагом, и затем говорит: вот что будет в конце ваших трудов и стремлений, вот как можно жить. И потому „работайте и работайте“» [47].

Правда, уже через несколько лет выяснилось, что только «работать» — недостаточно. Артели и коммуны распадались по разным причинам, но одной из главных, видимо, была невозможность существования подобных «островков будущего» в окружении враждебной им среды самодержавного государства. И вот уже герои романа А. К. Шеллера-Михайлова «Лес рубят — щепки летят» — «новые люди» — с тревогой спрашивают себя, почему «не удаются» мастерские, почему многие — и они сами — вынуждены сдаться, отступить. Роман был опубликован в 1871 г., и за размышлениями литературных героев стояли вопросы многих реальных лиц. Вопросы, накопившиеся за те несколько лет, что уже прошли после выхода «Что делать?». Для подобных раздумий нужен опыт, время, первоначально же энтузиазм не омрачало ничто (возражения противников, их предостережения в расчет, естественно, не принимались).

Влияние романа еще увеличивалось «ореолом мученичества», которым был окружен Чернышевский в глазах радикально настроенной части русского общества. Ведь голос Чернышевского «раздавался из мрака казематов Петропавловской крепости» [48]. Читатель того времени всегда помнит об этом. Е. Н. Водовозова, оставившая яркие и точные воспоминания о времени появления романа и его восприятии, писала: «Вдумываясь с благоговением в каждое слово высокочтимого автора, наши сердца обливались кровью при мысли, что лучший и умнейший из людей нашего времени, считавшийся истинным вождем молодежи поколения, томится в тюрьме» [49].

В этой связи, думается, следует коснуться вопроса о правовом сознании русского общества «шестидесятых годов». Именно коснуться, на том его уровне, который имел прямое отношение к восприятию «Что делать?».

«Шестидесятые» справедливо называются «эпохой реформ». Среди других готовилась и судебная реформа. Правовое сознание общества претерпевало ряд существенных изменений, переживало один из переломных моментов. Всего лишь несколько лет назад вернулись оставшиеся в живых амнистированные декабристы. В иное положение перед законом вставали крестьяне.

Был краткий период (конец 50-х годов), когда Россия почти не знала политических процессов. Арест в 1861 г. поэта и публициста М. Л. Михайлова потряс общество в том числе и потому, что этим ознаменовалось начало нового периода репрессий и расправ за радикальные убеждения. «Трудно теперь передать,— пишет один из мемуаристов,— какое озлобляющее действие на молодежь произвела эта катастрофа. Многие ужасные события, совершившиеся позднее, были плодом этого невыразимого озлобления и негодования» [50].

Но кроме «ужасных событий» такого рода факты усиливали стремление уяснить, «что делать?», а следовательно, готовили почву для особого восприятия романа.

Арест Чернышевского взбудоражил общество. Цветы, брошенные ему на эшафот, были одним из проявлений протеста против приговора и явным неприятием его. В осуждении Чернышевского общество (во всяком случае, его часть) увидело нарушение законности: сведения, что обвинение в значительной мере сфабриковано, распространялись достаточно широко. Арест Чернышевского был явным доказательством краха надежд если не на демократизацию, то хотя бы на либерализацию русского судопроизводства и на справедливое применение законов. Естественно, что ореол «мученика», невинно осужденного вождя всего передового в России засиял еще более ярко, когда с появлением романа читатель убедился, что и в камере Чернышевский защищает те права, осуществления которых чаял каждый из них. Личная судьба Чернышевского и судьба героев его произведения ставили вопрос перед читателем: какими гражданскими правами обладает человек в России и какие ему только предстоит завоевывать? Не все читатели были настроены революционно, но правовые вопросы занимали всех. Вспомним, что в 1864 г. была осуществлена судебная реформа.

«Символом веры людей того времени было расширение прав всех граждан без различия их социального положения, сближение с народом, распространение просвещения среди него, уничтожение гнета и предрассудков, смелое обличение неправды, эмансипация личности, презрение к старому укладу жизни, выражавшемуся в аристократизме, светскости, барстве и произволе во всех сферах жизни»,— пишет Водовозова [51]. Эти взгляды и стремления людей «шестидесятых годов» ярко отразились и в романе «Что делать?».

Очень остро стояла проблема эмансипации женщин, их гражданских прав. Роман «Что делать?» оказал прямое воздействие на жизнь в плане решения «женского вопроса». «С его выходом в свет женщины несравненно энергичнее начали стремиться к самостоятельному заработку, к высшему образованию и вести борьбу за свое освобождение, за уравнение своих прав с мужчинами, но лишь в отношении семейном, в праве на образование и заработок; о политической же равноправности тогда не могло быть и речи» [52]. Не ставит так вопрос и роман. Но его гумани-

стический пафос, то, что читатель мог прочитать «между строк», поддерживали чувство необходимости делать самые смелые выводы. Стремясь освободить личность от «рабского миросозерцания», Чернышевский добивался, чтобы «преклонение перед правом сильного сделалось невозможным» [53].

И Чернышевский и его читатели понимали, как далеко им до поставленной цели, но в том, чтобы оказать влияние на правосознание русского общества, победа Чернышевского несомненна. «Борьба за равенство всех перед законом» [54], по свидетельству той же Водовозовой, когда-то ведшаяся единицами, с «шестидесятых годов» ведется многими. Конечно, не только Чернышевский внес в эту борьбу свой вклад, но все же выход романа «Что делать?» стал определенной вехой как в воззрениях, так и в практическом осуществлении некоторых новых представлений членов общества о своих гражданских правах. С некоторой долей условности можно говорить о правовом воспитании, которому служил роман. Но о воспитании не в конформистском, а в революционном духе. Чернышевский обращался не к читателю-верноподданному, но к читателю-гражданину, и этот читатель активнейшим образом шел ему навстречу.

Именно активность читателя в определенном смысле «создала» роман еще раз, после того, как его создал Чернышевский. Но в данном случае речь идет не о расхождении писательского замысла и читательского восприятия, но об их удивительном по точности совпадении. В самом главном читатель понял роман верно и попытался осуществить идеи Чернышевского, а не то, что привносилось в роман при чтении. И роман был «живым», пока он являлся стимулом к деянию, так как во имя деяния он и писался. И роман превратился в памятник литературно-общественной мысли с тех пор, как уменьшилась его действенность. «Художественное произведение умирает не тогда, когда оно в постоянном применении истратило свою силу: применяясь, оно обновляется,— замечает А. Г. Горнфельд.— Оно умирает тогда, когда перестает быть ферментом брожения, когда перестает заражать, когда попадает в среду иммунную...— в среду, не чувствительную к его возбудительной деятельности» [55]. Не мало творений имеет такую судьбу, и она не умаляет их достоинств. Что же касается романа «Что делать?», то он повлиял на жизни стольких людей, определяя их путь, что его судьба с полным правом может быть названа счастливой.

Гнев, который вызывал роман, был свидетельством силы его воздействия. В статье «Мыслящий пролетариат» Писарев, анализируя роман, анализирует и отношение к нему различных категорий читателей, говорит о «неописанной ярости» [56] одних и глубоком, восторженном увлечении других. Однако не только крайности читательского восприятия интересуют Писарева. Подобно Чернышевскому и Добролюбову, его занимает «простой читатель», тот самый, которого «любит и уважает каждый пишущий человек» [57]. В отличие от «проницательного читателя», адресата

насмешливых замечаний Чернышевского в романе, «простой читатель» в представлении Писарева не относится ни к чему предвзято. Он, может быть, не блещет образованием и широтой кругозора, но, сознавая недостаток знаний, готов пополнить их любыми доступными ему средствами. Он небогат, развлечений у него мало, и книга для него — и отдых тоже. «Простой читатель берет книгу в руки для того, чтобы приятно провести время, или для того, чтобы чему-нибудь научиться, а проницательный — для того, чтобы покуражиться над автором и произвести его идеям инспекторский смотр». Девственный ум «простого читателя» восприимчив ко всему новому, в то время как «проницательный читатель всякую новую идею считает за дерзость, потому что эта идея не принадлежит ему и не входит в тот замкнутый круг воззрений, который, по его мнению, составляет единственное вместилище всякой истины» [58].

Читатель-доктринер, читатель-схоласт не в состоянии, полагает Писарев, ни принять роман «Что делать?», ни одобрить какое-либо иное произведение, идущее вразрез с уже утвердившейся догмой. «У простого читателя есть предрассудки самого скромного свойства, вроде того, например, что понедельник — тяжелый день или что не следует тринадцати человекам садиться за стол. Эти предрассудки происходят от умственного неряшества; они не могут считаться неизлечимыми и большею частью не мешают простому читателю выслушивать без злобы мнения умных и развитых людей» [59]. Среди читателей «Что делать?» — кстати, и среди читателей статей самого Писарева — это была, вероятно, потенциально очень восприимчивая, хотя и не всегда способная правильно и до конца понять развиваемую автором мысль, часть «публики». Писарев — непривычно для него — снисходителен к ней. Он возлагает даже некоторые надежды на такого рода читателей, и не без оснований, как показал опыт. Тем более что численно они скорее всего превосходили остальные читательские категории (в «шестидесятые годы», во всяком случае). Безнадежен читатель «проницательный». Он протестует против всего смелого, непривычного: «Мысль его протоптала себе известные дорожки и только по этим дорожкам и движется». Всегдашний писаревский парадокс здесь в том, что наиболее косным, консервативным и нетерпимым выступает в его представлении читатель, для «которого умственный труд составляет профессию» [60], т. е., казалось бы, квалифицированный читатель. Вообще говоря, несмотря на некоторую характерную для Писарева безапелляционность данного суждения, судьбы многих новаторских произведений, если они зависели от «читателя-профессионала», пожалуй, подтверждают правоту критика.

Доля простодушия, непосредственности в общем считалась демократической критикой не столько читательским недостатком, сколько залогом его способности воспринимать написанное «без схем»; с помощью чутья правды, истины верно оценивать произведение, находить в нем нужное для себя.

Проповедничество, столь характерное для демократической критики, конечно, было более результативным, если аудиторию составляли «простые читатели», воспитание которых Чернышевский, Добролюбов, Писарев считали одной из важнейших своих задач. Вера в читателя зиждилась на вере в его способность к развитию — интеллектуальному и нравственному. И в этом смысле представление о читателе было в основе своей гуманистическим, в чем-то наивно гуманистическим, но, во всяком случае, не отношением чуть-чуть «сверху вниз», которым отдавало, например, представление о читателе П. Л. Лаврова, изложенное им, в частности, в статье 1868 г. «О задачах современной критики». Лавров полагает, что при определенном уровне общественного сознания главное — привлечь к себе внимание читателя любыми средствами: «остроумной загадкой, красивой картинкой, фантастической сказкой». Они «могут быть полезнее самых точных истин, самых строгих приемов анализа» [61]. Нескоро и лишь при помощи ведущего его за собой меньшинства появляется читатель, который способен к серьезному и верному восприятию литературы. В основе представлений Лаврова лежала верная мысль о необходимости учитывать разную степень подготовленности читателя к восприятию тех или иных идей в определенные эпохи [62], но демократическая критика «шестидесятых», продолжая традицию Белинского, всегда говорила с читателем всерьез, не прибегая к нарочитой занимательности, в убеждении, что если читательский уровень недостаточно высок сегодня, то поднять его можно, лишь ставя вопросы, заставляющие размышлять немедленно, неотложно. После «шестидесятых», вероятно, только Салтыков-Щедрин, говоривший о «читателе-ненавистнике», «солидном читателе», «читателе-простеце», «читателе-друге» и т. д.[63], нарисовал широкую и реалистическую картину русской читающей публики. К тому же, в отличие от Писарева например, Салтыков-Щедрин наряду с надеждой на «читателя-простеца» увидел, что не только достоинство есть в легкой управляемости его мнениями. «Читатель-простец» «не знает самостоятельной жизни, так что руководить и распоряжаться его действиями не представляет никакого труда» [64]. Салтыков-Щедрин создает, в сущности, довольно жуткий портрет «читателя-простеца». Портрет, думается, вовсе не ставший исторической реликвией, но сохраняющий свою живучесть, свою актуальность. Он, разумеется, несет в себе нечто конкретно-историческое, но в целом — на все времена. «Хотя сам по себе простец не склонен к самостоятельной ненависти,— пишет критик,— но и чувство человечности в его сердце не залегло; хотя в нем нет настолько изобретательности, чтобы отравить жизнь того или другого субъекта преднамеренным подвохом, но нет и настолько честности, чтобы подать руку помощи. Все его существование, все помыслы и действия насквозь проникнуты колебаниями, которые придают общению с ним характер полной бесполезности. Не убеждения действуют на него, а внешние давления...» [65]

В какой-то мере трезвость подхода Салтыкова-Щедрина к «простому читателю» («читателю-простецу») — результат эволюции представлений демократической критики о читателе, эволюции, происходившей по причине и на фоне новых исторических событий, показавших, что «простой читатель» в годы политической реакции так же легко становится на ее сторону, как легко подхватывает передовые лозунги в годы общественного подъема.

В основном лишь на «читателя-друга» рассчитывает Салтыков-Щедрин. Конечно, и критики «шестидесятых» имели в виду прежде всего такого читателя, но все же нельзя не отметить, что их представлениям о читателе был свойствен больший оптимизм и меньшая горечь, чем Салтыкову-Щедрину. И по отношению к восприятию «Что делать?» оптимизм этот подтвердился, если иметь в виду, что книгу «все» читали, а для многих она стала «учебником жизни». Роль Чернышевского и его романа трудно отрицать. «Значение Чернышевского в нашей культуре, конечно, огромно»,— отмечал В. Розанов [66]. И одна из причин этого, повторим, в великолепном знании *читателя,* как настроенного дружески, так и возможного противника. Шум читательской многоголосицы доносится до нас из 1863 г., сразу после появления романа: «— „Помилуйте, можно ли так обращаться с читателями?" — жалуется „особа", обиженная мнением автора о ее сообразительности.— „Молодец Чернышевский! Как он хорошо понимает читателей и как потешается над ними!" — говорит господин, по мнению „особы", очевидно, принадлежавший к „мальчишкам".— „Какая безнравственность! И как печатают такие вещи!" — внушает заслуженный отец семейства.

— „Вот где настоящее уважение к женщине, вот как следует понимать человеческое достоинство!" — восклицает один из членов того же семейства, вопреки внушениям благонамеренного патриарха.

— „Ни малейшего понятия о художественности! Шагу не умеет ступить!" — говорит ревнитель художественности.— „А лица-то совершенно живые!" — отзывается другой такой же ревнитель и т. д.» [67].

Не все сбылось из предсказанного в романе. Многие, подобно известной общественной деятельнице Х. Д. Алчевской, могли бы рассказать, как швейные мастерские «обращались в обыкновенный модный магазин с девочками-работницами, с мастерицами на жалованье и эксплуатирующей чужой труд хозяйкой. Одна только вывеска гласила еще о том, что когда-то на этом месте существовало идейное учреждение» [68].

И уже в середине 70-х годов В. Р. Щиглев в стихотворении «В уголке» писал:

Во время о́но снился нам
Для всех открытый дом хрустальный;
Трудясь собща́, мы жили там,—

И ни одной души печальной
В том доме не было... Везде
Луч счастья и любви светился!..
«Сон Верочки» тогда нам снился...
Где сновиденья эти, где?..[69]

Неизмеримо более сложными оказались пути человечества, чем мыслилось Чернышевскому. Да и сам реальный человек намного сложнее, чем герои романа. Противоречивость натур и характеров, страсти, подавляющие разум, нелепые случайности, враждебность окружающих и государственного аппарата лишь в единичных случаях позволили осуществить и надолго сохранить предлагаемый автором «Что делать?» образ жизни «новых людей». Новые времена предъявляли новые же требования к человеку, но пережитое благородное увлечение не пропало даром, внеся очень значительный вклад в один из этапов истории русского общественного самосознания. «Люди шестидесятых годов, конечно, не водворили счастья на земле, не добились они ни равенства, ни свободы, о чем так страстно мечтали,— пишет в своих мемуарах Водовозова, прожившая долгую жизнь и умевшая размышлять,— но идеи, которые они разрабатывали и пропагандировали в литературе, с кафедры и в частных беседах (добавим: и осуществляли собственной жизнью.— *Г. Е.*), нарушали общественный застой, шевелили мысль, расширяли умственный горизонт русского общества, делали его более восприимчивым к участи обездоленных и трудящихся классов. ...Мало того, только эпоха шестидесятых годов внесла в сознание русских людей идеалы общественного характера — бескорыстное служение родине и своему народу, что, кроме редких исключений, было весьма малодоступно предшествующему поколению» [70].

В связи с последней мыслью следует напомнить: Чернышевский, видимо, полагал, что большинство пойдет за «обычными» «новыми людьми»; Рахметов — образец для очень немногих. В общем, так и случилось, но все же нельзя не отметить: воздействие образа Рахметова оказалось значительнее и продолжительнее, чем можно было бы ожидать [71]. Оно было еще живо тогда, когда осталось уже мало артелей, мастерских и т. п. Идея, определяющая всю жизнь, способность к самоотвержению во имя высокой цели, даже аскетизм и готовность к мукам нашли отклик и жажду подражать. И если говорить о представлении, которое имела о своем читателе демократическая критика, демократическая беллетристика, и Чернышевский в том числе, то их вера, их оптимизм, вряд ли оправдавшиеся полностью, все же остаются чем-то позитивным, чем-то взывающим к лучшему в каждом и определяющим — сознаем мы это или нет — и сегодняшние представления о читателе.

[1] См.: *Панаева А. Я.* Воспоминания. М., 1948. С. 352–356.
[2] *Левидов А. М.* Автор – образ – читатель. Л., 1983. С. 297.
[3] См.: *Эссен М. М.* Встречи с В. И. Лениным накануне и в дни первой русской революции // Вопр. истории. 1955. № 1. С. 28.

[4] *Левидов А. М.* Автор – образ – читатель. С. 298.
[5] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1953. Т. 1. С. 61.
[6] *Добролюбов Н. А.* Собр. соч.: В 9 т. М.; Л., 1964. Т. 8. С. 485.
[7] *Каратыгин П. А.* Записки. Л., 1929. Т. 1. С. 25–26.
[8] *Мейлах Б. С.* Художественное восприятие как научная проблема // Художественное восприятие. Л., 1971. Сб. 1. С. 11. История изучения «природы успеха» кратко дана в статье С. С. Шведова «Литературная критика и литература читателей (Заметки социолога)» (Вопр. лит. 1988. № 5. С. 6–8). Отсчет здесь идет от известных слов А. С. Пушкина: «Иное сочинение само по себе ничтожно, но замечательно по своему успеху или влиянию; и в сем отношении нравственные наблюдения важнее наблюдений литературных» (*Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. М., 1964. Т. 7. С. 99).
[9] *Банк Б. В.* Изучение читателей в России (XIX в.). М., 1969. С. 17.
[10] Там же. С. 4.
[11] *Головин К. Ф.* Русский роман и русское общество. СПб., 1897. С. 150.
[12] *Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л.* Воспоминания. М., 1967. Т. 1. С. 113–114.
[13] *Пинаев М. Т.* Н. Г. Чернышевский – романист и «новые люди» в литературе 60–70-х годов // История русской литературы: В 4 т. Л., 1982. Т. 3. С. 97.
[14] *Рубакин Н. А.* Этюды о русской читающей публике. СПб., 1895. С. 1.
[15] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. Т. 4. С. 431.
[16] Там же. Т. 1. С. 284.
[17] *Бурсов Б. И.* Мастерство Чернышевского-критика. Л., 1956. С. 186.
[18] *Добролюбов Н. А.* Собр. соч. Т. 1. С. 186.
[19] *Салтыков-Щедрин М. Е.* Собр. соч.: В 20 т. М., 1970. Т. 9. С. 23.
[20] *Добролюбов Н. А.* Собр. соч. Т. 5. С. 300.
[21] Там же. Т. 4. С. 55.
[22] Там же. Т. 1. С. 162.
[23] Там же. С. 163.
[24] Там же. С. 165.
[25] Там же. Т. 2. С. 63.
[26] Там же.
[27] Там же. С. 228.
[28] Там же. Т. 4. С. 59.
[29] См.: Современник. 1861. № 6, отд. II. С. 261.
[30] *Добролюбов Н. А.* Собр. соч. Т. 7. С. 265.
[31] Там же. Т. 2. С. 224.
[32] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. Т. 7. С. 102.
[33] *Водовозова Е. Н.* На заре жизни: Мемуарные очерки и портреты. М., 1987. Т. 2. С. 178.
[34] Дело. 1881. № 3. С. 160–162.
[35] *Писарев Д. И.* Соч.: В 4 т. М., 1955. Т. 1. С. 135.
[36] *Скабичевский А. М.* Литературные воспоминания. М.; Л., 1928. С. 248–250.
[37] *Огарев Н. П.* Избранные социально-политические и философские произведения: В 2 т. М., 1956. Т. 2. С. 150.
[38] *Водовозова Е. Н.* На заре жизни. Т. 2. С. 206.
[39] Память изменила Репину: речь должна идти о четвертом сне.
[40] *Репин И. Е.* Далекое – близкое. М., 1964. С. 342–343.
[41] *Скабичевский А. М.* Литературные воспоминания. С. 250.
[42] История русской литературы. Т. 3. С. 105.
[43] *Водовозова Е. Н.* На заре жизни. Т. 2. С. 169.
[44] *Гинзбург Л. Я.* О литературном герое. Л., 1979. С. 50.
[45] Там же. С. 51.
[46] См.: Всеобщая история искусств: В 6 т. М., 1964. Т. 5. С. 197.
[47] Лит. наследство. М., 1955. Т. 62. С. 642.
[48] *Скабичевский А. М.* Литературные воспоминания. С. 249.
[49] *Водовозова Е. Н.* На заре жизни. Т. 2. С. 172.
[50] *Оболенский Л. Е.* Литературные воспоминания и характеристики // Ист. вестник. 1902. № 1. С. 121.

[51] *Водовозова Е. Н.* На заре жизни. Т. 2. С. 171.
[52] Там же. С. 174–175.
[53] Там же. С. 207.
[54] Там же.
[55] *Горнфельд А. Г.* О толковании художественных произведений // Горнфельд А. Г. Пути творчества. Пг., 1922. С. 118–119.
[56] *Писарев Д. И.* Соч.: В 4 т. Т. 4. С. 8.
[57] Там же. С. 10.
[58] Там же.
[59] Там же.
[60] Там же.
[61] Звенья. М.; Л., 1936. Т. 6. С. 769.
[62] См.: *Ильин В. В.* Русская реальная критика переходного периода. Смоленск, 1975. С. 41–45.
[63] См.: *Лучинская Д. Ф.* Проблема читателя // Русская литературная критика 70–80 гг. XIX века. Казань, 1986. С. 98–106. В статье анализируется представление о читателе М. Е. Салтыкова-Щедрина.
[64] *Салтыков-Щедрин М. Е.* Собр. соч. Т. 16. С. 551.
[65] Там же. С. 553.
[66] *Розанов В.* Люди лунного света. СПб., 1913. С. 160.
[67] Модный магазин. 1863. № 14. С. 166. См.: *Пинаев М. Т.* Роман «Что делать?» в восприятии современников Чернышевского // Пинаев М. Т. Н. Г. Чернышевский: Худож. творчество. М., 1984. С. 105–131.
[68] *Алчевская Х. Д.* Передуманное и пережитое. М., 1912. С. 276–277.
[69] Поэты 1860-х годов. Л., 1968. С. 373.
[70] *Водовозова Е. Н.* На заре жизни. Т. 2. С. 206–207.
[71] *Пинаев М. Т.* Н. Г. Чернышевский – романист и «новые люди» в литературе 60–70-х годов // История русской литературы. Т. 3. С. 106–107.

И. П. Видуэцкая

ПИСАТЕЛИ-ДЕМОКРАТЫ 1860-Х — НАЧАЛА 1880-Х ГОДОВ И РОМАН ЧЕРНЫШЕВСКОГО «ЧТО ДЕЛАТЬ?»

Творчество писателей-демократов 60–80-х годов, или, иначе, «прозаиков прогрессивного лагеря» [1], изучено в нашей науке достаточно полно и хорошо. Не впервые ставится и проблема влияния на их идейные и творческие установки романа Чернышевского «Что делать?». Можно сказать, что ее не обошел ни один исследователь, обращавшийся к анализу произведений этой группы писателей. Существует даже точка зрения о наличии «школы» Чернышевского в русской литературе 60–80-х годов XIX в. Так, в статье М. Т. Пинаева «У истоков литературной школы Н. Г. Чернышевского» говорится, что роман «Что делать?» «по праву считают произведением, положившим начало большой серии романов о „новых людях“ и, по существу, открывшим новую литературную школу в русском реализме, школу Чернышевского» [2]. Эта же мысль лежит в основе написанной М. Т. Пинаевым главы «Н. Г. Чернышевский – романист и „но-

© И. П. Видуэцкая, 1990

вые люди“ в литературе 60—70-х годов» в «Истории русской литературы» в четырех томах (Л., 1982. Т. 3).

Однако с этой точкой зрения согласны не все исследователи. В. Н. Коновалов усматривает существенный недостаток такого подхода к произведениям писателей-демократов в том, что они «анализируются в первую очередь со стороны их тематики и идейного содержания, и критерием оценки становится подчас не столько художественное своеобразие повести или романа, сколько степень его соответствия определенному эталону, которым обычно является „Что делать?“ 〈...〉 Следование традициям знаменитого романа Чернышевского превращается в таком случае едва ли не в единственную заслугу этих писателей» [3].

В. Н. Коновалов указывает на более широкие традиции, которым следует, по его мнению, эта группа писателей: «Романы о „новых людях“ развиваются в общем русле русского реализма. Они продолжают традиции „натуральной школы“ и революционно-демократической беллетристики первой половины 60-х гг.» [4] Чернышевский включается в эту традицию наряду с другими писателями, в частности Помяловским.

Для того чтобы спор не был беспредметным, нужно в первую очередь четко определить понятие «литературная школа». Однако такого определения нам найти не удалось. Оно отсутствует в курсах теории литературы и в «Краткой литературной энциклопедии» (хотя в ряде статей последней само это понятие встречается). В незавершенной литературной энциклопедии 30-х годов такая статья была обещана, но соответствующий том не вышел. «Литературная энциклопедия. Словарь литературных терминов» в двух томах (М.; Л., 1925) под редакцией Н. Бродского, А. Лаврецкого и др. дает понятие литературной школы в составе статьи «Течение (художественно-литературное)» (автор М. Эйхенгольц). Там говорится, что «в „школу“ выливаются художественно-литературные течения, когда поэтический канон подлежит строгому, регламентированному соблюдению его участниками 〈...〉 „Школа“ зачастую связана с эпигонством». «...С термином „школа“ связано понятие выучки и прямого влияния руководителя, почти подражания ему». Эйхенгольц предостерегает от смешения художественно-литературного течения со школой того или иного писателя. Такое смещение, на наш взгляд, допускает М. Т. Пинаев в большой работе «Наследие Н. Г. Чернышевского и демократическая литература 60—80-х годов», где, в частности, говорится: «В демократической литературе 60—80-х годов четко выделяется революционно-демократическое течение, непосредственно восходящее к литературной школе Чернышевского» [5].

Болгарский «Речник на литературните терминии» (София, 1963) различает широкое и узкое понимание «литературной школы». В широком смысле — это то же, что литературное направление. В узком — особенности творчества великого писателя (идейно-эстетические взгляды, приемы, образы), которые служат другим писателям как школа художественного мастерства. Еще

одно значение — группа писателей с близкими творческими особенностями.

По мнению В. В. Виноградова, «понятие литературной школы <...> определяется не личным ее составом, не указанием на литературную физиономию включенных в нее поэтов, а выделением общих особенностей» [6]. Эти особенности он видел в «сюжетах, архитектонике и стиле».

Ю. В. Манн дает следующее определение литературной школы: «Под школой мы подразумеваем (если оставить в стороне организационный признак) ряд литературных явлений с высокой степенью общности, простирающейся до общности тематики, стиля, поэтического языка. Такова некрасовская школа в поэзии, школа народнической беллетристики, школа ранних пролетарских поэтов и т. д.»[7]

Таким образом, чтобы доказать принадлежность писателя или произведения к «школе» Чернышевского, потребуется установить влияние романа «Что делать?» не только на его идейно-образную систему, но и на стилевую. Проблема влияния сама по себе тоже чрезвычайно сложна. В самом деле, всегда ли можно с достаточной точностью определить, где писатели-демократы в создании образов «новых людей» следовали за Чернышевским, а где шли непосредственно от действительности? Нам представляется, что наиболее плодотворным путем решения проблемы, вынесенной в заголовок настоящей работы, будет рассмотрение романа Чернышевского «Что делать?» с точки зрения его места в истории становления и развития разночинного романа. С этой целью мы попытаемся проследить судьбу идейно-художественных открытий Чернышевского в творчестве писателей революционно-демократического лагеря.

С наступлением второго этапа освободительного движения разночинцы стали все более активно вторгаться в общественную жизнь и литературу. На очередь дня вставал вопрос о создании писателями-разночинцами романа о разночинцах. На это требование времени ответили авторы, которых условно, без умаления демократизма русских писателей первого ряда, принято в нашей науке называть писателями-демократами. Эта группа писателей, действовавших преимущественно в 60—80-е годы XIX в., не представляет строгого единства, хотя в основном в нее входили деятели с передовым мировоззрением. Созданный в это время разночинный роман получил название романа о «новых людях» [8], хотя под эту категорию подходят не все явления разночинной романистики. В частности, вне ее находятся многие романы А. К. Шеллера-Михайлова, которые на этом основании объявляются суррогатом романа о «новых людях», в то время как это просто другая ветвь разночинного романа.

Роман Чернышевского «Что делать?» (1863) стоит в начале развития разночинного романа, но не у самых его истоков. Ему предшествуют романические повести «Мещанское счастье» (1860) и «Молотов» (1861) Н. Г. Помяловского, «первого писателя-шес-

тидесятника, в творчестве которого проблема общественного призвания разночинца становится центральной» [9]. Как известно, Чернышевский очень высоко ценил талант Помяловского, считая его писателем «гоголевской и лермонтовской силы» (XII, 683) и говоря, что его собственный роман «слишком слаб сравнительно с произведениями людей, действительно одаренных сильным талантом, например, с „Мещанским счастьем", „Молотовым"» (XI, 342).

Ответив на потребность разночинцев иметь свою литературу, отражающую их жизнь, исследующую развитие личности разночинца, разночинный роман хотя и был в ряде случаев полемически заострен против дворянского романа, однако многое от него унаследовал. Резкие выпады против дворянского романа встречаем, например, в романе В. В. Берви-Флеровского «На жизнь и смерть»: «Даже и поэтизировать скуку было не кстати и невозможно: и Печорины, и Вертеры, и героини, толкующие о мишуре жизни, и старички, умилявшиеся при воспоминании о прошедшем, давно были осмеяны» [10]. И далее: «Романисты по большей части люди красноречивые и малоразвитые. Посмотрите, каких уродов они рисуют всегда, когда хотят изобразить действительного героя. Они вовсе неспособны понимать в человеке глубоких и великих страстей» [11].

У истоков разночинного романа кроме повестей Помяловского стояли и романы Тургенева о разночинцах — «Накануне» (1860) и «Отцы и дети» (1862). Полемику с образом Базарова многие современники Чернышевского, а также позднейшие исследователи его творчества усматривали в романе «Что делать?» [12]. Однако в среде писателей-демократов этот образ вызывал не только отталкивание, но и притяжение, о чем мы еще будем говорить.

Роман Чернышевского, хронологически предшествующий большинству романов о передовых разночинцах, оказался и наиболее выдающимся среди них явлением. Он обязан своим возникновением уникальной в русской истории ситуации — невиданному ранее подъему общественного движения и брожению низов, что порождало надежду на близость революции. «Глубочайшее своеобразие „Что делать?" заключается в том, что произведение это создано в тот исторический момент, когда русское крепостничество потерпело историческое поражение, хотя и сохранило (притом, как оказалось впоследствии, надолго) многие свои позиции, а господство буржуазных отношений еще не установилось» [13]. Нельзя не учитывать и особенности личности создателя романа «Что делать?». Передовой мыслитель эпохи, вождь революционной демократии избрал жанр романа, чтобы донести свои идеи до широких кругов читателей, даже до тех, кто «не читает ничего, кроме романов» (14, 456). Среди писателей-демократов не было личности такого масштаба, и среди созданных ими произведений не было ни одного, получившего подобный резонанс в обществе и в литературе. Очень быстро и резко изменился и характер эпохи. Произведения писателей-демократов

создавались в совершенно иной исторической обстановке. Для передовых деятелей эпохи наступило «трудное время», пора реакции 60-х годов.

Сопоставление «Что делать?» с романами (а в ряде случаев и с повестями) писателей-демократов мы будем проводить по нескольким линиям, что позволит проследить судьбу идейных и художественных открытий Чернышевского в демократической литературе последующего времени. Поскольку наиболее существенным общим признаком рассматриваемой группы произведений является наличие образов «новых людей», то целесообразно начать с проблемы центрального героя.

«Что делать?» имеет подзаголовок «Из рассказов о новых людях». Таким образом, автор прямо и открыто провозглашает появление в русской действительности человека нового типа, а в литературе — нового героя. Предлагая вниманию читателя целую группу таких героев, автор стремится раскрыть, в чем заключается новизна их характеров и поведения. Он выступает в роли экспериментатора, помещающего своих героев в различные обстоятельства и наблюдающего за их действиями. При этом он не отказывается от прямого комментирования поступков персонажей, сопоставления их с другими возможными моделями поведения в данной ситуации, и все это с целью выявить и подчеркнуть новизну типа. Таково, например, рассуждение в десятой подглавке второй главы о странностях «нынешней молодежи», представителями которой являются Лопухов и Кирсанов. Эти молодые люди совершенно бескорыстно и даже в ущерб своим научным занятиям помогают девушке, попавшей в беду (см. с. 77—78 романа).

Как известно, Чернышевский показал два типа «новых людей»: это «обыкновенные» новые люди и «особенный» человек — Рахметов. О первом типе он писал: «Я хотел изобразить обыкновенных порядочных людей нового поколения, людей, которых я встречаю целые сотни. Я взял троих таких людей: Веру Павловну, Лопухова, Кирсанова» (231). Людей же «особой породы», таких, как Рахметов, мало: автор признается, что «встретил до сих пор только восемь образцов этой породы (в том числе двух женщин)» (202).

Образ Рахметова произвел наиболее сильное впечатление на создателей произведений о передовых разночинцах. По отношению к этому образу можно в ряде случаев с уверенностью ставить вопрос о непосредственном влиянии или, наоборот, отталкивании, а не о типологическом сходстве.

Одна из первых попыток создать образ революционера типа Рахметова принадлежит Н. Бажину. В 1864 г. в напечатанной на страницах «Современника» повести «Степан Рулев» с безыскусственностью, обличающей литературную неискушенность автора, в прямодушных интонациях устного сказания он воплотил свое представление о борце за народное счастье. В отличие от Рахметова его герой не из богатых дворян, а из разночинной среды. Наивно, но последовательно Бажин стремится показать путь

формирования революционера с самого детства. «Рулев младший, имея и мать довольно умную, да притом родившись совершенно здоровым, не имел никаких резонов выйти дураком, тем больше что и жизнь с самого начала повела его не к апатии, а к усиленной мозговой деятельности» [14]. Человеком, выделяющимся из своей среды, Рулева сознательно воспитала мать, находившаяся под влиянием учителя с передовыми взглядами. «Рассказывая сказки своему маленькому сыну, она часто с глубокой тоской выводила в них учителя и его жизнь, потом постепенно передавала сыну взгляд учителя на жизнь и даже читала ему рукопись покойного под заглавием: „О человеческих отношениях“ Эти-то мысли, во многом не сходные с мыслями местного общества, и будили умственную деятельность ребенка» (491).

Рахметов не был главным действующим лицом романа Чернышевского, но в то же время его роль в осуществлении замысла писателя была чрезвычайно велика. Это во многом определило способ раскрытия его характера: он дан больше в рассказе от автора, чем в действии или в диалоге. Малый объем требовал большой концентрации, поэтому Чернышевский кратко отмечал основные вехи жизненного пути молодого человека: «Рахметов в 16 лет, когда приехал в Петербург, был с этой стороны обыкновенным юношею довольно высокого роста, довольно крепким, но далеко не замечательным по силе ⟨...⟩ Но на половине 17-го года он вздумал, что нужно приобресть физическое богатство, и начал работать над собою» (204). «Это ему засело в голову с половины 17-го года, потому что с этого времени и вообще начала развиваться его особенность ⟨...⟩ Через полгода, хоть ему было только 17 лет, а им уже по 21 году, они уж не считали его молодым человеком сравнительно с собою, и уже он был особенным человеком» (205).

Бажин пытается применить тот же прием при обрисовке главного героя и так же кратко пишет о Рулеве: «В семнадцать лет у него набралось громадное количество знаний, вынесенных из чтения. Знания эти представляли страшный хаос, противоречили одно другому. Надо было найти ложь и правду. С этой поры началась серьезная умственная деятельность Рулева» (492—493). Бажин не знакомит читателя с содержанием и процессом этой деятельности. Проблемы, волновавшие героя, обозначены лишь в самых общих чертах. В одном абзаце сказано, какими науками занимался Рулев, чтобы «абсолютно узнать человека» и далее снова в духе характеристики Рахметова: «В двадцать лет он уже совершенно сформировался физически и выработал самостоятельный, строго реальный взгляд на жизнь» (493).

Чернышевский придал Рахметову черты легендарного героя, Рулев у Бажина вырастает в героя сказочного. Действие повести Бажина развивается по законам сказки. Ее герой, могучий богатырь, легко преодолевает все препятствия, возникающие на его пути. Остается Рулев без средств к существованию, отец отказывает ему в какой-либо помощи. «Дело было во время школьных

экзаменов. Рулев работал за десятерых: писал целые диссертации, переписывал огромнейшие тетради, переводил целые книги, одним словом, работал день и ночь и деньги приобрел» (494). Оставив школу (какую именно, неизвестно, сказано только, что «отец отдал его в одно учебное заведение» — 492), Рулев выходит в самостоятельную жизнь с твердым убеждением, что ему нужна «полнейшая независимость — без всяких стеснений: жить, где угодно, заниматься, чем найдет нужным, и т. д.» (494).

Автор предоставляет своему герою одну счастливую возможность за другой. Придя пешком в некий город, расположенный на большой судоходной реке, он без труда устраивается приказчиком в книжную лавку и вскоре встречает на базаре знакомого купца Скрыпникова, странную личность, испытывающую тягу к знаниям и гасящую свою тоску в поединках с бурлаками. Рулев, пристыдив купца: «Ты, друг любезный, на печи все лежал, а они за работой руки повыломали» (498), предлагает в соперники себя и побеждает купца в борьбе на поясах. После этого купец раскрывает перед Рулевым свою душу и предлагает ему стать воспитателем его сына. Рулев соглашается, оставляет лавку и переселяется к купцу.

В следующей главе Рулев уже уездный учитель «в том крае, который находил нужным посмотреть поближе» (498). Он уже явно готовится к революционной деятельности: «Он видел уже слишком много страданий человека, зла всякого, погибавших людей, и мысль о деле уже совершенно овладела им» (498).

Для придания достоверности столь необыкновенному герою Бажин, подобно Чернышевскому, вставляет в текст повести замечание о своем личном знакомстве с ним: «В это время я встретил его во второй раз; в первый же я видел его тогда, когда он только что вышел из школы 〈...〉 Я просидел у него часов до трех ночи, так завлекательны были его разговоры» (498). И все-таки Рулев, в отличие от Рахметова, выглядит фигурой не столько наблюденной, сколько сконструированной. Казалось бы, Бажин позаботился о том, чтобы мотивировать появление такого человека в мало подходящей для этого среде, а Чернышевский сделал лишь оговорку, что «какова бы ни была почва, а все-таки в ней могут попадаться хоть крошечные клочочки, на которых могут вырастать здоровые колосья» (202). Но личность Рахметова, при всей ее необычности, выглядит гораздо жизненнее, чем схема, созданная Бажиным.

Прототипическая зависимость образа Рулева от Рахметова сказывается и в ряде других сюжетных моментов: это и необычайная физическая сила, сознательно воспитанная в себе героем, и дружба с бурлаками, и окружающая его тайна, и отказ от личного счастья.

Бажин, сделав попытку показать хотя бы намеком революционную деятельность Рулева (его герой, как Рахметов, постоянно куда-то внезапно уезжает и так же внезапно возвращается), тут же от нее отказывается. «Но я нахожу неуместным,

да и мало интересным для читателя,— говорит он,— следить за его путешествиями по всяким пустыням ...» (514). Та мера недоговоренности, которая была допустима в эпизоде романа «Что делать?», посвященном Рахметову, в повести Бажина вела к разрушению сюжета. Писатель, по-видимому, сам это сознавал и поэтому ввел в текст своего произведения своеобразное самооправдание: «В конце концов, может быть, почувствуется, что все эти столкновения с разными, являющимися здесь людьми — в жизни Рулева — дело второстепенное; главное же есть его предприятие, а на него только намекается. Но я не думал писать роман или повесть с разными затруднительными положениями и коллизиями, а просто пишу очерк развития Рулева. Его взгляд на жизнь я рассказал, а за этим не трудно определить и деятельность Рулева. Говорить же подробно об этой деятельности, повторяю, нахожу неуместным» (514).

Можно было бы сослаться на цензурные трудности этого периода, если бы не появившийся в следующем году роман В. Слепцова «Трудное время» (1865), автор которого, опытный и талантливый писатель, в тех же цензурных условиях сумел создать художественно полноценный реалистический образ революционера, действующего в период жестокой реакции и рассеяния передовых сил летом 1863 г. Прав Б. Ф. Егоров, когда пишет: «Н. Ф. Бажин совершенно не отразил реальные трудности революционной работы в условиях 1863—1864 годов или же,— если считать это цензурно невозможным,— новые психологические черты, чувства героев, переживших поражение надежд на революционную ситуацию» [15] Дидактический примитивизм и явная подражательность не позволили Бажину создать полнокровный художественный образ.

С. Б. Рассадин справедливо оценивает повесть Бажина лишь как попытку «изобразить некое подобие Рахметова». «Его Рулев бродит по стране, собирает единомышленников, говорит революционные, но крайне туманные фразы. Реальная обстановка в повести отсутствует, идеалы писателя весьма расплывчаты. Бажин переступил ту грань, за которой вынужденная, эзоповская «туманность» становится неопределенностью и даже ходульностью. Сохранив внешность вожака рахметовского типа, Степан Рулев утерял историческую и политическую конкретность» [16].

После Бажина у писателей-демократов уже не было таких откровенных попыток написать своего Рахметова. Наиболее близкими ему героями исследователи считают Теленьева из неоконченного романа Д. Гирса «Старая и юная Россия» (1868, 1870) и Оверина из романа И. Кущевского «Николай Негорев, или Благополучный россиянин» (1871). Теленьев — один из наиболее привлекательных образов революционеров, созданных писателями-демократами, и он действительно обладает рядом черт, делающих возможным его сопоставление с Рахметовым. Правда, его масштаб как революционного деятеля в опубликованных частях романа остается неясным. Говоря о том, что герой Гирса, как и

Рахметов, тоже «особенный человек», Н. И. Пруцков основывается на расширительном толковании слов автора о том, что он знал лишь двух «замечательных субъектов в этом роде — его ⟨Теленьева⟩ да еще одного поляка»[17]. Сопоставляя эти слова с замечанием Чернышевского о том, что он встречал всего восемь человек, подобных Рахметову, Н. И. Пруцков не учитывает, что Гирс имеет в данном случае в виду не масштаб революционного деятеля, а лишь способность к упорному до педантизма труду самообразования. О поляке у Гирса далее говорится: «Этот последний даже и его ⟨Теленьева⟩ перещеголял: идет, бывало, куда-нибудь по делу, а сам, чтобы не терять напрасно времени, на ходу долбит французские неправильные глаголы»[18]. Однако несостоятельность этого аргумента не подрывает общего впечатления о Теленьеве как о личности рахметовского толка.

По опубликованным частям видно, что роман Гирса был задуман очень широко. Многочисленные сюжетные линии умело сплетены и готовы завязаться в единый узел. Намечены интересные характеры, обозначены уже некоторые конфликты, подробно нарисован фон. И все-таки мы имеем дело только лишь с развернутой экспозицией: герои один за другим вводятся в действие, но действия как такового почти еще нет. Теленьев в экспозиции обрисован очень подробно, и остается только пожалеть, что этот роман не состоялся: было бы интересно увидеть, как действует революционер рахметовского толка в самой гуще русской жизни.

Действие романа начинается летом 1861 г. в провинции. Теленьев приезжает в богатую помещичью усадьбу навестить отца, служащего управляющим. Готова возникнуть ситуация: плебей среди бар, но писатель показывает нам, что его герой крупнее этих рамок, подобный конфликт для него слишком мелок, он его игнорирует, устраняется от него, отходя в сторону от людей, с которыми у него нет ничего общего. Как Рахметов, став революционером, не терял зря ни одной минуты, отдавая все свое время делу революции, так и Теленьев признает только большие цели достойными приложения сил.

Серьезность убеждений и целей Теленьева не позволяет ему, по его собственному выражению, «напрасно тратить порох». Он согласен с теми, кто рекомендует «бороться только против настоящего, существенного зла, биться только против... в самом деле... великанов» (361). Доктор Маркинсон, неутомимо сражающийся против всяческих злоупотреблений местной администрации (за что его то и дело переводят из губернии в губернию), замечает на это: «...чтобы бороться с великанами, нужно быть и самому титаном ⟨...⟩ Только как универсальный рецепт — ваше средство не годится. Толпе по плечу средняя тяжесть ноши. А это и будет то, что я рекомендую. А кто может, кто может — опять-таки — исполать тому» (362). Рекомендовал же доктор «биться с предрассудком, с ложью» и считал это не только не бесполезным, но «даже ставил долгом всякому честному человеку» (361).

На основании высказывания Теленьева о великанах, против которых только и следует биться, и высказывания Маркинсона о титанах, которым одним по плечу такая борьба, исследователи делают вывод о том, что в лице Теленьева Гирс изобразил такого титана. «Рахметовы предстают как руководящий авангард главного двигателя истории — широкого народного движения,— пишет Н. И. Пруцков.— Вот этой мысли о народе как двигателе истории и о „новых людях“ как двигателях двигателя нет в романе Гирса „Старая и юная Россия“ Это обстоятельство усиливает черты титанизма в характере Василия Теленьева, ставит народ в положение пассивной силы, исключает его из сюжета как силу действующую. Герой Гирса говорит с народом и думает о народе, служит ему, идет в народ. Но эти живые связи с народом не одушевлены мыслью о том, что именно в народе следует искать главную двигательную силу жизни» [19]

Мы не находим черт титанизма в характере Теленьева, да и сам он в разговоре с Маркинсоном такое мнение опровергает. «Я ничего не рекомендую,— поспешно сказал Теленьев,— пожалуйста, не навязывайте мне того, что не принадлежит мне. <...> Рекомендовать можно, только претендуя учить людей. А я не беру на себя этого права. Я рядовой...» [20] В опубликованных частях романа ничто не характеризует Теленьева как революционного вождя. Его фигура окутана некоторой тайной, но это скорее следствие недоговоренности или композиционный прием. Намеком на подготовку к революционной деятельности является тайная тренировка героя в стрельбе по мишени боевыми патронами, в то время как он уверил слугу, что пойдет поохотиться на уток.

Теленьев, несомненно, личность крупная и цельная. Это человек сильной воли и большой целеустремленности. Его упорство в самообразовании и физическом закаливании организма сродни рахметовскому, но без его крайних форм. Подобно Рахметову, Теленьев решает отказаться от любви и личного счастья. Когда ему говорят: «Ну, значит, вы не понимаете тогда этого чувства <...> Вы аскет... монстр», он отвечает: «Нет, признаю... и признаю даже великим благом», но он гонит его от себя, потому что «это просто не входит в его расчет» [21].

Что касается отношения Теленьева к народу, то здесь Н. И. Пруцков, по всей видимости, совершенно прав. В самом начале своего появления в романе Теленьев долго и подробно беседует с ямщиками и хозяином постоялого двора, с явным удовольствием используя случай непосредственного общения с народом. Как убежденный пропагандист, он старается внушить обступившим его мужикам как можно больше полезных мыслей. Интересно, какие это мысли. Во-первых, он говорит и берется доказать, что «сильнее тот, кто более здоровый хлеб да пищу ест» [22]. Эта мысль нужна ему, так сказать, для затравки. Что мужик ценит и уважает больше всего? Физическую силу. Он считает себя сильнее и барина и немца, хотя ест простой черный хлеб. Эту мужицкую уверенность Теленьев колеблет, поборов

дюжего хозяина постоялого двора. Как видим, уважение простого народа он завоевывает тем же способом, что и Рахметов, прославившийся своей физической силой среди бурлаков. Теленьев хочет пробудить в крестьянах стремление жить лучше, а путь к этому он видит в распространении грамотности, внедрении техники, в трезвости.

Сопоставив два эпизода (общение с ямщиками и разговор с Маркинсоном), можно прийти к выводу о том, что для Теленьева народ является скорее объектом приложения самоотверженной деятельности революционера, чем потенциальным борцом за свои права. Во всяком случае, в сцене с ямщиками культуртрегерская позиция Теленьева не имеет ни малейшей революционной окраски. Он охотно объясняет мужикам физические законы, стремится пробудить в них страсть к познанию, пытается внушить им идеи интернационализма, опираясь на Священное писание, но не проявляет никакого интереса к коренным проблемам крестьянской жизни в первое лето после реформы.

В отличие от Теленьева Оверин является героем завершенного романа, и поэтому о нем можно судить с большей определенностью. В исследованиях о демократическом романе 60—70-х годов установилась прочная традиция сближения Оверина с Рахметовым. «Преданность любимому делу, крайний ригоризм, страстная, неумолимая последовательность делают Оверина вторым Рахметовым»,— пишет Б. Ф. Егоров, но тут же делает оговорку: «Однако многое в его образе связано скорее с Дон Кихотом, чем с Рахметовым» [23]. Так же оценивает образ Оверина Н. И. Пруцков: «В нем художник раскрыл не только рахметовское начало, черты сурового подвижника и бесстрашного революционера, но и нечто такое, что сближает его со смешным фантастом Дон Кихотом» [24]. При этом необходимо отметить, что о сходстве Оверина с Дон Кихотом говорит сам Кущевский, а его родство с Рахметовым устанавливают исследователи. Посмотрим, насколько обоснованным является такое сопоставление.

Рахметов — могучая цельная фигура, нарисованная автором с большим сочувствием и пониманием. Безусловной авторской симпатией и даже восхищением отмечены образы Рулева и Теленьева. Кущевский изображает Оверина не прямо, а через призму восприятия главного героя романа, человека холодного и эгоистичного, неспособного к искреннему сочувствию, рассудительного до трусости и закономерно превращающегося в условиях реакции 60-х годов в ренегата и подлеца. Такая призма в значительной степени деформировала образ Оверина. На нем лежит разъедающий налет иронии, снижающей характер этого незаурядного героя и вредящей цельности впечатления. Так, грубым диссонансом с трагическим смыслом сцены звучит сообщение о том, что при аресте «Оверин продолжал сопротивляться до того, что откусил палец одному казаку уже в то время, как его взяли» [25]. Во время гражданской казни «Оверин, не зная, что делать, с самым глупым видом начал озираться во все стороны на солдат и

чиновников, образовавших около него большой круг. <...> Начали читать приговор, и Оверин очень покорно, по приказанию палача, снял шляпу, но пришел в большое смущение, не зная, куда ее девать» (300). «Глупый вид», «очень покорно», «большое смущение» — невозможно представить, чтобы такие слова могли быть отнесены к Рахметову или к другому революционеру его ранга.

Правда, и Чернышевский, говоря о людях особой породы, к которым относится Рахметов, допускает отступления от героического стереотипа. Он пишет: «Между ними были люди мягкие и люди суровые, люди мрачные и люди веселые, люди хлопотливые и люди флегматические, люди слезливые (один с суровым лицом, насмешливый до наглости; другой с деревянным лицом, молчаливый и равнодушный ко всему; оба они при мне рыдали несколько раз, как истерические женщины, и не от своих дел, а среди разговоров о разной разности; наедине, я уверен, плакали часто) и люди, ни от чего не переставшие быть спокойными <...> Над теми из них, с которыми я был близок, я смеялся, когда бывал с ними наедине; они сердились или не сердились, но тоже смеялись над собою. И действительно, в них было много забавного, все главное в них и было забавно, все то, почему они были людьми особой породы. Я люблю смеяться над такими людьми» (202).

Но здесь надо учитывать характер авторского повествования в романе Чернышевского, особенности эзопова языка, которые делают мысль писателя до конца понятной лишь в контексте всего романа. У Кущевского снижение образа Оверина — тоже, конечно, литературный прием, поэтому речь идет о более или менее удачном его применении, а не о сознательной дискредитации писателем образа революционера.

В образе Оверина не сбалансированы яркие индивидуальные особенности личности и черты, позволявшие бы увидеть в нем определенный, пусть чрезвычайно редкий, социальный тип. Хотя Оверин появляется на страницах романа тринадцатилетним мальчиком, читатель не получает отчетливого представления о причинах, сформировавших такой характер. Оверин с самого начала показан как странный мальчик, переходящий от одного недетского увлечения к другому: то он собирается уйти в монастырь, то хочет сделаться пустынником и жить в землянке в лесу и не переставая молиться, то вдруг увлекается изобретением нового русского шрифта и, чтобы его изготовить, забирает у своего попечителя жалованье за несколько месяцев вперед, то решает стать великим писателем. Будучи студентом, он печатает в специальном немецком журнале статью о лейденских банках. Это означает, что ему удалось за короткий срок достичь чего-то в науке. Затем он выдумывает и начинает разрабатывать новую науку — «историческую алгебру». Революционная деятельность Оверина представлена в романе как очередное увлечение. Как-то раз, прочитав прокламацию, он бросил все и ушел бунтовать крестьян. Ушел совершенно один и действовал как одиночка,

не связанный ни с какой революционной организацией. Именно в это время один из его друзей назвал его Дон Кихотом. Оверин переходил из деревни в деревню в сопровождении старика лакея, «который когда-то нянчил его на руках» (273), и призывал крестьян к бунту. Скоро в губернии «почти все рассказы о крестьянских беспорядках стали украшаться его именем» (273). Интересно, как воспринимали крестьяне проповедь Оверина. «Об Оверине крестьяне думали, что он тоже был в заговоре с прочими дворянами, но побоялся бога и ради спасения своей души решился открыть злокозненные замыслы своих товарищей. Слыша в речах Оверина такие слова: „Вас обманывали, против вас всегда был гнусный заговор; вступитесь за свои законные права“ и проч., они еще более убеждались в своих предположениях относительно оратора. Влияние Оверина становилось очень ощутительным...» (276).

Как видим, в отличие от культуртрегерских разговоров Теленьева, пропаганда Оверина среди крестьян носит революционный характер, но о сколько-нибудь серьезном сопоставлении с деятельностью Рахметова говорить не приходится. Оверин вообще человек другого типа. Если такие самостоятельные люди, как Лопухов и Кирсанов, не считали Рахметова сравнительно с собой молодым человеком, когда ему было всего 17 лет, то Оверин до конца остается большим ребенком. В его характере подчеркнуты свойства чудака, дикаря, «естественного человека».

Как могло возникнуть сравнение Оверина с Рахметовым? Оверин, несомненно, фигура неординарная. В своем роде он тоже «особенный человек». Его поведение, его взгляды и интересы резко выделяют его среди сверстников уже в гимназии. В казенном заведении, где господствует бессмысленная муштра, он ухитряется сохранять духовную независимость. «...Я жалкое ничтожество,— говорит он,— если мыслю и действую, соображая, что скажут обо мне другие» (149). Его протест против жестокости гимназических нравов выражается не только в отрешенности от тупой бессмыслицы будней и погружении в мир идей, но и в открытом бунте, на который он подбивает и других гимназистов. Кущевский подчеркивает доброту и бескорыстие Оверина, которые также выходят за пределы обычного. Став неожиданно владельцем двухсот душ, Оверин, подобно Рахметову, отказывается от права собственности на крестьян, доказав тем самым, что его убеждения не расходятся с его поступками.

Подобно Рахметову, Оверин испытывает себя на боль. Видя, как мучается из-за пустяковой раны его товарищ, он прокалывает себе ладонь ланцетом, чтобы получить представление о своей способности терпеть. Однако цель Рахметова — подготовить себя к грядущим, возможно, мукам в застенках тюрьмы, тогда как Оверин просто хочет лучше узнать себя. Интересно, что принципам рахметовского ригоризма в быту у Кущевского следует одна из героинь, живущая самостоятельно своим трудом девушка. По ее словам, она «боится привыкнуть ко всему, чего не может доста-

вить себе ежедневно» (233—234). Здесь, как и в случае испытания себя Овериным на боль, поступки рахметовские, но мотивы личные, тогда как герой Чернышевского твердо проводит в жизнь принцип: «Того, что никогда не доступно простым людям, и я не должен есть! Это нужно мне для того, чтобы хоть несколько чувствовать, насколько стеснена их жизнь сравнительно с моею» (206).

Рассмотрев все возможные точки соприкосновения характеров Оверина и Рахметова, мы приходим к выводу, что серьезных оснований для сближения этих двух героев нет. Оверин отличается от Рахметова в главном: он не вождь. Его даже нельзя назвать рядовым профессиональным революционером, какого изобразил, например, Слепцов в романе «Трудное время». Оверин скорее революционно настроенный одиночка. Он действует импульсивно, «от себя», не связан ни с какой организацией, не пытается обрести единомышленников и товарищей по борьбе. Его попытка поднять на борьбу крестьян — это поступок Дон Кихота, а не революционера. Его наивность простирается до того, что, будучи под следствием, «он уговаривал членов следственной комиссии отказаться от тлена мира сего и пожертвовать собой для общего счастья» (291).

Оверин и не мог повторять Рахметова, ведь он герой совсем другого романа, создававшегося в другое время. Описывая эпоху середины 50-х — начала 60-х годов, Кущевский смотрит на нее из конца 60-х и не пытается, подобно Чернышевскому, вселить в читателя уверенность в близкой победе революции. Это роман не только о революционере, но и о ренегате, о «благополучном россиянине» Николае Негореве. У Кущевского свои задачи. Образ Оверина, как и образ Теленьева у Гирса, интересен сам по себе, независимо от того, как он соотносится с образом Рахметова. Большой близости можно ожидать только в несамостоятельном произведении, что и демонстрирует повесть Бажина «Степан Рулев».

* * *

Если брать основные вехи развития разночинного романа о «новых людях», то «Трудное время» (1865) В. А. Слепцова стоит (вместе с неоконченным романом Н. А. Благовещенского «Перед рассветом») непосредственно за «Что делать?». Действие романа Слепцова происходит летом 1863 г., когда рухнули надежды на крестьянское восстание, когда реакция разметала передовых деятелей эпохи: кто попал в тюрьму, кто в ссылку, кто эмигрировал, кто ушел в подполье. Роман Слепцова — об одном из тех, кто продолжил борьбу в новых, тяжелейших условиях.

«Трудное время» представляется нам тем случаем, когда можно ставить вопрос только о типологически общих чертах с романом Чернышевского, но никак не о влиянии или тем более «школе». «Трудное время» — одно из вершинных достижений разночинного романа. Слепцов создавал его, будучи уже зрелым писателем, одним из ведущих прозаиков разночинно-демократиче-

ского лагеря 60-х годов, автором очерков из народной жизни, тяготевшим к воспроизведению сугубо конкретного социально-бытового материала. Взгляд писателей разночинно-демократического лагеря 60-х годов на русскую действительность, при всей их идейной близости к революционно-демократическому руководству «Современника», имел свои особенности. Чернышевский лучше владел исторической перспективой, глубже постигал закономерности общественно-политической борьбы, но преимущество в конкретном знании жизни народа было на их стороне. Поэтому у них, и в частности у Слепцова, не было больших надежд на крестьянское восстание в скором будущем и вообще на решительную «перемену декораций». Но убежденность в необходимости той борьбы, которую вели революционеры-демократы, у Слепцова была, о чем свидетельствует созданный им роман.

Писатель с определившимся интересом к конкретной социальной стороне действительности, абсолютно чуждый романтизации и идеализации (черты, несомненно, присутствующие в «Что делать?»), Слепцов обратился к той форме реалистического романа, которая сложилась в творчестве Тургенева [26]. По своей структуре «Трудное время» ближе всего к «Отцам и детям». Роман Слепцова повторяет основную сюжетную ситуацию тургеневского романа: приезд героя-разночинца в гости к приятелю, живущему в барской усадьбе. Отношения Рязанова со Щетининым и в предыстории, и в развитии подобны отношениям Базарова с Аркадием Кирсановым. Базаров и Рязанов — вожаки, Аркадий и Щетинин — сначала восторженные ученики и последователи, а затем антагонисты. И Базаров и Рязанов с самого начала знают истинную цену своим либеральным приятелям, но они вынуждены общаться, так как вокруг слишком мало людей, не настроенных по отношению к ним откровенно враждебно. Этим их положение в корне отличается от положения «новых людей» Чернышевского, имеющих тесно сплоченный круг единомышленников.

Чернышевский, создававший роман, призванный пропагандировать новые принципы жизни и человеческих взаимоотношений, стремился как можно полнее и многостороннее обрисовать «новых людей». Все герои этого плана имеют в его романе предысторию, подробно описана их деятельность, взгляды, убеждения. Рязанов гораздо более «закрытая» фигура. Автор дает о нем намеренно скупые сведения, в духе тургеневской обрисовки Базарова. «Базаров — редкий пример тургеневского персонажа, у которого не только отсутствует предыстория, но по отношению к которому писатель совершенно не применяет интроспекцию (т. е. авторского объяснения и проверки субъективного мира) в тех случаях, когда дело касается базаровской позиции, его прошлого и будущего (но по отношению к его любовным переживаниям такая интроспекция применяется!)» [27]. Слепцов отказывается от интроспекции еще более последовательно. Сцена объяснения Рязанова со Щетининой написана с предельной объективностью, исключает малейшее вмешательство автора как комментатора происходяще-

го. Только диалог и жест да еще описание некоторых внешних проявлений чувств. Эти средства создания образа являются ведущими во всем романе Слепцова, бедном внешними событиями, но мастерское владение ими позволяет писателю создать один из самых интересных и значительных характеров в ряду «новых людей». И именно поэтому нам представляется неплодотворным искать зависимость этого оригинального характера от героев Чернышевского или Тургенева. Это тот случай, когда возможны лишь типологические сопоставления.

Так подходил к Рязанову Писарев, сказавший о нем: «...один из блестящих представителей моего возлюбленного базаровского типа» [28], имея в виду этот тип в жизни, а не его отражение в романе Тургенева, о чем достаточно ясно говорит его статья «Мыслящий пролетариат». В этой статье Базаров рассмотрен как «новый человек» наряду с Кирсановым, Лопуховым и Рахметовым. По мысли Писарева, в жизни это один и тот же тип, но только поставленный разными писателями в разные положения. «Тургенев — чужой в отношении к людям нового типа; он мог наблюдать их только издали и отмечать только те стороны, которые обнаруживают эти люди, приходя в столкновение с людьми совершенно другого закала. Базаров является один в таком кругу, который вовсе не соответствует его умственным потребностям ‹...› Если бы г. Чернышевскому пришлось изображать новых людей, поставленных в положение Базарова, то есть окруженных всяким старьем и тряпьем, то его Лопухов, Кирсанов, Рахметов стали бы держать себя почти совершенно так, как держит себя Базаров» [29].

Роман Слепцова отражает иной момент истории по сравнению с романом Чернышевского, и поведение Рязанова определяется тем, что он действует не в период подъема революционной борьбы, а во время тяжелейшей реакции. Его появление в усадьбе Щетинина вызвано, по всей вероятности, тем, что он вынужден хотя бы временно скрыться. Он растерял единомышленников. Одни из них погибли, другие, как можно понять из намеков Рязанова, оказались в заключении или ссылке.

Но Рязанов не пал духом и не отказался от своего дела. Слепцов не посвящает нас в тайны поездок своего героя по губернии, но результат его пребывания в деревне налицо: два человека (Мария Николаевна и безымянный сын дьячка) встали под его влиянием в ряды борцов в самое трудное для этого время. Рязанов, таким образом, как и Лопухов, освободил женщину из «подвала» бессмысленной жизни. Разочарованный человек, скептик, каким его изображают некоторые исследователи, не сумел бы и не захотел сделать этого.

Что касается рахметовского варианта «rendez-vous», который «прочно укоренился в произведениях о профессиональных революционерах, во многом определяя их сюжетно-композиционную структуру» [30], то его чисто литературное происхождение тоже может быть оспорено, ведь каждый революционер, ежедневно рис-

ковавший свободой и жизнью, рано или поздно вставал перед этой проблемой. И решений могло быть только два. Они и представлены в произведениях писателей-демократов о «новых людях». У Рязанова ситуация осложняется еще тем, что в случае отказа от «рахметовского варианта» он должен увезти жену друга, в доме которого он нашел убежище.

В отличие от героев «городского» романа Чернышевского, Рязанов, приезжая в деревню, окунается в самую гущу народной жизни. Он имеет возможность непосредственно наблюдать взаимоотношения крестьян и помещиков в сложный период перехода от подневольного труда к наемному. То, что он видит в помещичьей усадьбе, в окрестных деревнях, в городе на мировом съезде, его скупо, но точно выраженное отношение к происходящему в значительной степени формирует представление читателя о его характере и убеждениях. Социально-экономическое положение в деревне он определяет как «партизанскую войну» [31] крестьян против обобравших их и продолжающих обирать помещиков. Он видит насквозь лживость либеральных призывов «соединить все сословия» [32], трезво оценивает возможности борьбы в сложившихся условиях: «...тон задается жизнью, а мы только подпеваем. Пожалуй, можно и повыше его поднять, да что толку? Жизнь сейчас и осадит» [33].

Созданный Слепцовым образ убежденного революционера-демократа выглядит совершенно самостоятельным как по отношению к образам «новых людей» у Чернышевского, так и по отношению к образу Базарова, несмотря на близость «Трудного времени» к тургеневскому типу романа. Причисление произведения Слепцова к «школе» Чернышевского, как это делает М. Т. Пинаев [34], только на том основании, что Чернышевский первым изобразил передовых разночинцев с революционно-демократических позиций, было бы умалением значимости идейно-художественных достижений этого оригинального писателя.

Следов прямого влияния «Что делать?» не содержит и роман Благовещенского «Перед рассветом», также причисляемый к «школе» Чернышевского. По замыслу автора, роман должен был состоять из трех сюжетно самостоятельных повестей, рисующих три этапа жизни главного героя, выходца из духовного сословия разночинца Трепетова. Писатель поставил перед собой очень интересную задачу: проследить судьбу всего лишь одного из когорты «новых людей», но от начала и до конца. Как видим, это задача, совершенно отличная от той, которую ставил перед собой Чернышевский. Герой Благовещенского гораздо более скромный деятель не только по сравнению с Рахметовым, но и по сравнению с Лопуховым и Кирсановым. Писатель характеризует его так:

«Прежде всего я должен сказать, что наш герой — вовсе не *герой*. Он просто хороший малый, с потребностями лучшей жизни и светлым лучом в голове, который освещает ему путь жизненный и заставляет энергично добиваться и искать того, чего

ищут не все. Он один из тех многих, которые, очнувшись среди тьмы глубокой, напрягают все силы ума и энергии, чтобы не заснуть опять <...> Несмотря на очень скромную деятельность таких людей,— она не проходит без следа, и потому важно значение их в нашей жизни» [35].

В отличие от Чернышевского, давшего лишь краткие предыстории Лопухова и Кирсанова, Благовещенский посвящает детству и юности своего героя всю первую часть романа — повесть «На погосте». Многое в ней связано с традициями разночинно-демократической литературы 60-х годов, в особенности с творчеством Помяловского. Это и выбор героя, и описание его пребывания в бурсе и семинарии, и конфликт молодого человека с косной сословной средой. Предвидя возможные упреки в свой адрес, Благовещенский так объяснял причины своего обращения к этому уже не новому в литературе материалу: «„Итак, опять глушь, опять темное царство, скажут недовольные читатели, опять семинарист-герой как необходимая либеральная приправа современного романа. Надоело все это!..“ Но что же делать, читатели, если наша родная глушь более близка и знакома нам, чем элегантная жизнь других кружков нашего общественного строя, и если мы горячо надеемся, что из этой глуши впоследствии выдвинутся наши лучшие деятели!..» [36]

Для Чернышевского главным было показать особенности мировоззрения и психологии «новых людей», их отличие от «людей пошлых», составляющих пока большинство, роль «новых людей» в революционном преобразовании общества. Судя по второй повести «В столице» и по сохранившимся отрывкам третьей, ненаписанной части романа, перед Благовещенским тоже стояла подобная задача, но сложная цензурная судьба его произведения [37], а возможно, и эволюция его собственных взглядов [38] сделали его по преимуществу автором произведения о мучительном пути молодого человека в ряды борцов за лучшую жизнь.

Повесть «На погосте» и ретроспективные страницы повести «В столице» расширяли представление о становлении личности разночинца и тем самым открывали новую страницу в развитии разночинного романа. Благовещенский прослеживает историю развития своего героя с самого детства, отыскивая в условиях его воспитания предпосылки зарождения тех мыслей и чувств, которые впоследствии станут причиной его конфликта с родной средой и заставят его искать другую жизнь. Большое значение писатель придает тому, что маленький Трепетов рос на полной свободе среди дикой природы глухого погоста. Сила характера, заложенная в нем «естественным» воспитанием, помогла ему выстоять в страшные годы учения в бурсе. Маленького бунтаря не сломила неравная борьба с тупыми и злобными наставниками, а господствовавшая в бурсе и семинарии схоластика не убила пытливого ума юноши. «Мне все хочется понять,— говорит он после окончания семинарии,— к чему мы учились столько лет? Какой общий смысл вынесли мы из всего ученья?» [39] Он мечтает о науке,

которая «не стоит особняком от жизни, а указывает на самую деятельность» [40]. Ему представляется счастливый случай познакомиться с ссыльным Березиным, который вышел из Московского университета «дельным и практическим человеком» [41]. С этого времени Трепетов поставил перед собой цель поехать учиться в университет.

В научной литературе существуют разные интерпретации образа Трепетова. Б. Ф. Егоров считает, что «Благовещенский показал (точнее, намеревался показать) историю жизни рядового разночинца-„шестидесятника“» [42]. С. Б. Рассадин видит в нем революционера. «Совершенно ясно, в каком лагере находится Трепетов,— пишет он,— ясно, что его деятельность направлена на дело воспитания народа, подготовки его к будущему „рассвету“ Об этом говорят не только трепетовские фразы, но и дальнейшая его работа в крестьянских школах, связанная с революционной пропагандой, и его борьба с цензурой в периодической печати. Благовещенский указывает и более точно место Трепетова среди демократов. Трепетов принадлежит к наиболее передовой части демократии, он исповедует идеи Чернышевского и Добролюбова» [43].

Вторая точка зрения кажется нам более обоснованной. То, что Трепетов из когорты «новых людей», становится ясно при сопоставлении его с действительно рядовым разночинцем, пробивающим себе дорогу в жизни, каким выступает Молотов у Помяловского. У Трепетова другая цель. Он хочет учиться, чтобы найти ответы на мучающие его социальные вопросы, чтобы узнать, как приблизить «рассвет» для всех. Он разбужен передовым человеком 40-х годов, передающим ему эстафету борьбы. О Березине Благовещенский говорит с таким же пафосом искреннего восхищения, с каким Чернышевский говорил о Рахметове: «Почти в каждом городе в настоящее время найдутся люди хорошие, представители высших интересов молодого поколения, которые своими беседами и влиянием забрасывают в окружающее общество те великие мысли, которые служат для него зачатками будущего возрождения. В них воплотились лучшие соки народа, они «семя свято» городов наших, они предвестники будущего рассвета. С каждым новым поколением их становится больше и больше, но в начале пятидесятых годов такие люди были еще редкостью...» [44] Ср. у Чернышевского: «Мало их, но ими расцветает жизнь всех; без них она заглохла бы, прокисла бы; мало их, но они дают всем людям дышать, без них люди задохнулись бы. Велика масса честных и добрых людей, а таких людей мало; но они в ней — теин в чаю, букет в благородном вине; от них ее сила и аромат; это цвет лучших людей, это двигатели двигателей, это соль соли земли» (215).

Трепетову не надо было, как Молотову, пробивать себе дорогу в жизни. Его путь был предопределен. Его ждала сытая тихая жизнь на поповке, готовясь к которой, он пытался убаюкать себя уверениями в том, что и тут можно приносить пользу: «Можно

понемногу изучать условия местной жизни, помогать прихожанам по мере возможности: заведу школу, в проповедях моих жизненный смысл будет...» [45] Но Трепетов прекрасно понимал, что не о такой пользе говорил, напутствуя его, Березин: «Во всяком случае, где бы ни пришлось вам жить, помните, мой друг, что надо жить *не без пользы*... Вы понимаете, что я хочу сказать?» [46]

Березин учил Трепетова думать о нуждах народа. Он воспитывал его на сочинениях Белинского и французских социалистов, звал к широкой деятельности. Его поддержка оказалась решающей в последний момент, когда Трепетова уже готова была поглотить трясина провинциальной жизни.

Конечно, Трепетов не сразу становится в ряды революционной демократии. Поначалу он только испытывает томление по другой жизни. «Трепетов призадумался. Как, в самом деле, объяснить матери, чего ему хочется, когда и сам он вполне не может уяснить себе свои потребности и чувствует только, что здешняя мизерная жизнь ему вовсе не по сердцу?» [47] Выдержав труднейшую внутреннюю борьбу, Трепетов порывает со своей средой и встает в ряды разночинцев. Сильная воля и целеустремленность, тяга к образованию и полезному труду, стремление обрести единомышленников и соратников по борьбе говорят о том, что перед нами «новый человек» в процессе его становления.

Из начальных глав второй повести становится известно, с каким упорством добивался Трепетов своей цели, какую выдержал борьбу с нищетой. За те пять лет, которые прошли между действием первой и второй повести, из Трепетова выработался убежденный борец. Голодая и наблюдая своих товарищей по несчастью, он пришел к выводу, «что голодного человека не расшевелишь никакими принципами, что от нищеты замирают все потребности знания и умственного развития» [48]. Но, проверив себя, он «решил категорически, что есть черта, за которую его никакой голод не перетащит, есть убежденья до того глубокие, что их не сломишь никакими силами» [49].

Герой Благовещенского развивается вместе со временем. Действие первой повести кончается в период Крымской войны, действие второй начинается примерно в 1860 г. Подъем общественного движения накануне реформы разбудил и призвал к активной политической деятельности многих молодых людей. Рисуя горячие споры в кружке передовой студенческой молодежи, писатель вынужден прибегать к самым общим формулировкам, чтобы дать представление о революционно-демократических взглядах своего героя, ведь роман создавался в 1864 г., уже в пору реакции. Трепетов, студент-историк последнего курса Петербургского университета, отстаивает приоритет в деле борьбы за счастье человечества «экономических, политических и социальных» наук перед естественными. Это было время, когда «всем казалось и крепко верилось, что вот-вот на днях совершится дружное дело возрождения» [50], но в душу Трепетова уже закрадывались плохие предчувствия.

Роман Благовещенского остался незаконченным, но последние главы второй части и сохранившиеся наброски третьей дают представление о дальнейшем развитии судьбы Трепетова. Ему, как и Рязанову, приходится испытать на себе «трудное время», он тоже не отказывается от борьбы, но, сломленный рядом неудач легальной деятельности (школа для крестьянских детей, попытка сотрудничества в журналах), погибает.

Подход Благовещенского к изображению «нового человека» совершенно свободен от влияния романа Чернышевского. Как отмечает С. Б. Рассадин, «Благовещенский, в отличие от Чернышевского, решил показать своего героя в совершенно реальном плане, не скрывая никаких противоречий и слабостей героя» [51]. Другое дело — близость к идеям Чернышевского в истолковании героя. «Совершенно ясно, в каком лагере находится Трепетов; ясно, что его деятельность направлена на дело воспитания народа, подготовки его к будущему „рассвету“» [52]. С. Б. Рассадин и другой исследователь творчества Благовещенского, А. М. Шаныгин, справедливо отмечают влияние на писателя неоконченного романа Помяловского «Брат и сестра» [53]. По-видимому, в самое первое время после выхода «Что делать?» роман Чернышевского мог оказать непосредственное влияние только на писателей незрелых, творчески несамостоятельных, готовых к прямому подражанию выдающемуся образцу (Бажин). Те же писатели, мировоззрение и творческая манера которых сложились в предшествующие годы (Слепцов, Благовещенский), находясь под несомненным влиянием теоретических взглядов Чернышевского, вождя революционной демократии, были самостоятельны в выборе героя и художественных средств. Они шли от действительности и воплощали свое видение эпохи, а времена круто изменились, и тот оптимизм, которым пронизаны образы «новых людей» у Чернышевского, не имел почвы в период реакции и разгрома революционно-демократических сил.

Демократическая литература чутко реагировала на изменения общественно-политической обстановки в стране. Через несколько лет после «Трудного времени» и «Перед рассветом», в пору начавшегося оживления демократического движения, появляется роман, герой которого оказывается наиболее близок «новым людям» Чернышевского. Мы имеем в виду «Шаг за шагом» (1870) И. В. Омулевского (другое название романа «Светлов, его взгляды, характер и деятельность»). Два обстоятельства, на наш взгляд, определяют особую близость Светлова к «новым людям» Чернышевского. Во-первых, это открытая установка автора на создание образа положительного героя, которая, надо сказать, была вполне успешно реализована в произведении. И, во-вторых, окружающая Светлова атмосфера оптимизма. Как писал Короленко, «в Светлове, как об этом свидетельствует уже самая фамилия, воплощена вера в будущее. Он бодр, силен, светел. Все ему удается, все преклоняются перед его знаниями, характером, осо-

бенной удачливостью» [54]. От всего романа Омулевского «веяло молодой верой и какой-то особенной бодростью» [55].

Омулевский, подобно Чернышевскому и в отличие от Слепцова и Благовещенского, стремится нарисовать обаятельный образ революционера. Во внешнем облике Светлова подчеркнуты красота и изящество. У него «умное, серьезное лицо с большими темно-голубыми глазами» [56], «изящная свобода манер и всей фигуры» (326). Напомним описание внешности Лопухова и Кирсанова. У них обоих «были правильные, красивые черты лица. Одни находили, что красивее тот, другие — этот. У Лопухова, более смуглого, были темно-каштановые волосы, сверкающие карие глаза, казавшиеся почти черными, орлиный нос, толстые губы, лицо несколько овальное. У Кирсанова были русые волосы довольно темного оттенка, темно-голубые глаза, прямой греческий нос, маленький рот, лицо продолговатое, замечательной белизны. Оба они были люди довольно высокого роста, стройные, Лопухов несколько шире костью, Кирсанов несколько выше» (150). Рязанов же у Слепцова, неожиданно увидев себя в зеркале, «вздрогнул — и начал всматриваться: на черном стекле тускло выступала тощая фигура с исхудалым лицом и неподвижным взглядом» [57]. Очевидны совершенно различные авторские установки у Слепцова, с одной стороны, у Чернышевского и Омулевского — с другой.

Светлов легко завоевывает симпатии людей и сам очень благожелателен к окружающим. Рязанов же сух и грубоват в обращении, подобно Базарову или Рахметову. Он все время настороже, как загнанный в ловушку зверь. Решившей объясниться с ним Марье Николаевне он говорит: «Что вы смотрите? Вы думаете, я буду откровеннее? Нет, на меня вино производит совершенно обратное действие: я становлюсь еще недоверчивее, грубее. Да я, кажется, и в трезвом-то виде не слишком деликатно обращался с вами. А? Марья Николаевна! Так ведь? Грубо я с вами поступал?» [58] Рязанов у Слепцова трагически одинок. Светлов, подобно героям Чернышевского, окружен соратниками и единомышленниками, пусть в чем-то и несогласными друг с другом, но готовыми к совместной борьбе. Доктор Ельников, политические ссыльные Варгунин и Жилинский, дочь Жилинского Христина создают ту бодрящую и живительную среду, без которой у Светлова могли бы опуститься руки.

С точки зрения соотнесенности романа Омулевского со «Что делать?» очень важно, что Светлов показан как представитель новой передовой силы, хотя он нигде прямо не назван «новым человеком». Он один из тех людей, о которых Чернышевский писал: «Каждый из них — человек отважный, не колеблющийся, не отступающий, умеющий взяться за дело — и если возьмется, то уже крепко хватающийся за него, так что оно не выскользнет из рук...» (148—149).

Дело, за которое взялся Светлов,— революция. Она его конечная цель. Все остальное — только средства для достижения этой цели. Вернувшись после окончания Петербургского университе-

та в родной сибирский город, Светлов хлопочет об организации «бесплатной школы для мальчиков и девочек и при ней воскресных вечерних уроков для чернорабочих обоего пола» (198). История борьбы Светлова за открытие школы, ее работа, а затем закрытие составляют основной сюжет романа. Но для Светлова школа «только средство... одно из бесчисленных средств» (224). Таким же средством он считает свои педагогические занятия в одной из дворянских семей города и свое литераторство. Они отвечают его убеждению «проводить как можно больше сознания в массу»: «Сознание от двух-трех человек мало-помалу проникает в массу, а масса эта постепенно растет, и когда-нибудь да приидет же ее царствие...» (119).

Но вот школа закрыта, Светлов арестован, а затем выслан из города. И он отправляется искать новые пути революционной деятельности, нисколько не разуверившись в ее возможности. На шутливое замечание Варгунина: «Ну что, батенька? Небось теперь уж не скажете, как тогда — „шаг за шагом“» — он отвечает: «Непременно скажу и теперь то же самое; да и всегда буду говорить. <...> Вы только посудите: ведь и локомотив идет сперва тихо, будто шаг за шагом, а как разойдется — тогда уже никакая сила его не удержит» (416).

Время действия романа ограничено одним годом. О дальнейшей деятельности Светлова сообщается только, что через пять лет он оказывается в Цюрихе «по своим делам». По тому, что об этих делах нельзя написать в письме, читатель догадывается, что Светлов стал профессиональным революционером.

Роман Омулевского кончается на оптимистической ноте, несмотря на то что автор не скрывает возможности гибели Светлова «в неравной борьбе». Писатель убежден, что «замена найдется, борьба не иссякнет... <...> Светловых еще много будет впереди...» (429). Светлов сам позаботился подготовить себе смену: за ним тянется младший брат Владимирко; двоюродная сестра Анюта Орлова открывает в его родном городе школу для девочек; не хочет довольствоваться одной лишь врачебной деятельностью пробужденная им к сознательной жизни Лизавета Михайловна Прозорова.

С «новыми людьми» Чернышевского Светлова роднит и то, что он живет полнокровной жизнью, не отказывая себе в земных человеческих радостях. Он любит и любим, хотя не считает для себя возможным семейный союз. В образе Светлова Омулевский вслед за Чернышевским показал счастливого человека, чего никак нельзя сказать о героях Гирса, Слепцова и Благовещенского. И еще один очень важный момент сближает Светлова с Лопуховым и Кирсановым, о которых современный исследователь «Что делать?» пишет: «Труд и образование дают героям романа ту высокую степень личной независимости, которая позволяет им ни перед кем не склонять головы, держаться независимо и свободно» [59]. Светлов, получив университетское образование, к большому огорчению недоумевающего отца, отказывается от государст-

венной службы. Он не хочет быть чиновником и избирает путь свободного труженика-интеллигента.

Большой, но, в отличие от романа Омулевского, чисто теоретический интерес представляют образы «новых людей» в романе В. В. Берви-Флеровского «На жизнь и смерть» (1877), не ставшем, к сожалению, заметным фактом литературы из-за несовершенства формы. К тому же тираж романа, изданного в Женеве, был конфискован в России, и следующее издание появилось лишь в 1907 г. в урезанном виде. В отношении этого произведения с уверенностью можно сказать, что, создавая его, автор постоянно имел в виду роман Чернышевского. Об этом свидетельствуют прямые реминисценции из «Что делать?», полемика с некоторыми идеями Чернышевского и даже введение его в качестве эпизодического действующего лица.

По своему замыслу (это касается и содержания и формы) роман Берви-Флеровского, в том случае если бы автор более успешно справился со своей задачей, мог оказаться наиболее близким к «Что делать?». Об этом говорит авторская установка, изложенная в своеобразном введении под названием «Что это такое и для чего пишется»: «Это портрет рациональных идеалистов, по этому портрету вы их узнаете, когда вы их встретите и отличите от других людей. <...> Читателя поразит, что все это сочинение испещрено теориями, занимающими иногда много места, это не в обычае у романистов, но он не должен забывать, что здесь изображаются люди, суть жизни которых — это их мысли; не изображать их мысли, это значит отнять у них то, что в них живого, вместо живых людей представлять тех картонных героев, которыми полны наши тенденциозные романы; это будут не люди, а болваны, размалеванные то розовой, то черной краской» [60].

«На жизнь и смерть» — роман идеологический, и в центре его герои-идеологи, чья мысль напряженно ищет единственно правильный путь прогресса и чья жизнь без остатка отдана делу революционного преобразования общества. Три сюжетно самостоятельные части романа объединены лишь фигурой главного героя — Скрипицина. В первой и третьей он действует сам, во второй главным действующим лицом является его ученик Испоти. Эта часть так и называется: «Ученики».

На примере судьбы Скрипицина Берви-Флеровский показывает путь разночинца в революцию. Подобно Благовещенскому и Омулевскому и в отличие от Чернышевского и Слепцова, он пытается изобразить сам процесс формирования личности и мировоззрения будущего борца. Это самая конкретная часть романа, вообще отличающегося неотчетливостью сюжетных построений и описаний внешней обстановки действия. Трепетов у Благовещенского развивался под влиянием передового человека 40-х годов — Березина, Светлов у Омулевского — под влиянием ссыльного поляка Жилинского. Скрипицин сближается с петрашевцами, благодаря которым знакомится с социалистическим учением, представленным в трудах Фурье, Прудона, Оуэна, Луи Блана.

К началу 60-х годов он приходит в ряды революционеров, но с Чернышевским его разделяют значительные разногласия, которые ему тем больнее сознавать, что в нем «нет ни малейшего сомнения», что между революционерами «Чернышевский самый серьезный и светлый человек» (I, 110). Получив визитную карточку Чернышевского, Скрипицин, который раньше не был с ним знаком, пошел к нему. Свою беседу с Чернышевским он описал следующим образом: «Мне пришлось объясняться с ним, и нетрудно было заметить глубокое впечатление, которое произвело на него холодное и отчетливое изложение моего безотрадного взгляда на мою роль; но по тому, как стали вести себя со мною после этого близкие к нему люди, я увидал, что он хочет меня переделать — в настоящем моем виде я диссонанс в их гармонии» (I, 109—110). Сознавая безусловную необходимость руководителя («Без руководителя мы все — и умеренные и неумеренные, и революционеры и нереволюционеры — действуем, как горох, врассыпную» — I, 111), Скрипицин склоняется на сторону Герцена: «Из числа наших — Герцен скорее мог бы быть руководителем партии, но он в Лондоне; из Лондона же можно быть только звеном, а не центром» (I, 110).

Революционное движение 60-х годов представляется Скрипицину бесперспективным, а его идеалом неожиданно оказывается конституция. «Грустно мне видеть,— пишет он,— как все эти люди погибают бесплодно, и еще грустнее, если я вспомню, до какой степени теперь благоприятны условия; если бы движение имело руководителя, то оно, без всякого сомнения, завершилось бы конституциею. Посмотрите в карты, и вы увидите, что этого не нужно революции, а теперешний сумбур к революции все-таки не приведет, но и конституции не будет» (I, 111).

Скрипицин в корне не согласен с учением Чернышевского о разумном эгоизме. «Чем более он думал, тем яснее понимал, что на эгоизме нельзя построить никакой общественности, что все неизбежно выродится в господство силы и притеснение. Диалектически и искусственно толковать слово «эгоизм» в то время, когда масса будет все-таки понимать его по-своему, казалось ему верхом легкомыслия и бестактности» (I, 120). Герой Берви-Флеровского «где только мог, принимал участие в передовой деятельности, но уныние и безнадежность не оставляли его» (I, 120).

Скрипицин проходит через ссылки, этапы и тюремное заключение. Он становится известным писателем и видным революционным деятелем. У него появляются ученики и последователи. Несколько последних глав первой части романа писатель отводит подробному изложению сущности взглядов Скрипицина под видом выдержек из его рукописи. Эти главы носят названия «Суть жизни», «Свобода», «Новая человеческая раса». Писатель оправдывает введение этого трактата в ткань романа желанием показать, во имя чего действовал его герой, «что он сеял, чтобы читатель мог правильно оценить то, что из этого вырастало» (I, 145). Ос-

новные мысли трактата и форма их изложения имеют весьма отдаленное отношение к идеям революционной демократии, так же как созданная впоследствии Скрипициным новая религия, описание которой дано в третьей части романа.

Главный герой второй части — ученик Скрипицина Испоти, революционер-практик, действующий в пореформенное время. Его деятельность развивается в двух направлениях. С одной стороны, он пытается активизировать здоровые силы образованных слоев общества и направить их в полезное русло. Так, он предложил «устроить заведение для бесприютных и детей, матери которых отлучаются целый день на работы». Не получив поддержки, «он свою квартиру обратил в приют для нуждающихся» (II, 24). Личный пример Испоти породил в обществе движение в защиту принципов, которые «грубым образом резюмировались в четырех словах: благотворительность, целомудрие, экономия и домовитость» (II, 42). Причем основными участниками движения были женщины. Испоти, умело используя легальные средства, развернул борьбу против хищников, поднявшихся на гребне реформ. Одновременно он широко оказывал бескорыстную юридическую помощь: давал советы, писал бумаги, разъяснял законы. Постепенно Испоти приобрел огромный авторитет среди бедного люда. «В обществе Испоти никак не мог быть центром движения, он мог быть только поводом к нему, да и поводом он сделался только потому, что он неожиданно дал пригоднейший для воспламенения материал. Совершенно другое было среди крестьянства и рабочего люда — тут он был и средоточием, и душой, и мыслию движения» (II, 96—97).

Берви-Флеровский изображает подъем крестьянского и рабочего движения как естественный объективный процесс пробуждения народных масс. «Чувство своего унижения, чувство своего грязного тела — вот что у них наболело, вот что они жаждали сбросить» (II, 100). Испоти только внес в это стихийное движение сознание. «Не Испоти вел крестьян и рабочих, а они вели его. Он говорил им только то, о чем они его спрашивали или о чем бы они его непременно спросили, если бы они знали, что тут скрывается что-нибудь для них полезное. По свободному выбору они сами пролагали себе путь с его помощью» (II, 99).

Картина крестьянского и рабочего движения, нарисованная Берви-Флеровским, выглядит поначалу совершенной утопией. Так, например, железнодорожные рабочие не только несколько раз подряд выигрывают дело против начальника станции у мирового судьи, но и резко изменяются сами. «Нежданно они сделали открытие, что они могут иметь точно такие же чувства, как и те, которые над ними, что они могут обращаться друг с другом тоже деликатно, как образованные люди, не бить своих жен, не сечь детей, не ругать их неприличными словами, и что дело при этом идет все-таки на лад. Все это сделалось так легко, что им удавалось только удивляться тому, почему они не догадались гораздо ранее, почему они прежде считали это немыслимым» (II, 105—106).

Однако суровый реалистический финал ставит все на свои места. Оказывается, что так выглядела картина вызванного Испоти движения в умах и толках общества. Сам же он «видел ее с этой точки зрения только урывками и почти не замечал. По своему положению, он следил за ним только с фактической стороны, а здесь одно было безутешнее другого; здесь он видел одни только неудачи, и неудачи тем более полные, чем более было внешнего шуму и движения» (II, 141). Клиенты Испоти погибали, «несмотря на всю правоту их дел», они разорялись «сильными руками, несмотря на то, что их дела вызывали в обществе бурю и обильные потоки симпатий» (II, 149). Глядя на результаты своей деятельности, Испоти с горечью сознает, что он был бессовестно использован в борьбе двух дворянских группировок друг с другом. «...Он не сделал своего дела, он сделал что-то постороннее, чего он вовсе не хотел сделать, и ради этого он был теперь разбитый и погибший человек. Его судьба была решена, и безвозвратно, он был в чахотке» (II, 151).

Таков грустный итог первого этапа революционной деятельности Испоти. Второй этап начинается в Петербурге, куда Испоти возвращается из провинции и где он вместе с другими «новыми людьми» организует ячейку-коммуну, возлагая на нее новые надежды. Ячейка «разрасталась, размножалась и разделялась на новые ячейки» (II, 156). На первых порах деятельность членов ячейки заключалась в том, что они «спасали различную молодежь, преимущественно женщин, от положений, в которых они не могли удовлетворить своей страсти к развитию» (II, 158). Затем они увлеклись распространением книг среди низших слоев населения и даже сами взялись за издание книг, которые считали наиболее полезными. Подобно Чернышевскому, Берви-Флеровский в этой части романа ставит во главу угла развитие. «...Нужно увеличивать число размножающих идеи,— пишет он.— Нужно создавать как можно более образованных людей, которые бы исключительно этому посвящали свою жизнь» (II, 178).

Чернышевский в главе «Беседа с проницательным читателем и изгнание его» призывал всех людей встать вровень с его героями и единственным условием этого ставил духовное развитие: «Поднимайтесь из вашей трущобы, друзья мои, поднимайтесь, это не так трудно, выходите на вольный белый свет, славно жить на нем, и путь легок и заманчив, попробуйте: развитие, развитие. Наблюдайте, думайте, читайте тех, которые говорят вам о чистом наслаждении жизнью, о том, что человеку можно быть добрым и счастливым» (233).

Новый этап деятельности ячеек начался, когда в них стали вливаться рабочие. «В ячейки их привлекала глубокая потребность жить передовой жизнью» (II, 222). «Новые люди», и среди них Испоти, помогали им во всем. Испоти был окрылен открывшейся перед ним «новой дорогой, дорогой, полной надежды, но вдруг поперек ее стало такое происшествие, которое прекратило ему возможность дороги навсегда и оставило ему один путь к

тесной могиле» (II, 225). Испоти берет на себя вину молодого рабочего, отпечатавшего и распространившего прокламацию, и умирает от чахотки в тюрьме.

В третьей части романа, носящей название «Новая религия», Скрипицин, находясь в тюрьме, обдумывает возможность сделать «неизбежный процесс развития наименее болезненным и тягостным для всех сторон» (III, 6). В нем «горел энтузиазм пророка», он верил, что «должен водворить царство истины». Поскольку «новая наука сделала существование всех прежних религий невозможным» (III, 38), нужно создать новую религию, которая гармонировала бы с наукой. В такой религии он видит «единственный способ для обеспечения народу наиболее легкого пути к социальному прогрессу» (III, 45). Проповедуя повсюду новую религию, Скрипицин обретает последователей, одним из которых является Крапивин. Из всех образов «новых людей» в романе Берви-Флеровского, не отличающихся зримой конкретностью и жизненной полнотой, Крапивин — наиболее бледная фигура. Он, как и Испоти, практик, проводящий в жизнь идеи Скрипицина и объясняющий рабочим суть новой религии. «Социалисты,— выразился он,— мели лестницу начиная с нижней ступени, поэтому к ним все сверху сор валился, а новая эта религия вздумала мести сверху. Может быть, и лучше будет» (III, 63).

Несмотря на стремление Берви-Флеровского расширить рамки деятельности революционера-разночинца, показав его проникновение в среду рабочих и крестьян, образы «новых людей» в его романе не стали новым словом по сравнению со «Что делать?». Берви-Флеровский не сумел создать живые, полнокровные типы людей, поместить их в конкретную социальную обстановку с соответствующими жизненными реалиями, приметами быта, местным и историческим колоритом. Тот рационализм в построении образов «новых людей», который присутствовал в романе Чернышевского, Берви-Флеровский довел до грани, разрушающей художественный образ, делающей его иллюстрацией к теоретическим построениям автора.

Следующим важным этапом в развитии темы «нового человека» является роман С. М. Степняка-Кравчинского «Андрей Кожухов» (1889), впервые опубликованный, как и «На жизнь и смерть» Берви-Флеровского, за границей, но роман этот лежит за пределами хронологических рамок нашей работы.

* * *

Говоря о «новых людях» в романе Чернышевского и произведениях писателей-демократов, мы намеренно не касались женских образов, так как женская тема заслуживает самостоятельного разговора. Возникнув в русской литературе в 40-е годы XIX в. («Полинька Сакс» Дружинина, «Боярщина» и «Виновата ли она?» Писемского, «Кто виноват?» Герцена и т. д.), тема эмансипации женщины в конце 50-х — начале 60-х годов в связи с

ростом освободительного движения в стране приобрела революционный характер. В 60-е годы раскрепощение женщины (пока только женщины из образованных слоев общества) достигло первых реальных успехов. Его самым замечательным следствием был приход женщин в ряды «новых людей», что и нашло отражение в центральной теме романа «Что делать?», основой сюжета которого как раз и является история освобождения девушки из мелкочиновничьей среды «новым человеком», ее духовный рост в среде «новых людей», приобщение к общественной деятельности и, наконец, работа наравне с мужчинами, дающая и экономическую самостоятельность, и духовную независимость.

Женская тема, кроме того, была тесно связана с вопросом о праве революционера на личное счастье. Рахметовское решение этого вопроса подвергалось различным трактовкам в произведениях писателей-демократов, но вне поля их зрения не остался и вариант, представленный тремя счастливыми супружескими парами (Кирсановы, Мерцаловы, Бьюмонты). Судьба дамы в трауре говорила о возможности трагического исхода любви революционера.

Типичной сюжетной ситуацией в произведениях о «новых людях» является освобождение девушки или женщины «новым человеком» из «подвала» бессмысленной жизни, не согретой никаким общественным интересом. Героиня романа Слепцова «Трудное время» Марья Николаевна переживает такое освобождение дважды. В юности, пришедшейся на годы революционного подъема, она увлеклась речами Щетинина, который говорил ей: «Мы будем вместе работать, мы будем делать великое дело, которое, может быть, погубит нас, и не только нас, но и всех наших; но я не боюсь этого. Если вы чувствуете в себе силы, пойдемте вместе» [61] Марья Николаевна еще не очень хорошо понимала, о чем говорил ей Щетинин, но она верила, что у нее будет настоящее дело, и готова была пойти куда угодно. Она бросила мать, которая «чуть не умерла с горя» (49), вышла замуж за Щетинина, уехала с ним в деревню и в течение трех лет все ждала этого настоящего дела. Она занималась хозяйством, пыталась лечить крестьян, хотела завести школу, но в душе чувствовала, что это все не то. Она видела, как муж, при всех его либеральных разговорах, превращался в обыкновенного помещика, который «ругается с мужиками из-за каждой копейки» (50).

Настоящее прозрение у Марьи Николаевны начинается с приездом Рязанова, который ловил Щетинина на каждом слове, на каждом шагу показывал ему, что он говорит одно, а делает другое. Рязанов, наверное, лучше всех понимал, что щетининых не переделаешь, что, прикрываясь либеральными фразами, они всегда будут блюсти свою пользу. Но в Марье Николаевне он увидел человека, искренне заинтересованного в работе на благо народа, но не знающего, как взяться за дело. Рязанов осторожен,

он не ставит перед собой цель увлечь Марью Николаевну на ту опасную дорогу, по которой идет он сам. Но его верность избранному пути, последовательность убеждений, суровая прямота взглядов неотразимо действуют на человека, «который потерял возможность жить так, как все живут» (148), которому «все мешает: стены, потолок, все», который хочет «идти куда-то дальше» (120) и видит перед собой того, кто знает верный путь. Главным видимым результатом трехмесячного пребывания Рязанова в деревне становится именно то, что он вербует в ряды «новых людей» двух человек — сына дьячка, которого он увозит с собой куда-то на юг, и Марью Николаевну, отправляющуюся в Петербург с его рекомендациями.

Особенностью в решении рассматриваемой сюжетной ситуации у писателей-демократов было то, что они не преувеличивали роль мужчины, «нового человека», в духовном прозрении женщины, которую они выводили из «подвала», понимая, что не каждую женщину мог разбудить и повести за собой «новый человек», а только ту, которая была готова к пробуждению и томилась в привычной для других обстановке. Это были женщины, возвышавшиеся над общим уровнем, хотя Чернышевский, преследуя свои особые пропагандистские цели и желая приблизить светлое будущее, и стремился уверить своих читательниц, что Верочка Розальская — совершенно обыкновенная девушка и что любая из них при желании может стать такой же. Объясняя Щетинину причину ухода жены, Рязанов говорит: «Тут сила, брат, не во мне. Не со мной, так с другим, так с бабой с какой-нибудь поговорила бы по душе, все то же бы вышло. Не теперь, так через год, а уехала бы все равно. <...> Основание тут, брат, жизнь. Жить хочет женщина; а мы с тобой так только, в качестве благородных свидетелей, участвуем в этом деле. И роли-то наши самые пустые: ты ей нужен был для того, чтобы освободиться от матери, я ее от тебя освободил, а от меня уж она сама освободилась; теперь ей никто не нужен,—сама себе госпожа» (156—157).

Интересно, что Слепцов в построении сюжета тщательно избегает мотивировок, связанных с любовным треугольником. Между Марьей Николаевной и Рязановым возникает чувство, но не в нем причина ее прозрения и не оно движет Рязановым, когда он разоблачает демагогию своего либерального приятеля. Рязанов держит себя в страшной узде. Он как будто боится опошлить то серьезное общее дело, которому служит он и которому решает отдаться Марья Николаевна, привнесением личного корыстного интереса.

У Чернышевского был совершенно иной подход. Сознательно основывая сюжет на любовном треугольнике, он выдвигал на первый план вопрос о счастье. Он утверждал право «нового человека» на счастье, обосновывая его, в частности, и теорией разумного эгоизма. Поведение Рязанова безупречно с точки зрения традиционной морали. «Разумные эгоисты», возможно, на-

шли бы в нем изъяны, но ведь в «Трудном времени» только две стороны треугольника образовывали «новые люди». Это вносило существенную поправку в ситуацию. Однако конец «Трудного времени» представляется открытым. И хотя Рязанов и Марья Николаевна едут в разные стороны, их теперь объединяет общее дело, что не исключает встречи впереди.

Ситуация, изображенная в «Трудном времени», с теми или иными вариациями повторяется в романе Омулевского «Шаг за шагом» в сюжетной линии Светлов—Прозорова. Мать семейства, дворянка, обеспеченная женщина под влиянием книг начинает задумываться о бесцельности своего существования. Ее смутные стремления под воздействием разговоров со Светловым, домашним учителем ее детей, постепенно оформляются в совершенно определенное желание общественно полезной деятельности. Она порывает с мужем и уезжает сначала, как и Марья Николаевна, в Петербург, а затем в Цюрих учиться на врача. Здесь «Шаг за шагом» прямо перекликается со «Что делать?»: Вера Павловна, не удовлетворившись работой в швейных мастерских, избирает профессию врача.

Как и Слепцов, Омулевский показывает нелегий путь женщины из привилегированного сословия в стан «новых людей». Прозоровой связанные с этим переживания едва ли не стоили жизни: она заболевает нервной горячкой, не в силах сразу найти способ перестроить свою жизнь и жизнь своих троих детей в соответствии с открывшимся ей идеалом. Сначала она мечтает только о том, чтобы ни от кого не зависеть, есть свой трудовой хлеб. Но ее тут же начинает мучить вопрос: а что же дальше? Она не верит, что для женщины доступна более широкая деятельность. Однако Светлов убеждает ее, что женщина может сделать «то же, что и всякий мужчина», а на ее вопрос, «что же он может сделать», отвечает: «Каждый мужчина, Лизавета Михайловна, может сделать то же, что сделал Христос: может страдать и умереть, как он, отстаивая на практике великие христианские истины...» (222).

У Светлова Прозорова учится идти все дальше и дальше. Испытав «неутолимую жажду света, простора, кипучей деятельности» (230) и смело встав на этот путь, она «в своей новой жизни нашла гораздо больше, чем ожидала, чем мечтала даже», она «нашла в ней разрешение всех мучивших ее сомнений» (424—425). Как для Светлова и школа для рабочих и их детей, и литераторство, и другие виды легальной деятельности были лишь средством для достижения цели, о которой он лишь шепотом мог сказать Лизавете Михайловне, так и для нее докторство не предел желаний. Она тоже встала в ряды революционеров. «Хорошо понимая теперь, что все дороги ведут в Рим, я не считаю, однако ж, Римом мое близкое докторство: оно скорее — сила, которая будет и меня подвигать понемногу к вечному городу» (425).

Помимо традиционной для романа о «новых людях» сюжетной ситуации спасения женщины «новым человеком», в романе Омулевского представлена и обратная ситуация: Светлова-гимназиста вовлекает в круг передовых революционных идей дочь ссыльного декабриста Христина Жилинская.

В отличие от Прозоровой, Жилинская предстает в романе эмансипированной девушкой. «Она вела себя чрезвычайно эксцентрично и пользовалась в городе весьма незавидной репутацией, не удостаиваемая быть принятой ни в один так называемый „порядочный дом“» (189). Светлову, за развитие которого взялась Жилинская, пришлось проявить большое мужество, чтобы противостоять недовольству родителей. В отличие от Прозоровой, Жилинская никогда не была ведомой в паре со Светловым. Она поддержала его стремление ехать учиться в Петербургский университет, хотя ей тяжело было с ним расставаться на много лет, а может быть, и навсегда. Ее не надо было вовлекать в общественно полезную деятельность. В те десять лет, когда отсутствовал Светлов, она не сидела сложа руки, дважды пыталась завести школу, четыре года обучалась медицине у ссыльного врача и организовала лазарет.

И в любви она ведущая, а не ведомая. Хотя Светлов, подобно Рахметову, заявляет: «Я никогда не женюсь» (272), это не удерживает ее от решительного шага, и в заключительной главе читатель знакомится с «прелестным пятилетним мальчиком, русые кудри которого сильно напоминают цвет волос Светлова, а черные бархатные глаза ребенка только с большим трудом можно отличить от глаз самой Жилинской» (424). Этот мальчик, растущий в семье революционеров,— будущая смена Светлова.

«Нераскаянной грешнице» Жилинской принадлежат в романе и гордые слова о том, что «свободный человек всегда должен быть свободен, не завися в своем внутреннем мире ни от людей, ни от обстоятельств» (381).

Вопрос о праве революционера на личное счастье, о судьбе женщины, разделяющей его взгляды и готовой идти с ним рука об руку, одним из первых поставил М. Михайлов в неоконченном романе «Вместе», точная дата написания которого неизвестна [62]. Само название романа говорит о том, как решал Михайлов этот вопрос. Своеобразным рефреном четырех опубликованных глав романа являются слова английского романса о рыбаках, услышанного героями на благотворительном концерте в небольшом французском курортном городке. В романсе говорилось о полном опасностей труде рыбаков и о том, что, может быть, море в следующий раз принесет их женам только трупы. И все-таки рыбаки снова и снова отправляются на свой опасный промысел: «Мужчинам работать, а женщинам плакать».

Эти слова находят особый отклик в душе одной из героинь романа Варвары Николаевны, незадолго до этого потерявшей своего возлюбленного, по-видимому революционера, погибшего в заключении.

Варвара Николаевна обеспокоена судьбой своей младшей сестры Наташи, которая любит революционера Борисова. «Вот и вы такой же рыбак»,— говорит она Борисову. «Верно, и вам несдобровать. То море, в которое вам плыть, страшнее этого, грознее. „А женщинам плакать“» [63]. Но Наташа решительно не согласна с таким взглядом: «И у рыбаков бывает так не всегда; а тут будто про всех, будто общее правило. „Мужчинам работать, а женщинам плакать“. Мне кажется, и работать им вместе, а если уж нельзя иначе, так и гибнуть вместе. Тогда и плакать будет некому» (6).

Преимущества совместной работы любящих мужчины и женщины Михайлов видит не только в этом. Поженившись, Наташа и Борисов стали «будто один человек». «...Два существа их, сливаясь в одно, становились будто вдвое сильнее, чище, прекраснее, добрее, богаче мыслью и чувством каждое» (17). Счастье взаимной любви не отделяло их от людей, не заставляло уходить в узкий мир семьи.

Действие первых глав романа происходит до реформы 1861 г. Предчувствуя скорое приближение решительной схватки революционеров с силами реакции, Борисов не может не испытывать тревоги за спокойствие и счастье Наташи: «Нам ничто не грозит теперь. Но гроза может прийти неожиданно. Мы не способны заключиться в четырех стенах с своим счастьем, не можем забыть обо всем, не станем прятаться в задние ряды, чтобы только нас не коснулся неприятельский огонь. А будь это не так, тогда и счастья нашего не было бы и мы не были бы вместе» (31—32).

Таким образом, вывод Михайлова был однозначен: любовь — не помеха революционной деятельности. Любящие становятся сильнее и прозорливее. В любви Наташи и Борисова, «как в живительном источнике черпала силу их мысль. Она глубже проникала в явления жизни, вернее оценяла их, быстрее понимала их затаенный и загадочный смысл. <...> В их любви зрела в них и сила деятельности, сила дела» (26).

Если героям Михайлова такие убеждения были присущи органически, то герои Берви-Флеровского приходили к ним путем мучительных сомнений и трагических заблуждений. Гибелью замечательной девушки заканчивается первая любовь Павлуши Скрипицина, который считает, что для него еще не пришло время связывать себя узами брака. Он, правда, сокрушается, что встретил такую девушку «в такую неудобную пору», и боится, «что когда время будет благоприятное, тогда он будет натыкаться на одних уродов» (I, 71), но все-таки бестрепетно оставляет Геброву, опасаясь, что она отстанет от него в развитии, пока он будет в Петербурге.

Геброва — замечательное явление русской провинциальной действительности предреформенной поры. Восемнадцатилетняя девушка испытывает жгучую потребность в новых социальных и нравственных основаниях жизни. Она только понаслышке знает о существовании какого-то нового направления, порицаемо-

го провинциальным обществом, и встает на его защиту. «Ей в особенности хотелось знать, в чем должно было заключаться новое направление для женщин» (I, 49).

Самостоятельно выработанные взгляды Гебровой на положение женщины очень напоминают те, которые высказала Лопухову Вера Павловна. «Она имела пункты, о которых она упорно думала и которые она непременно хотела осветить. На первом плане стояли условия, которыми женщины могли бы ограждать себя от презрения и пренебрежения в замужестве» (I, 61). Она осуждает женщин, которым «бы только замуж выйти, а потом пусть их кормят из милости, пусть на них смотрят как на старую охотничью собаку, которая отслужила свой век и которую не хотят выбросить на улицу» (I, 52).

Будучи вполне обеспеченной в материальном отношении, она все-таки стала давать уроки музыки и французского языка. «Ей хотелось занятия, и еще более ей хотелось иметь собственные деньги, которыми она могла бы располагать для добрых дел и для других потребностей и желаний ее сердца» (I, 53). Как и Вера Павловна, Геброва выступает поборницей полного равенства мужчины и женщины в любви и браке. Она говорит: «Мне не может понравиться ни такой человек, который будет командовать над мною, ни такой, над которым я буду командовать» (I, 55).

Эти ее взгляды и стремления поддержал и развивал Павлуша Скрипицин, изложив теорию супружеских отношений как будто прямо по Чернышевскому: «...так как каждый из супругов должен думать только о счастии другого, то ревность при истинной любви немыслима; если счастье любимой женщины увеличится от любви другого человека, я должен употребить все усилия, чтобы эта любовь состоялась. <...> Развиться до такой степени не только возможно, но даже вовсе немудрено; в настоящее время все порядочные люди так думают» (I, 64). Скрипицин утверждал, что «это не мечта, это не идеал, люди с такими чувствами действительно существуют» (I, 65). Правда, под этой тирадой мог бы, пожалуй, подписаться и дружининский Сакс.

Покинутая Павлушей, Геброва умирает, по уверению автора, не только от печали, но и от «сильного умственного напряжения, напряжения чувства, стремящегося создать в себе всемирную симпатию» (I, 76).

Геброва была «новой женщиной» 40-х годов. «Новую женщину» конца 50-х — начала 60-х годов, эпохи подъема революционного движения, Берви-Флеровский изобразил в лице Анюты, жены Скрипицина. Эта женщина-ребенок обладает сильным независимым характером, действует смело и сама решает свою судьбу. «Она сама выбрала и взяла себе мужа, какого ей надо; она не позволила себе навязать его ни путем родительских увещаний, ни путем ухаживанья; <...> свободно и бойко она почуяла своего человека и решительно без всяких посредников сделала свое дело...» (I, 127).

Анюта — чрезвычайно интересный образ с точки зрения понимания писателями-демократами идеального женского характера. Она абсолютно естественна в проявлении своих чувств и не допускает ни малейшего насилия над своей природой. Полюбив Скрипицина еще девочкой и в шестнадцать лет дав согласие выйти за него замуж, она вдруг откладывает свадьбу. Однако, узнав через некоторое время, что Скрипицин арестован, она добивается того, что ему разрешают венчаться под арестом. По желанию Анюты ее брак со Скрипициным, как и брак Лопухова с Верой Павловной, остается на время фиктивным.

Берви-Флеровский проводит прямую параллель между своими героями и героями романа Чернышевского: «Нигилисты, которые видели в ней столько молодости и подвижности, а в нем столько серьезности, сравнивали его с Лопуховым и уверяли ее, что их брак не может быть продолжителен, что она непременно найдет себе Кирсанова» (I, 126). Кризис в любви Анюты к Скрипицину действительно наступил, но причины его были совершенно иные. Пройдя с мужем ссылку в Сибирь, этап, заключение в тюрьме, она едва не разлюбила его, когда он написал неудачную книгу. Она так хотела сделать из него «публичного деятеля и писателя» (I, 136), что не могла перенести разочарования. Чувствуя «великую важность» идей, Анюта добивается в конце концов своего. Уничтожив первую, неудачную рукопись мужа, она своим горячим заинтересованным отношением побуждает его вновь взяться за работу и путем мучительных усилий создать наконец вещь, достойную его мысли.

Совместная жизнь Анюты и Скрипицина предстает в романе в качестве идеального варианта участия супругов в общем революционном деле. Анюта без колебаний и с завидным спокойствием следует везде за мужем, но она, как и Вера Павловна, не растворяется в жизни мужа, ей необходимо и свое дело. Она легко и естественно объединяет вокруг себя людей, очищает и возвышает души отчаявшихся ссыльных. Любовь — главное оружие Анюты. С помощью любви она «соединяла несоединимое» (I, 129), примиряла враждующих, обезоруживала врагов. Любовь помогла ей добиться больших успехов на педагогическом поприще. Уроками она зарабатывала так много, что могла содержать семью без помощи мужа, который как раз оказался без работы. И Скрипицин был этим доволен. «Он рассуждал, что при том положении, в котором находится у нас женщина, это была очень благоприятная случайность. Исключительная зависимость семейства от заработков жены укрепляла между ними чувство равенства. Он желал продолжения этого состояния для того, чтобы они радикальнее могли излечиться от тех ненормальных чувств и отношений, которые рождаются невольно, если семейство кормится через одного отца» (I, 135). Таким образом, в разработке принципов равенства мужчины и женщины в семье Берви-Флеровский пошел даже дальше Чернышевского.

Хотя в первой части романа проблема любви и брака революционера, возможность сотрудничества мужа и жены в революционной борьбе была успешно решена, во второй части она встает с еще большей остротой в связи с образом революционерки 70-х годов Анны Семеновны. Новые формы революционной борьбы, организация коммун-ячеек, в которых мужчины и женщины объединялись для совместной борьбы, делали привлекательным аскетический идеал поведения. Анна Семеновна была воплощением этого идеала. Целиком отдавшись делу революции, она проповедовала идеи аскетизма и безбрачия. С ней оказался солидарен Испоти.

Теория аскетизма и безбрачия поначалу вызывает резкое неприятие у третьего влиятельного члена ячейки — Павлова. Когда Испоти целиком перешел на сторону Анны Семеновны, Павлов «язвительными сарказмами метал в этот союз, он находил, что они дышат на ладан, что при их физической слабости немудрено не иметь человеческих потребностей, что полумертвое хочет навязать свою мораль живому» (II, 166). Однако, будучи в первую очередь человеком дела и видя, какую пользу приносит движению идея аскетизма и безбрачия, ставшая очень популярной среди молодежи, он не только примиряется с ней, но и решает извлечь из нее максимальную пользу для дела революции. По его собственному выражению, он «не только сделался бы монахом, но, не задумываясь, обратился бы в шамана, если бы это способно было подвинуть людей на ту деятельность, перед которой они без этого робко отступали» (II, 167).

Но жизнь, как показывает Берви-Флеровский, оказалась сложнее и богаче. Анна Семеновна и Испоти полюбили друг друга, и теория безбрачия стала для них источником тяжелых мучений. Внутренняя борьба Анны Семеновны и Испоти усиливается, когда по решению ячейки они вступают в фиктивный брак, чтобы спасти Анну Семеновну от насильственного возвращения к отцу. Хотя оба они страстно желают, чтобы их брак стал действительным, проходит три года, прежде чем они решаются признать свое право на простое человеческое счастье.

Только убедившись в том, что идея безбрачия потеряла всякое влияние на общество и стала «бессильна двинуть кого бы то ни было» (II, 213), Анна Семеновна дает волю своим чувствам. Однако женщина такого закала не могла долго удовлетворяться семейным счастьем. Вскоре оно стало тяготить ее. «Каждый день она из чего-нибудь заключала, что любовь препятствует ей служить идее» (II, 218). То, что она сделала, казалось ей чуть ли не преступлением, и она извиняла себя только тем, что ей удалось поставить на ноги больного Испоти. Они вновь возвращаются к революционной деятельности, на этот раз широко вовлекая в ячейки рабочих, и гибнут оба в тюрьме: Испоти от чахотки, а Анна Семеновна, потерявшая мужа и ребенка,— от горя.

Поскольку отдельные части романа Берви-Флеровского сюжетно друг с другом не связаны, возможно лишь чисто умозрительное сопоставление изображенных в нем женских характеров и судеб. Восхищение Анютой Скрипициной не влечет за собой осуждение заблуждений Анны Семеновны, об участи которой автор искренно скорбит. С точки зрения исторической правды в характере Анны Семеновны, пожалуй, были воплощены более типичные черты женщины-революционерки, чем в несколько идеализированном, эксцентрическом характере Анюты. И трагический финал Анны Семеновны больше соответствовал реальной практике революционной борьбы.

До сих пор мы рассматривали произведения, в которых, как и в романе Чернышевского, судьба женщины во многом, если не во всем, зависела от принимавшего в ней участие мужчины, «нового человека». Известное исключение составляли лишь образы Жилинской («Шаг за шагом») и Анны Семеновны («На жизнь и смерть»). Роман Марко Вовчок «Живая душа» (1868) написан о девушке, самостоятельно избирающей путь к свободе и без чьей-либо помощи осуществляющей свой смелый и рискованный замысел. Маша, подобно Вере Павловне, испытывает на себе гнет семьи, но это не грубый гнет Марьи Алексеевны Розальской, а утонченный, внешне доброжелательный деспотизм богатой родственницы, у которой она воспитывается после смерти родителей. Надежда Сергеевна старательно играет роль развитой, передовой женщины, окружает себя самыми интересными в городе людьми, устраивает литературные вечера с «красноречивыми разговорами, увлекательными проповедями» [64]. Маша, «живая душа», не терпящая никакой фальши и остро подмечающая расхождения между словом и делом, очень скоро осознает настоящую цену окружающего ее «передового общества»

Марко Вовчок наделила свою героиню жаждой жизни, деятельности и живой любовью к людям. Ее не может удовлетворить тихое счастье. Отказывая богатому жениху, мягкому, доброму, но абсолютно бездеятельному человеку, Маша говорит: «Я хочу другой жизни, совсем другой — жизни настоящей, не на словах, не то, чтобы трогало только и волновало, не то, чтобы только голова болела от мыслей, а чтобы тело все ныло, как у настоящего работника, от настоящего труда... чтобы не сидеть калекою при дороге... не лежать камнем...» (102).

Деспотизм Надежды Сергеевны не так груб и откровенен, как деспотизм Марьи Алексеевны, задумавшей выдать Верочку замуж за Сторешникова, но и ей чрезвычайно обидно упускать самого завидного в городе жениха. Чтобы не подвергаться унизительному давлению и упрекам, Маша покидает дом Надежды Сергеевны. Сопоставляя ее уход с уходом Веры Павловны, Марьи Николаевны («Трудное время»), Прозоровой («Шаг за шагом»), нельзя не признать, что это был самый смелый и отчаянный шаг. Вера Павловна уходит не одна, она имеет надежную опору в лице Лопухова и попадает в дружественную среду «новых лю-

дей». Марья Николаевна и Прозорова материально настолько обеспечены, что им не грозит ежедневная борьба за существование, на которую обрекает себя Маша. Она не рассчитывает ни на чью помощь и принимает участие лишь человека из народа — няни Ненилы Самсоновны. Искренно сочувствуя Маше, няня боится, что у нее не хватит сил бороться с нуждой и она погибнет, на что Маша отвечает: «Чем жить да век плакать, лучше спеть да умереть!» (151).

И все-таки, не имея практической помощи «нового человека», Маша черпает решимость в самом факте существования такого человека. Познакомившись с Загайным, она увидала, что люди, о которых она мечтала, существуют на самом деле. Он «не хныкал, не ныл, не показывал ран, полученных на житейских битвах», «он не сулил, что́ будет, а спрашивал, что́ есть, и показывал, чего нет; ему нечего было сбираться — он был уже в дороге» (127). На этот же путь решает вступить и Маша.

О деятельности Загайного в романе сказано немного и больше намеками. Известно, что он не сложил оружия в тяжелую пору реакции: «Этот человек шел на видимое, неизбежное поражение... и все-таки шел!» (298). Он пытался организовать школы, артели, но, судя по всему, участвовал и в нелегальных формах борьбы. С таким человеком связывает свою судьбу Маша, прошедшая испытание многомесячным одиночеством, унижением, борьбой за кусок хлеба. Как и героиня романа Михайлова «Вместе», Маша сознает всю опасность избранного пути, но знает, что это ее путь.

Несправедливым представляется утверждение Б. Ф. Егорова о том, что героиня Марко Вовчок «лишь к концу произведения показана готовой к будущей деятельности» [65]. С одной стороны, ведь и Вера Павловна из «подвала» ступила не прямо в революционную деятельность, а с другой стороны, Марко Вовчок ставила себе целью показать формирование «новой женщины», ее мужественную борьбу за право самой избирать себе жизненную дорогу и спутника жизни. Писательница проводит свою героиню через очень серьезные испытания. И главное среди них —необходимость самостоятельно добывать средства к существованию. Для Веры Павловны экономическая независимость в браке с Лопуховым, а потом с Кирсановым — вопрос принципа. «...У кого деньги, у того власть и право, говорят ваши книги; значит, пока женщина живет на счет мужчины, она в зависимости от него» (93),— говорит она Лопухову. Для Маши наличие работы — вопрос жизни или смерти.

* * *

В заключение, снова возвращаясь к вопросу о «школе» Чернышевского, можно сказать следующее. Идеи, образы и ситуации произведений писателей-демократов 60—70-х годов имели много общего с романом Чернышевского. Однако лишь в отдельных случаях это можно объяснить непосредственным влиянием «Что

делать?». Логика развития разночинного романа о «новых людях» определялась в значительно большей степени жизнью, чем литературой. Спады и подъемы революционного движения в стране обусловливали преобладание то пессимистической, то оптимистической тональности в произведениях, главными героями которых были революционеры.

Что же касается художественной формы, то стилевого единства в произведениях этой группы писателей не было. Образцами для них служили самые разнообразные жанровые разновидности романа, но менее всего тот тип, который представлен в «Что делать?». Так, роман Михайлова «Вместе» — романтическое произведение. «Старая и юная Россия» Гирса задуман и начат как широкое эпическое полотно. К тургеневско-гончаровскому типу романа тяготеют «Трудное время» Слепцова, «Шаг за шагом» Омулевского и «Живая душа» Марко Вовчок. Для романа Благовещенского «Перед рассветом» образцом послужил незаконченный роман Помяловского «Брат и сестра».

Исключение составляет «На жизнь и смерть», автор которого сделал попытку продолжить традицию интеллектуально-просветительного романа Чернышевского. Исследователь романа М. Д. Зиновьева пишет по этому поводу: «Отмечая несовершенство художественной формы романа „На жизнь и смерть“ (иллюстративность, недостаточность экспрессии, слабость изображения подробностей действий и отношений героев, их речевой характеристики), необходимо подчеркнуть плодотворное направление стилевых поисков В. В. Берви-Флеровского. Оно совпало в основном с теми принципами типизации характеров „героических интеллектуалов“, которые разрабатывали А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, Н. Щедрин. Эта стилевая тенденция выражалась в интенсивной насыщенности произведений внутренними монологами, анализирующими разлад героя с миром; в обилии диалогов, сопоставляющих или противопоставляющих различные воззрения на жизнь; в многочисленных публицистических отступлениях; в научно-философском (собственно теоретическом) изложении разных учений; в политической аллегории; в иносказательной фразеологии (эзопов язык) и т. д.» [66]

В этой характеристике романа можно согласиться со всем, кроме замечания об обилии диалогов, так как эта форма речи в произведении Берви-Флеровского практически отсутствует, что является одной из причин тяжеловесности его стиля, трудного для восприятия.

В произведениях писателей-демократов не нашли продолжения главные, определяющие черты стиля романа «Что делать?»: его экспериментальный характер, особенности повествования, образ автора, вступающего в общение и с героями, и с читателями, романтика, пронизывающая реалистическую ткань произведения, бесстрашное соединение идиллии и экономических расчетов, утопии и политики. По отдельности некоторые из этих черт воплотились в стиле произведений писателей-демократов, но только их

сочетание создавало неповторимый идейно-художественный облик романа Чернышевского, оставшегося уникальным явлением в русской литературе.

[1] *Пруцков Н. И.* Русская литература XIX века и революционная Россия. М., 1979. С. 167.

[2] Филол. науки. 1978. № 4. С. 3.

[3] *Коновалов В. Н.* Особенности художественного метода романов о «новых людях» (60–70-е гг. XIX в.) // Романтизм в русской и советской литературе. Вып. VI. 1973. С. 93.

[4] Там же. С. 95.

Писатель и история русского общества // Учен. зап. Волгоград. пед. ин-та. Волгоград, 1968. Вып. 24. С. 365.

[6] *Виноградов В. В.* Избр. труды: Поэтика русской литературы. М., 1976. С. 142.

[7] *Манн Ю. В.* Философия и поэтика «натуральной школы» // Проблемы типологии русского реализма. М., 1969. С. 286.

[8] См.: *Егоров Б. Ф.* Роман 1860-х – начала 1870-х годов о «новых людях». Тарту, 1963; *Пруцков Н. И.* Роман о «новых людях» // История русского романа. М.; Л., 1964. Т. 2. С. 68–96; *Коновалов В. Н.* Особенности художественного метода романов о «новых людях» (60–70-е годы XIX в.) // Романтизм в русской и советской литературе. Казань, 1973. Вып. VI. С. 92–108.

[9] *Ждановский Н. П.* Реализм Помяловского. М., 1960. С. 14.

[10] *Берви-Флеровский В.* На жизнь и смерть. 1877. С. 46.

[11] Там же. С. 60.

[12] См.: *Крамаренко-Невельштейн М. П.* Борьба вокруг романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?» в литературной критике 60-х гг. // Учен. зап. Даугавпилс. гос. пед. ин-та. IV. Серия гуманитарных наук. 1959. Вып. 3. С. 150; *Тамарченко Г Е.* Чернышевский-романист. Л., 1976. С. 108; *Вердеревская Н. А.* Роман Чернышевского «Что делать?» М., 1982. С. 25–26.

[13] *Эльсберг Я.* Основные этапы развития русского реализма. М., 1961. С. 160–161.

[14] Русские повести XIX века 60-х годов. М., 1956. Т. 2. С. 489. Далее страницы этого издания указываются в тексте.

[15] *Егоров Б. Ф.* Роман 1860-х – начала 1870-х годов о «новых людях». С. 9.

[16] *Рассадин С. Б.* Роман демократа-шестидесятника Н. А. Благовещенского // Филол. науки. 1959. № 2. С. 75.

[17] См. об этом: *Пруцков Н. И.* Роман о «новых людях» // История русского романа: В 2 т. М.; Л., 1964. Т. 2. С. 81.

[18] Отеч. зап. 1868. № 4. С. 392. Далее страницы этого издания указываются в тексте.

[19] История русского романа. М.; Л., 1964. Т. 2. С. 82.

[20] Отеч. зап. 1868. № 4. С. 361.

[21] Там же. С. 380.

[22] Там же. С. 336.

[23] *Егоров Б. Ф.* Роман 1860-х – начала 1870-х годов о «новых людях». С. 39.

[24] История русского романа. Т. 2. С. 79.

[25] *Кущевский И. А.* Избранное. Барнаул, 1957. С. 276. Далее страницы этого издания указываются в тексте.

[26] О связи Слепцова-романиста с тургеневской традицией писал Н. И. Пруцков. См. его введение ко второму тому «Истории русского романа».

[27] *Манн Ю.* Базаров и другие // Новый мир. 1968. № 10. С. 239.

[28] *Писарев Д. И.* Подрастающая гуманность // Собр. соч.: В 4 т. М., 1956. Т. 4. С. 53.

[29] Там же. С. 11–12.

[30] *Пинаев М. Т.* У истоков литературной школы Н. Г. Чернышевского // Филол. науки. 1978. № 4. С. 10.

[31] *Слепцов В. А.* Соч.: В 2 т. М., 1957. Т. 2. С. 89.
[32] Там же. С. 55.
[33] Там же. С. 143.
[34] «Перед нами несомненно произведение из школы Чернышевского»,– писал он в уже цитировавшейся работе (Учен. зап. Волгоград. пед. ин-та. Волгоград, 1968. Вып. 24. С. 207).
[35] Рус. слово. 1865. № 1. С. 45–46.
[36] Там же. С. 45.
[37] Журнал «Русское слово» был приостановлен после опубликования первых трех глав повести «В столице» в январе 1866 г. Ее продолжение появилось только в 1867 г. в журнале «Женский вестник», а затем в 1873 г. в сборнике произведений Благовещенского «Повести и рассказы». Подробно об этом см.: *Шаньгин А. М.* Роман Н. А. Благовещенского «Перед рассветом» // Учен. зап. ЛГУ. Сер. филол. наук. 1954. № 171. Вып. 19.
[38] См.: *Рассадин С. Б.* Роман демократа-шестидесятника Н. А. Благовещенского // Филол. науки. 1959. № 2. С. 77–79.
[39] Рус. слово. 1865. № 1. С. 42.
[40] Там же. С. 43.
[41] Там же.
[42] *Егоров Б. Ф.* Роман 1860-х – начала 1870-х годов о «новых людях». С. 15.
[43] Филол. науки. 1959. № 2. С. 76.
[44] Рус. слово. 1865. № 1. С. 59.
[45] Там же. № 2. С. 287.
[46] Там же. № 1. С. 66.
[47] Там же. № 2. С. 258.
[48] Там же. № 1. С. 113.
[49] Там же. С. 115.
[50] Там же. С. 117.
[51] Филол. науки. 1959. № 2. С. 76.
[52] Там же.
[53] См.: Вопросы русской литературы 1840–1870-х годов // Учен. зап. ЛГУ. 1954. № 171. Вып. 19. С. 289.
[54] *Короленко В. Г.* Собр. соч.: В 10 т. М., 1954. Т. 5. С. 316.
[55] Там же.
[56] *Омулевский И. В.* Шаг за шагом. М., 1957. С. 14. Далее страницы этого издания указываются в тексте.
[57] *Слепцов В. А.* Соч.: В 2 т. М., 1957. Т. 2. С. 11.
[58] Там же. С. 151.
[59] *Вердеревская Н. А.* Роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?». М., 1982. С. 36.
[60] На жизнь и смерть. Изображение идеалистов: Роман в трех частях. Женева, 1877. С. III, IV. Далее ссылки на это издание даются в тексте. Римская цифра обозначает часть, арабская – страницу.
[61] *Слепцов В. А.* Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 49. Далее страницы этого издания указываются в тексте.
[62] Предполагают, что он создан Михайловым в заключении в начале 60-х годов.
[63] Дело. 1870. № 1. С. 5. Далее страницы этого издания указываются в тексте.
[64] *Марко Вовчок.* Живая душа. Киев, 1962. С. 25. Далее страницы этого издания указываются в тексте.
[65] *Егоров Б. Ф.* Роман 1860-х – начала 1870-х годов о «новых людях». С. 42.
[66] *Зиновьева М. Д.* Роман В. В. Берви-Флеровского «На жизнь и смерть» // Рус. лит. 1967. № 3. С. 181.

И. П. Видуэцкая

РОМАН «ЧТО ДЕЛАТЬ?» В ОЦЕНКЕ РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ КРИТИКИ

Нет ничего удивительного в том, что роман признанного вождя революционной демократии, чудом проникший из стен Алексеевского равелина на страницы «Современника», вызвал ожесточенные нападки реакционной прессы. Удивительно другое: отсутствие единства в оценке романа революционно-демократической критикой в лице ее главных представителей — А. И. Герцена, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Д. И. Писарева и др. Несмотря на то что на протяжении нескольких ближайших лет после появления в печати «Что делать?» о нем высказались кроме упомянутых критиков-демократов также Г. З. Елисеев, Ю. Г. Жуковский, В. С. Курочкин, П. А. Бибиков, Н. Я. Николадзе, только Писарев дал развернутый анализ романа. Остальные ограничились отдельными замечаниями.

В чем причина такого неадекватного приема единомышленниками произведения, автор которого пытался донести до широкого читателя идеи русской революционной демократии? Дело, по-видимому, в том, что роман «Что делать?» попал в чрезвычайно сложный контекст общественно-политической и литературной борьбы, начавшейся еще до его напечатания и вспыхнувшей с новой силой после его появления.

Дав своему роману подзаголовок «Из рассказов о новых людях» и посвятив его пропаганде образа жизни, мировоззрения и нравственных устоев образованных разночинцев, Чернышевский включился в полемику о новом герое, представлявшем поколение борцов, пришедших на смену передовым людям из дворянства. Узел здесь был уже завязан очень туго.

Хотя образ разночинца появился в русской литературе задолго до 60-х годов, окончательно он сформировался как художественный тип и выдвинулся в литературе на первый план в преддверии второго, «разночинного» этапа освободительного движения. Н. А. Вердеревская, автор специального исследования на эту тему, рассматривая становление типологических признаков образа разночинца начиная с 40-х годов XIX в., переломным моментом в этом процессе считает дилогию Помяловского: «...Помяловский первый поставил фигуру плебея-разночинца в центр произведения, а конфликт между дворянином и разночинцем — в центр проблематики произведения. ⟨...⟩ Помяловский рисует плебея-разночинца в тот переходный момент, который непосредственно

© И. П. Видуэцкая, 1990

предшествует его появлению на арене общественной и политической мысли» [1].

Герой «Мещанского счастья» (1860) и «Молотова» (1861) — ординарная личность. Это не вождь и не идеолог новой развивающейся силы. Ему впору отстоять только собственную независимость, и в этом причина его трагических раздумий в финале. Как правильно понял Писарев, «для Помяловского Молотов есть minimum, на котором едва ли позволительно останавливаться» [2]. В печатных откликах на дилогию Помяловского главное внимание привлекла не сама фигура Молотова, а проблема «мещанского счастья», которая трактовалась то в отрицательном смысле («честная чичиковщина»), то в положительном, как возможность для разночинца честным трудом достичь независимого положения. При этом мало кто заметил явную «идеализацию жизненных возможностей разночинца» в «Молотове»: «Помяловский не дает мотивировки изменившемуся положению героя: мотивировок достаточно убедительных и не могло быть» [3].

Действительно, возможность для чиновника служить честно и в то же время достигнуть благополучия и мира с собой была неоднократно опровергнута и жизнью и литературой (сошлемся на «Тысячу душ» Писемского), и Помяловскому это было известно не хуже других. В данном случае писатель решал иную художественную задачу: он хотел показать трагизм судьбы разночинца, даже достигшего определенной духовной и материальной независимости, но сознающего всю ее ограниченность без возможности деятельности на благо общества, которая одна могла бы дать смысл его существованию.

Помяловский, как и другие писатели разночинно-демократического течения русской литературы 60-х годов, очень хорошо знал представителей разночинной среды и условия их жизни. Однако самый яркий и принципиально новый образ разночинца был создан писателем, смотревшим на этот тип людей со стороны. В 1862 г. в февральском номере «Русского вестника» был напечатан роман Тургенева «Отцы и дети», появление которого вызвало бурю в литературе и в обществе. Тургенев, с присущей ему чуткостью ко всему новому в общественной жизни, увидел в разночинце главную фигуру современности, героя времени.

По сравнению с Молотовым Базаров демонстрирует гораздо более высокую степень внутренней самостоятельности, независимости, уверенности в себе. Он занимает наступательную позицию по отношению к старому миру. Ему от этого мира ничего не надо, даже его культурных завоеваний. Изобразив Базарова отрицателем и ниспровергателем авторитетов, пустив в ход ранее редко употреблявшееся слово «нигилист», которым одни стали пользоваться как термином, а другие как кличкой, Тургенев, однако, воздал должное уму и характеру своего героя. В полном соответствии со своим замыслом («Мне мечталась фигура сумрачная, дикая, большая, до половины выросшая из почвы, сильная, злобная, честная ⟨...⟩ мне мечтался какой-то странный pendant с Пу-

гачевым...» [4]) Тургенев создал фигуру не просто крупную, но в известном смысле титаническую. За естественнонаучными занятиями Базарова просвечивала его готовность к другого рода деятельности, на что писатель прямо указывал в разговоре Аркадия с отцом Базарова, а после выхода романа разъяснил в письме к одному из своих адресатов, сказав о своем герое: «И если он называется нигилистом, то надо читать: революционером» [5].

Тургенев верно угадал и убедительно показал трагизм судьбы Базарова. Его герой безмерно одинок среди окружающих его людей. Ему приходится испытать невыносимый для его цельной натуры внутренний разлад, когда он осознает, что ни глубокая вера в силу разума, ни огромная воля не могут спасти его от переживаний, связанных с несчастной любовью. И наконец, для него, как для общественного деятеля, нет пока достойной сферы приложения сил. Тургенев считал, что Базаров «обречен на погибель» потому, что он «все-таки стоит еще в преддверии будущего» [6].

Роман «Отцы и дети» имел, как известно, небывалый резонанс и оказал значительное влияние как на трактовку образа революционного разночинца в литературе, так и на его оценку в обществе и в критике. В полемике, разгоревшейся после выхода «Отцов и детей», для нас интересен тот факт, что в революционно-демократической среде не было единства в понимании романа. На позицию «Современника» в этом вопросе большое влияние оказывал конфликт Тургенева с революционно-демократической частью сотрудников редакции и его разрыв с журналом. От романа ждали полемики и были готовы увидеть в образе главного героя пасквиль на молодое поколение и даже конкретно на Добролюбова. Кроме того, «Отцы и дети» появились в реакционном «Русском вестнике» в то время, когда Чернышевский и его соратники ждали восстания крестьянских масс и делали все возможное для его приближения. В такой ситуации скептицизм Базарова не мог быть встречен ими сочувственно. Резкая статья М. А. Антоновича «Асмодей нашего времени» («Современник», 1862, март) в основных чертах отражала общий взгляд редакции [7].

Противоположным образом оценил Базарова Писарев (статья «Базаров» в мартовской книжке «Русского слова» за 1862 г.), воспринявший тургеневского героя в целом как верный портрет разночинца-демократа. Когда полемические страсти улеглись и пришла пора трезвого научного взгляда на роман Тургенева, статья Писарева была признана наиболее отвечающей объективному содержанию образа Базарова. Но в начале 60-х годов Писарев был почти в полном одиночестве.

Неудивительно, что роман «Что делать?» при своем появлении был воспринят, в частности, и как ответ Тургеневу. «Очевидно, что роман г. Чернышевского написан в отпор художественному произведению И. С. Тургенева „Отцы и дети“,— писал, например, Ф. М. Толстой [8]. Ему вторил анонимный рецензент в «Отечественных записках»: «Роман г. Чернышевского написан против

„Отцов и детей“. Всюду вы чувствуете ответ на чужие слова, а не что-либо самостоятельное. Это не роман, а статья полемическая, вроде статей гг. Антоновича и Писарева» [9]. Независимо от субъективных намерений Чернышевского, герои его романа становились аргументами в полемике «Современника» с Тургеневым. А значит, на их оценку в критике прямо влияла та расстановка сил, которая сложилась в ходе обсуждения «Отцов и детей».

Но если свое мнение о романе Тургенева обе редакции революционно-демократических журналов изложили в развернутых статьях Антоновича и Писарева, то о романе Чернышевского такой статьи в «Современнике» не было. Отдельные замечания о «Что делать?» содержали хроники Салтыкова-Щедрина «Наша общественная жизнь», одно из «Внутренних обозрений» Г. З. Елисеева, редакционная статья «Итоги», написанная Ю. Г. Жуковским. Это затрудняет выяснение позиции журнала, опубликовавшего роман. Ситуация осложняется еще тем, что немногочисленные высказывания Салтыкова-Щедрина о «Что делать?» стали частью его полемики с публицистами «Русского слова», известной как «раскол в нигилистах». А полемический контекст со своими преувеличениями не всегда служит более полному выяснению истины.

* * *

В январской хронике «Наша общественная жизнь» за 1864 г. Салтыков-Щедрин, выпустив в противников целый залп уничтожающих намеков (Писарева обвинив в склонности к либерализму и в пристрастном отношении к молодому поколению, а В. Зайцева — в «хлыстовщине», т. е. в сектантском отклонении от революционно-демократической теории), мимоходом (и тоже намеком) неожиданно задел роман Чернышевского. «Со временем, птенцы, со временем!..— писал Салтыков-Щедрин.— Поверьте, что это великое слово, которое может принести немало утешений тому, кто сумеет кстати употребить его. Когда я вспомню, например, что „со временем“ дети будут рождать отцов, а яицы будут учить курицу, что „со временем“ зайцевская хлыстовщина утвердит вселенную, что „со временем“ милые нигилистки будут бесстрастною рукой рассекать человеческие трупы и в то же время подплясывать и подпевать „ни о чем я, Дуня, не тужила“ (ибо „со временем“, как известно, никакое человеческое действие без пения и пляски совершаться не будет), то спокойствие окончательно водворяется в моем сердце, и я забочусь только о том, чтоб до тех пор совесть моя была чиста» [10].

«Русское слово» ответило возмущенной репликой Зайцева в статье «Глуповцы, попавшие в „Современник“», где о Щедрине было сказано: «Вот теперь его разбирает смех по поводу романа „Что делать?“. Он юмористически, но в сущности бессмысленно намекает на него...» [11] Щедрин не оставил этот выпад без ответа и в мартовской хронике за 1864 г. следующим образом пояснил свою мысль: «...В прошлом году вышел роман „Что делать?“ —

роман серьезный, проводивший мысль о необходимости новых жизненных основ и даже указывавший на эти основы. Автор этого романа, без сомнения, обладал своею мыслью вполне, но именно потому-то, что он страстно относился к ней, что он представлял ее себе живою и воплощенною, он и не мог избежать некоторой произвольной регламентации подробностей, и именно тех подробностей, для предугадания и изображения которых действительность не представляет еще достаточных данных. Для всякого разумного человека это факт совершенно ясный, и всякий разумный человек, читая упомянутый выше роман, сумеет отличить живую и разумную его идею от сочиненных и только портящих дело подробностей. Но вислоухие понимают дело иначе; они обходят существенное содержание романа и приударяют насчет подробностей, а из этих подробностей всего более соблазняет их перспектива работать с пением и плясками. ‹...› И когда такие их пошлые проделки останавливают чье-нибудь насмешливое внимание, то они на того человека указывают пальцами и восклицают: „Эге! да вы, кажется, уж над Чернышевским глумитесь!“ И таким образом сваливая с больной головы на здоровую, думают прикрыть свое неистовое нравственное убожество» (Щ. 6, 324).

Из этого объяснения следовало, во-первых, что насмешка Щедрина относилась не к самому роману, а к его вульгаризаторам. Эту свою мысль Щедрин подчеркнул затем в статье «Гг. „семейству М. М. Достоевского“, издающему журнал „Эпоха“» (написана в 1864 г., впервые опубликована в 1908 г.). Говоря о желании разъяснить автору «Заметок летописца» Н. Страхову свое отношение к роману «Что делать?», он писал: «Прежде всего, из чего он вывел заключение о враждебности моих отношений к роману? Если из моего отзыва о *вислоухих* и *юродствующих,* так ведь там говорится не о самом романе, а об известном на него взгляде и о тех поучениях, которые, под влиянием этого взгляда, из него извлекаются» (Щ. 6, 527).

Однако и из самого объяснения Щедрина в мартовской хронике, и из ранее создавшегося у других публицистов впечатления о «враждебном отношении» Щедрина к роману Чернышевского следовало также, что он не был согласен и с самим автором «Что делать?», а не только с его истолкователями и в чем-то более существенном, чем «произвольная регламентация подробностей» в четвертом сне Веры Павловны. Сложное переплетение взглядов и мотивов увидели здесь и современные исследователи вопроса — Е. И. Пакусаев, П. С. Рейфман, В. А. Мысляков, Ф. Ф. Кузнецов, которые сделали попытку объяснить высказывания Щедрина о романе Чернышевского путем привлечения широкого контекста: отношения Щедрина к идеям утопического социализма, в частности к Фурье; оценки сатириком эпохи начавшейся реакции; его мнения о путях революционной борьбы и пропаганды в этот сложный период истории, о роли литературы в этом деле.

Выясняется, что на оценке «Что делать?» сказалось общее настороженное отношение Щедрина к утопическим теориям общественного переустройства. «Щедрин видел в романе отражение и сильных и слабых сторон фурьеризма» [12]. Трезвый скептицизм Щедрина не позволял ему увлечься революционной мечтой, тем более что обстановка в стране круто менялась и требовала от революционной демократии новой тактики борьбы. Щедрин видел свою задачу в том, чтобы направить усилия революционной демократии по реальному пути — по пути исследования жизни, борьбы с «современными призраками» (название неопубликованной статьи Щедрина 1863 г.), к числу которых он относил все государственные и нравственные установления, поддерживающие эксплуататорский строй. Отсюда при общности с Чернышевским в понимании конечной цели — социалистической революции — иное представление о «практических путях», о чем писал Щедрин в статье «Гг. „семейству М. М. Достоевского", издающему журнал „Эпоха"», объясняя свои разногласия с автором романа «Что делать?». «Очень возможно, что я и не прав,— говорил Щедрин,— но таково мое убеждение, что, действуя в известном смысле, следует начинать не с *намерений,* а с разбора самых простых и ходячих общественных истин. Автор „Что делать?" полагал иначе, но из чего же следует, что мои отношения к этому роману враждебны? Не следует ли, напротив того, заключить, что тут идет речь единственно о практических путях?» (Щ. 6, 527—528). В этой статье Щедрин ссылался на свое произведение «Как кому угодно. (Рассказы, сцены, размышления и афоризмы)» («Современник», 1863, № 8), в котором он уже косвенно высказал свое несогласие с утопистами в способах пропаганды социалистического идеала и продемонстрировал свой метод, заключавшийся в разоблачении «современных призраков»: призраков семьи, долга (материнского, сыновнего, гражданского), нравственности. Полемическое звучание «Как кому угодно» по отношению к «Что делать?» отметил В. А. Мысляков (Щ. 6, 682).

Разногласия в вопросах тактики революционной борьбы были у Щедрина с Чернышевским еще в пору их совместной работы в «Современнике». Как показал Ф. Ф. Кузнецов, в 1861—1862 гг., «размышляя о революционных возможностях крестьянства», Щедрин «приходил к выводу, отличному от выводов Чернышевского и аналогичному выводам Писарева: народ русский спит, и неизвестно, когда проснется» [13]. О том, что Чернышевский не был согласен со взглядами Щедрина на тактику борьбы в период революционной ситуации, говорит история с очерком последнего «Каплуны» (1861). Чернышевский не допустил его появления в «Современнике» и, как можно догадаться по ответному письму Щедрина, критиковал его за «уступки в сфере убеждений» (Щ. 18, 169) [14].

Для Чернышевского была неприемлема основная идея очерка: призыв к практической деятельности на благо народа внутри существующей государственной системы и необходимость при этом

объединиться с левым крылом либералов. Объясняя реакцию Чернышевского на очерк Щедрина, В. А. Мысляков пишет: «Чернышевского могли смущать некоторая тактическая „всеядность", некоторое стирание граней автором „Каплунов" между революционными и нереволюционными способами борьбы (предлагалось „действовать всеми возможными средствами, действовать настолько, насколько каждому отдельному лицу позволяют его силы и средства" — Щ. 18, кн. 1, 258)» [15].

В «Каплунах» Щедрин проводил четкую границу между «отдаленными» и «ближайшими» идеалами. «Сознаемся откровенно,— говорит он,— что мы не понимаем возможности непосредственного перехода от действительности к идеалам, ибо видим тут перерыв, который также необходимо чем-нибудь наполнить; по мнению нашему, помимо идеалов отдаленных и руководящих, у жизни имеются еще и ближайшие идеалы...» (Щ. 4, 285).

Эта мысль Щедрина многое объясняет в его неприятии картин будущего устройства мира, развернутых в четвертом сне Веры Павловны. Это ведь были именно «отдаленные идеалы», переход к которым от «мерзкого» настоящего не мог быть изображен реалистически. В статье «Современные призраки. (Письма издалека)» Щедрин даже расценивал подобные попытки как наносящие вред самой идее: «...вместо того чтобы приобрести прозелитов идее, неловкий пропагандист рискует возбудить против нее не только негодование, но и насмешки. И в этом неблагоприятном результате будет своя доля справедливости, ибо втискивать человечество в какие-либо новые формы жизни, к которым не привела его сама жизнь, столь же непозволительно, как и насильно удерживать его в старых формах, из которых выводит его история» (Щ. 6, 401).

Поскольку «Современные призраки» Щедрин писал в апреле 1863 г., когда в «Современнике» печатался роман «Что делать?», можно с большой долей уверенности предположить, что в «длинном отступлении» (Щ. 6, 402) от основной темы второго письма отразились его раздумья над романом Чернышевского. Здесь, так же как в мартовской хронике 1864 г. «Наша общественная жизнь», идет речь о недопустимости «регламентации подробностей» жизни общества будущего. «Если известному жизненному строю,— пишет Щедрин,— к которому мы привыкли, с которым мы сжились (потому что мы сами более или менее его участники и делатели), будут противопоставлять, в живых образах, другой жизненный строй, совершенно непохожий на первый, то как бы ни удостоверял нас рассудок, что этот другой жизненный строй есть единственно справедливый и вытекающий из свойств человеческой природы, мы все-таки не в состоянии будем побороть в себе некоторого чувства недоверия, которое окажется тем сильнее, чем резче и образнее будут формулированы подробности новой жизни» (Щ. 6, 400—401).

Картины светлого будущего в четвертом сне Веры Павловны действительно не лучшие страницы романа. Они выпадают из

реалистической традиции русской литературы вследствие своей идилличности, условной образности, утопических представлений о царстве всеобщей любви и социальной гармонии. Щедрину, художнику сатирического склада, они должны были показаться особенно чуждыми. Однако удельный вес этих картин в тексте романа, на наш взгляд, не очень велик. Рискнем выдвинуть предположение о том, что Щедрин не принял роман Чернышевского в целом, а не отдельные его наименее удачные эпизоды. Недовольство Щедрина-художника распространялось и на те части «Что делать?», в которых жизнь героев изображена в реалистических формах. Свидетельство этого мы находим в следующем рассуждении автора «Современных призраков»: «То, что мы охотно постигаем в отвлечении и что, как теоретическую возможность, признаем безусловно, то самое, внезапно представленное нам в живых образах, кажется неловким, режущим глаза. Мысль о возможности такой ассоциации, где труд не представлялся бы тяжким бременем, а, напротив того, в самом себе, в своей собственной привлекательности, находил бы причину и цель, теоретически не заключает в себе ничего дикого, но попробуйте изобразить такую ассоциацию в живых и действующих образах, попытка эта не только не принесет пользы мысли, ее породившей, но едва ли даже не повредит ей. Образы, логически верные, покажутся приторными, идиллическими, почти пошлыми; отношения естественные и совершенно нравственные покажутся натянутыми и возмутительно безнравственными» (Щ. 6, 401).

Мысли о «такой ассоциации, где труд не представлялся бы тяжким бременем» вполне могли быть навеяны изображением мастерских Веры Павловны, а не только картинами будущего в ее сне, тем более что речь идет у Щедрина о бесплодности попытки «изобразить такую ассоциацию в живых и действующих образах». Вряд ли это могло быть отнесено к заведомо условным образам людей будущего в четвертом сне. «Приторными, идиллическими, почти пошлыми» могли показаться сатирику описания идеальных, бесконфликтных отношений между швеями, а последние слова приведенной цитаты говорят о том, что Щедрин мог быть недоволен и основной сюжетной коллизией романа и способом ее разрешения. Он предугадал реакцию многих критиков, выступивших против романа Чернышевского именно с позиции оскорбленной нравственности. Так, упоминавшийся уже Ф. М. Толстой, обращаясь к редактору газеты «Народное богатство», напечатавшей сочувственный отзыв о романе Чернышевского, вопрошал: «Но, положите руку на сердце, почтенный редактор, и скажите по совести: решились ли бы вы посоветовать сестре вашей, или дочери, или даже молодой вашей жене, если у вас есть молодая жена, прочесть роман „Что делать?“? Не запинаясь, мы ответим за вас: „Конечно, что нет!“» [16].

Обзор высказываний Щедрина приводит к выводу о том, что ему оказался чужд и непонятен весь замысел Чернышевского. Этому как будто бы противоречат слова Щедрина о его согласии

с «существенным содержанием романа» (в мартовской хронике 1864 г.). Все исследователи единодушно истолковывают их как поддержку социалистического и демократического учения Чернышевского, выраженной в романе революционной идеи. Однако одно дело содержание романа, понимаемое к тому же широко, как революционная направленность, а другое дело — форма выражения этого содержания в сюжете, стиле, в образах героев.

Прав, думается, Ф. Ф. Кузнецов, говоря, что «насмешка над романом „Что делать?" в январской хронике „Современника" не оговорка» [17], она отражает общее «ироническое отношение» [18] Щедрина к роману Чернышевского. Нельзя согласиться с Е. И. Покусаевым, когда он пишет: «Замечания Щедрина не касались „идеологии романа", а лишь отдельных неудачных, по его мнению, образных, художественных приемов ее выражения и изображения в романе. К тому же следует заметить, что, отмечая некоторые художественные „неловкости" в обрисовке социалистического будущего, Щедрин не брал под сомнение образную, стилевую структуру романа в целом. Не случайно в рецензии „Петербургские театры", опубликованной в „Современнике», он ссылается на образ Лопухова как на законченный художественный тип нового человека, ставя его в один ряд со знаменитым героем Ж. Занд романа „Жак"» [19].

Однако Щедрин, говоря о романе Чернышевского, оставил без внимания такие важнейшие стороны его проблематики, как эмансипация женщины, изображение «новых людей» (замечание о Лопухове относится к гораздо более позднему времени) и их противопоставление старому миру, формы их борьбы с его установлениями и многое другое. Судя по всему, Щедрин не собирался подробно высказываться о романе Чернышевского и был втянут в полемику после неосторожно оброненного замечания в январской хронике 1864 г. К этому времени с момента напечатания романа Чернышевского прошло уже восемь месяцев. Как известно, Писарев, горячо принявший роман, откликнулся на него сразу же в не пропущенной цензурой статье «Мысли о русских романах», о которой петербургский генерал-губернатор А. А. Суворов сообщал в секретном письме к министру внутренних дел П. А. Валуеву от 7 ноября 1863 г.: «Сочинение это, содержащее в себе по преимуществу разбор романа литератора Чернышевского „Что делать?" и преисполненное похвал этому литературному произведению, с подробным развитием заключающихся в нем материалистических воззрений и социальных идей, по мнению Сената, в случае напечатания оного, может иметь вредное влияние на молодое поколение, проникнутое этими идеями» [20].

* * *

Писарев понял замысел Чернышевского и во главу угла поставил вопрос о «новых людях» и практической программе их деятельности. В печати его первый отзыв о «Что делать?» появился в марте 1864 г. в статье «Мотивы русской драмы». В отличие от

Щедрина Писареву не показались неестественными отношения между главными героями. Подтверждая свою мысль о том, что «только сознательное уважение человека к самому себе дает ему возможность спокойно и весело переносить все мелкие и крупные неприятности» [21], он приводит в пример героя Чернышевского: «Сколько минут чистейшего счастья пережил Лопухов в то время, когда, отрываясь от любимой женщины, он собственноручно устроивал ей счастье с другим человеком? Тут была обаятельная смесь тихой грусти и самого высокого наслаждения, но наслаждение далеко перевешивало грусть, так что это время напряженной работы ума и чувства, наверное, оставило после себя в жизни Лопухова неизгладимую полосу самого яркого света. А между тем как все это кажется непонятным и неестественным для тех людей, которые никогда не испытали наслаждения мыслить и жить в своем внутреннем мире. Эти люди убеждены самым добросовестным образом, что Лопухов — невозможная и неправдоподобная выдумка, что автор романа „Что делать?“ только прикидывается, будто понимает ощущения своего героя, и что все пустозвоны, сочувствующие Лопухову, морочат себя и стараются обморочить других совершенно бессмысленными потоками слов» (П. 2, 381).

Во второй раз Писарев обращается в этой статье к роману «Что делать?» для подкрепления своей мысли о необычайной, первостепенной важности вопроса о народном труде. Не воскресные школы и пропаганда, считает он, а в первую очередь, «рациональная организация труда» важна для изменения к лучшему участи народа. «...Хорошая ферма и хорошая фабрика ‹...› составляют лучшую и единственную возможную школу для народа, во-первых, потому, что эта школа кормит своих учеников и учителей, а во-вторых, потому, что она сообщает знание не по книге, а по явлениям живой действительности. Книга придет в свое время, устроить школы при фабриках и при фермах будет так легко, что это уже сделается само собою. ‹...› Недаром Вера Павловна заводит мастерскую, а не школу, и недаром тот роман, в котором описывается это событие, носит заглавие: «Что делать?» Тут действительно дается нашим прогрессистам самая верная и вполне осуществимая программа деятельности» (П. 2, 393).

Таким образом, Писарев сразу же и безоговорочно солидаризируется с Чернышевским и, в отличие от Щедрина, признает практическое значение программы, изложенной в романе. Кстати, то, что Щедрин ошибся в оценке идеи устройства мастерских, показала сама жизнь, так как, по свидетельству современников, такие мастерские возникали в реальной действительности [22].

В октябре 1865 г. Писареву наконец удалось опубликовать специальную статью о романе «Что делать?», в основу которой, возможно, легла его не пропущенная в печать работа «Мысли о русских романах» [23]. В статье, носившей в журнальном варианте название «Новый тип» (впоследствии «Мыслящий пролетариат»),

дано наиболее верное и адекватное замыслу Чернышевского прочтение «Что делать?». Объяснение этого факта мы видим в том, что у Писарева была своя концепция нового человека, которая, хотя и не совпадала целиком с концепцией Чернышевского, отражала в наиболее существенных моментах те же черты действительности и появившегося во второй период освободительного движения общественного деятеля. Концепция эта сложилась у Писарева еще до выхода романа Чернышевского, в связи с оценкой «Отцов и детей» Тургенева, и была им успешно приложена к произведению лидера революционной демократии.

Писарев сумел выделить в романе Чернышевского главное. Он понял, что «все симпатии автора лежат безусловно на стороне будущего; симпатии эти отдаются безраздельно тем задаткам будущего, которые замечаются уже в настоящем» (П. 4, 9). Писарева не смущают элементы утопизма в произведении, в котором «собраны и подвергнуты анализу пробивающиеся проблески новых и лучших стремлений» (П. 4, 9). Роман «Что делать?» он рассматривает как манифест, как знамя совершенно определенного направления общественной мысли, которое пока «поддерживается очень малочисленною группою людей», но «эта группа понемногу расширяется, обогащаясь молодыми деятелями» (П. 4, 7). И хотя пока эти люди одиноки в обществе, они уверены, что «истина с ними» и что «рано или поздно за ними пойдут все» (П. 4, 8). Тяжела судьба этих деятелей. «Из них вышли люди, которым досталась слава геройских страданий», «другим встречались лишь тысячи мелких врагов», но их деятельность проходила «в борьбе с препятствиями недостойными, презираемыми» (П. 4, 8). Таких людей и изобразил Чернышевский в своем романе.

В создании образов «новых людей» Писарев видит главный смысл романа и основную заслугу его автора. Хотя в истолковании этих образов Писарев допустил некоторые отступления от замысла Чернышевского, о чем речь впереди, в целом он верно понял и их социально-историческую сущность, и их значение для русской литературы.

Писарев отметил такие важные стороны в характерах и деятельности «новых людей», как «цельность природы, гармония между умом и чувством и постоянное присутствие духа» (П. 4, 31), безжалостно-строгое отношение к себе, трезвый расчет, сочувствие «всем действительным потребностям всех людей» (П. 4, 16), умение устраивать «свою жизнь так, что их личные интересы ни в чем не противоречат действительным интересам общества» (П. 4, 16).

Герои Чернышевского явились для Писарева отражением в литературе того типа людей, «который один может освежить жалкую рутину нашей бессмысленной жизни» (П. 4, 35). Вслед за Чернышевским Писарев уделяет много внимания доказательству того, что люди, подобные Лопухову, Кирсанову и Вере Павловне, «нисколько не выше обыкновенного человеческого роста»

(П. 4, 37). Они «не делают ничего такого, что превышало бы обыкновенные человеческие силы». По мнению Писарева, «это обстоятельство чрезвычайно важно, и оно придает всему роману особенно глубокое значение» (П. 4, 41), так как его пропагандистская цель заключалась в том, чтобы читатель увидел, «какими могут быть обыкновенные люди», и поверил, что «такими они должны быть, если хотят найти в жизни много счастья и наслаждения» (П. 4, 42). Последние слова говорят о том, что Писареву оказался близок антиаскетический пафос романа, утверждение права человека на личное счастье.

Полностью отдавая себе отчет в том, что «никакое литературное произведение, как бы оно ни было глубоко задумано, не может выполнить такую задачу, которой разрешение связано с радикальным изменением всех основных условий жизни» (П. 4, 42), Писарев все-таки высоко ставит попытку Чернышевского доказать «всем самодовольным филистерам, что они клевещут на человеческую природу, что они свою искусственную забитость и ограниченность принимают за нормальное явление», «что они ставят чрезвычайно низко уровень своих умственных и нравственных требований» (П. 4, 42). В духе антропологизма Чернышевского Писарев признает, что его «новые люди не что иное, как первые проявления богатой человеческой природы, отмывшей от себя часть той грязи, которая накопилась на ней во время вековых исторических страданий» (П. 4, 18). И хотя такие люди в жизни встречаются пока еще не часто, Писарев вместе с Чернышевским верит в то, что их будет все больше и больше, что за ними будущее.

Есть, однако, в истолковании Писарева и такие моменты, в которых он разошелся с автором романа. Подводя итог характеристике «новых людей», отмечая три основные, по его мнению, особенности нового типа («I. Новые люди пристрастились к общеполезному труду. II. Личная польза новых людей совпадает с общею пользою, и эгоизм их вмещает в себе самую широкую любовь к человечеству. III. Ум новых людей находится в самой полной гармонии с их чувством...»), Писарев делает вывод: «Новыми людьми называются мыслящие работники, любящие свою работу» (П. 4, 25).

Но ведь не только своей работой увлечены «новые люди» в романе Чернышевского. Их связывает не одна лишь дружба, но и революционное дело, хотя, в отличие от Рахметова, они не являются профессиональными революционерами. Эта сторона деятельности Лопухова, Кирсанова и других членов их кружка не получила отражения в статье Писарева, где революционером предстает один лишь Рахметов.

В отличие от Чернышевского, в сознании Писарева «новые люди» являются отражением того же жизненного типа, что и тургеневский Базаров[24]. «Над существованием новых людей прежде всех задумался в нашей беллетристике Тургенев,— как и раньше, утверждает Писарев.— Инсаров был неудачною попыт-

кою в этом направлении; Базаров явился очень ярким представителем нового типа...» Однако Тургеневу, наблюдавшему этот тип со стороны, «очевидно, не хватило материалов» для его полной обрисовки. В романе Чернышевского «все новые люди принадлежат к базаровскому типу, хотя все они обрисованы гораздо отчетливее и объяснены гораздо подробнее, чем обрисован и объяснен герой последнего тургеневского романа» (П. 4, 11).

Писарев отстаивает свою точку зрения в споре с руководителями журнала «Современник», которые упорно продолжали считать образ Базарова пасквилем на Добролюбова, «на всю оппозиционную литературу, на всю деятельность „Современника“» [25], «пошлой подделкой, созданной художником противной стороны» [26]. В статье без подписи «Итоги» Ю. Г. Жуковский утверждал, что роман «Отцы и дети» был написан обиженным Тургеневым в отмщение за критику. Роман «Что делать?» трактуется в «Итогах» как произведение, созданное в полемике с автором «Отцов и детей»: «Оппозиционная литература поставила в романе „Что делать?“, в ответ на укор в нигилизме, примеры своих людей, то есть тех людей, которых она желала видеть в обществе,— и они, кажется, вовсе не были похожи на нигилистов и Базаровых. Какие же были в самом деле нигилисты Лопуховы и Рахметовы. 〈...〉 Таким образом укор в нигилизме был отклонен весьма решительно: в конечных целях оппозиционной литературы оказалось не отрицание, не нигилизм, а нечто положительное и определенное, создание в среде нашего общества не нигилиста, а *гражданина*» [27].

Но ведь и Писарев отклонил кличку «нигилизм», заменив ее термином позитивного звучания — «реализм» и назвав свою программную статью «Реалисты». Анализируя образы «новых людей», он во главу угла ставил, как и Чернышевский, идею труда и образования. «Новые люди считают труд абсолютно необходимым условием человеческой жизни, и этот взгляд на труд составляет чуть ли не самое существенное различие между старыми и новыми людьми»,— писал он (П. 4. 12). Писарев в статье «Мыслящий пролетариат» буквально поет гимн созидающему труду: «Труд есть единственный источник богатства; богатство, добываемое трудом, есть единственное лекарство против страданий бедности и против пороков праздности» (П. 4, 14).

Да и Тургенев, по мнению Писарева, «принужден был в своем Базарове остановиться на одной суровой стороне отрицания» (П. 4, 12) лишь потому, что у него «не хватило материалов для того, чтобы полнее обрисовать своего героя с разных сторон» (П. 4, 11). Если бы Чернышевскому «пришлось изображать новых людей, поставленных в положение Базарова, то есть окруженных всяким старьем и тряпьем, то его Лопухов, Кирсанов, Рахметов стали бы держать себя почти совершенно так, как держит себя Базаров»,— утверждает Писарев (П. 4., 11—12). В романе Чернышевского действительно есть ряд таких эпизодов в предысториях Лопухова и Кирсанова.

Что касается такой цели романа «Что делать?», отмеченной в статье «Итоги», как воспитание на примере образов «новых людей» гражданина, то она в статье Писарева в самом деле несколько приглушена, когда речь идет о Лопухове, Кирсанове и Вере Павловне. Критик, правда, подчеркивает, что «новые люди» постоянно имеют в виду «общую задачу всего человечества» (П. 4, 15), «горячо и сознательно сочувствуют всем действительным потребностям всех людей», «устроивают свою жизнь так, что их личные интересы ни в чем не противоречат действительным интересам общества» (П. 4, 16). Но здесь как будто мало активного, революционного начала.

Проблема революционной активности поставлена в той части статьи, которая посвящена Рахметову. Писарев проводит резкую грань между ним и другими героями романа, пожалуй более резкую, чем сам Чернышевский, и поэтому считает, что «Рахметов в действии романа не участвует», так как ему в нем нечего делать. «...Такие люди, как Рахметов, только тогда и там бывают в своей сфере и на своем месте, когда и где они могут быть историческими деятелями». Не имея возможности прямо охарактеризовать Рахметова как профессионального революционера, Писарев находит удачные формы иносказания, чтобы объяснить читателю смысл этой «титанической фигуры». Он говорит, что такие люди, как Рахметов, «любят всех людей, страдают от каждой совершающейся несправедливости, переживают в собственной душе великое горе миллионов и отдают на исцеление этого горя все, что могут отдать» (П. 4, 43). Они особенно «необходимы и незаменимы» в те редкие минуты истории, «когда массы, поняв или по крайней мере полюбив какую-нибудь идею, воодушевляются ею до самозабвения и за нее бывают готовы идти в огонь и в воду» (П. 4, 46).

Несмотря на всю исключительность фигуры Рахметова, Писарев считает его, как и «новых людей», отражением реального жизненного типа. Первой и неудачной попыткой его воспроизведения, по мнению критика, является тургеневский Инсаров. Тургеневу, как и в случае с Базаровым, не хватило материалов для обрисовки подобного героя. Чернышевский «видел, напротив того, много таких явлений, которые очень вразумительно говорят о существовании нового типа и о деятельности особенных людей, подобных Рахметову». Этот факт, по мнению Писарева, говорит о том, что «может быть, светлое будущее совсем не так неизмеримо далеко от нас, как мы привыкли думать» (П. 4, 49).

Высоко оценив Рахметова и как литературный образ, и как жизненный тип, Писарев высказал и некоторые несогласия с его принципами. В первую очередь, он выступил против рахметовского ригоризма, заявив, что «для борьбы с предрассудками личный аскетизм Рахметова может быть только вредным». Справедливо полагая, что «жизнь и учение человека должны всегда находиться в возможно полном согласии» (П. 4, 45), он считал нелепой фигуру аскета, проповедующего наслаждение жизнью.

Но «самый факт рахметовского аскетизма» он считал вполне возможным и объяснял его «потребностью взимать на себя грехи мира, бичевать и распинать себя за все людские глупости и подлости» (П. 4, 46).

Среди всех критиков романа «Что делать?» Писарев, пожалуй, один обратил внимание читателя на то, что «в нем чувствуется везде присутствие самой горячей любви к человеку» (П. 4, 9). Автор и его герои принадлежат к тем людям, которых «увлекает в неизвестную даль будущего очень определенное и земное стремление доставить всем людям вообще возможно большую долю простого житейского счастья» (П. 4, 8).

Как мы уже говорили, в отличие от Салтыкова-Щедрина, Писарев признал описание мастерской Веры Павловны, «действительно существующей или идеальной — все равно», «в практическом отношении 〈...〉 самым замечательным местом романа» (П. 4, 26). Чернышевский, «специалист по части социальной науки» (П. 4, 26), бросил в общество плодотворную идею, которая была подхвачена и реализована. «...Не одно честное сердце отозвалось на нее, не один свежий голос откликнулся на этот призыв к деятельности...» (П. 4, 26). Таким образом, Чернышевский, по мнению Писарева, «оказался единственным нашим беллетристом, художественное произведение которого имело непосредственное влияние на наше общество, правда, на небольшую часть его, но зато на лучшую» (П. 4, 26). Роман «Что делать?» потому и вызвал яростные нападки всех, «кого кормит и греет рутина», что он сумел «сделаться знаменем ненавистного им направления, указать ему ближайшие цели и вокруг них и для них собрать все живое и молодое» (П. 4, 8).

Идейное содержание романа и причины того или иного отношения к нему в публике и критике Писарев понял и объяснил с большим проникновением в его материал. Он отметил глубокую выношенность идей этого произведения: «Роман „Что делать?“ не принадлежит к числу сырых продуктов нашей умственной жизни. Он создан работою сильного ума; на нем лежит печать глубокой мысли» (П. 4, 9). И наконец, общая оценка романа в статье Писарева самая высокая. «Оставаясь верным всем особенностям своего критического таланта и проводя в свой роман все свои теоретические убеждения, г. Чернышевский создал произведение в высшей степени оригинальное и чрезвычайно замечательное» (П. 4, 9).

Идейные расхождения Писарева с «Современником» неблагоприятно сказались на дальнейшей судьбе его творческого наследия. Это относится и к статье «Мыслящий пролетариат», которую некоторые исследователи признавали ошибочной на том основании, что она противоречила мнению Г. З. Елисеева и Ю. Г. Жуковского. Так, современный исследователь М. П. Крамаренко-Невельштейн, автор специальной статьи «Борьба вокруг романа Н. Г. Чернышевского „Что делать?“ в литературной критике 60-х годов», пишет, явно отождествляя «Современник» Чернышевского

и Добролюбова с «Современником» Антоновича и Елисеева: «До сих пор не раскрыта суть противоречий позиций „Современника“ и „Русского слова“ в полемике по поводу романа „Что делать?“ Писаревские установки, подвергнутые критике еще революционными демократами 60-х годов, предлагаются нашим литературоведением как нечто основополагающее» [28]. Такая оценка «Мыслящего пролетариата» была дана, в частности, в книге Г. Тамарченко «Романы Чернышевского»: «Статья Писарева до сих пор остается лучшим образцом литературно-критического разбора романа, несмотря на вынужденные недомолвки и эзоповский язык» [29].

М. П. Крамаренко-Невельштейн осуждала Писарева за то, что он «в своей статье обходит революционный смысл романа, который был раскрыт „Современником“» [30], и «идею революционного подвига, лежащую в основе „Что делать?“ [31], и «приписывает ему совсем иную идейную направленность, чем критика „Современника“ и сам автор» [32]. Писареву ставилось в вину то, что он «не заметил того принципиального отличия „нигилиста“ Базарова от героев „Что делать?“ — сложившихся революционных демократов, которое постоянно подчеркивалось „Современником“» [33].

В настоящее время подобная позиция, упрощающая и искажающая взгляды Писарева, полностью преодолена благодаря исследованиям Ф. Ф. Кузнецова, П. А. Николаева, У. А. Гуральника и др. Ученые доказали, что статья «Мыслящий пролетариат» «отчетливо пропагандировала идею революции» [34], что в ней дана «самая высшая и глубоко обоснованная характеристика романа Чернышевского» [35] и что Писарев «был первым, кто дал убедительную характеристику замысла Чернышевского, затрагивая, по сути, все идейно-образное содержание произведения» [36]. Нельзя не согласиться с выводом У. А. Гуральника: «Писаревым заложен фундамент концепции, которая в последующие сто с лишним лет будет развиваться, уточняться, наполняться конкретным содержанием всеми последующими исследователями беллетристического наследия Чернышевского...» [37]

* * *

Герцен, как и Салтыков-Щедрин, не дал развернутого анализа романа Чернышевского. Его мнение об этом произведении реконструируется по отдельным высказываниям, главным образом в письмах. Причем эти высказывания относятся не к тому времени, когда роман «Что делать?» печатался в «Современнике», а к 1867 г., когда вышло его отдельное заграничное издание, предпринятое М. К. Элпидиным. Попытка некоторых исследователей объяснить молчание Герцена в 1863 г. боязнью так или иначе повредить заключенному в Петропавловской крепости автору [38] не представляется убедительной, так как ничто не мешало Герцену высказаться в письмах, как он это сделал впоследствии. Имеющиеся в нашем распоряжении материалы едва ли дают возможность решить вопрос о причинах невнимания Герцена к роману

Чернышевского в момент его появления в печати, при том, что точно известно, что он держал в руках 4-й номер «Современника», где была напечатана вторая часть романа [39]. Кроме того, в письме к сыну от 1 августа 1867 г. Герцен писал, что *перечитывает* роман «Что делать?» [40]. Причины заинтересованного обращения Герцена к роману в 1867 г., напротив, довольно ясны.

Во второй половине 60-х годов углубляется конфликт Герцена с «молодой эмиграцией». Статья Герцена «Порядок торжествует!» (печаталась в трех номерах «Колокола» с 1 декабря 1866 г. по 1 февраля 1867 г.), по словам Н. И. Утина, «задела заживо все было〈е〉 разногласие Петербурга и Лондона» [41]. Обращаясь снова к вопросу о «русском» и «западном» социализме, стоявшему в центре его полемики с Чернышевским в 1861—1862 гг., Герцен сделал шаг навстречу Чернышевскому, признав, что это «раздвоение» понятия было совершенно естественно и «вовсе не представляло антагонизма». «Мы служили взаимным дополнением друг друга»,— заявил Герцен (Г. XIX, 194). Однако его попытка утвердить свою идейную общность с Чернышевским вызвала протест у ряда представителей «молодой эмиграции». В мае 1867 г. в Женеве вышла брошюра А. Серно-Соловьевича «Наши домашние дела. Ответ г. Герцену на статью „Порядок торжествует“ (III. Колокол № 233)», автор которой стремился перечеркнуть всю революционную деятельность Герцена и решительно отрицал революционно-демократическую основу его мировоззрения. В отличие от него Н. И. Утин сумел оценить характеристику Чернышевского, данную в статье Герцена «Порядок торжествует!». Он писал Н. П. Огареву, что то место статьи, где Герцен говорит «о влиянии и значении Чернышевского», «вызывает полное горячее сочувствие тех, кто обязан Чернышевскому всем своим воспитанием». Такая характеристика Чернышевского могла бы, по мнению Утина, «во многом заставить забыть все прошлые недоразумения *двух революционных* партий» [42]. Однако открыто в печати Утин и другие не согласные с Серно-Соловьевичем не выступили.

В такой обстановке Герцен обратился к роману Чернышевского, который вышел два месяца спустя после брошюры Серно-Соловьевича в том же издательстве М. К. Элпидина и К°. В бесподписном предисловии к роману «От издателей» Н. Я. Николадзе продолжил спор с Герценом, резко противопоставив «бесплодности и приторности прежних героев» [43], среди которых наряду с Обломовым, Рудиным, Инсаровым, Молотовым, Базаровым назван и Бельтов, «новых людей» из «Что делать?».

В статье «Порядок торжествует!», характеризуя «сильную личность *Чернышевского*», явившегося вслед за петрашевцами, Герцен писал: «Стоя один, выше всех головой, середь петербургского броженья вопросов и сил, середь застарелых пороков и начинающихся угрызений совести, середь молодого желания иначе жить, вырваться из обычной грязи и неправды, Чернышевский решился схватиться за руль, пытаясь указать жаждавшим и стре-

мившимся,— *что им делать*». Герцен с большим сочувствием отзывался о той среде молодой разночинной интеллигенции, жизнь которой нашла отражение в романе. «Его среда,— писал он о Чернышевском,— была городская, университетская, среда развитой скорби, сознательного недовольства и негодованья, она состояла исключительно из работников умственного движения, из пролетариата, интеллигенции, из «способностей»». Чернышевский и его соратники указывали выход людям, «гибнувшим в суровых тисках жизни», «в совокупном труде, в устройстве мастерской».

Герцен особенно оценил то, что «Чернышевский, Михайлов и их друзья первые в России звали не только труженика, съедаемого капиталом, но и труженицу, съедаемую семьей, к иной жизни. Они звали женщину к освобождению работой от вечной опеки, от унизительного несовершеннолетия, от жизни на содержании, и в этом — одна из величайших заслуг их» (Г. XIX, 194).

Хотя роман «Что делать?» в статье «Порядок торжествует!» прямо не назван, очевидно, что Герцен учитывает его, говоря и о среде Чернышевского, и о роли мастерских в новой организации труда, и об освобождении женщины. Судя по всему, материал романа воспринят им с пониманием и не вызывает у него желания спорить. Но вот представители «молодой эмиграции», считающие себя учениками и последователями Чернышевского, решительно ополчаются против стремления Герцена объединить две ветви революционной демократии, преодолеть бывший между ними в прошлом антагонизм. И Герцен новыми глазами читает роман Чернышевского, пытаясь с его помощью понять новое поколение революционеров, обвиняющих его в бездействии и барстве и не желающих видеть преемственность передовых людей разных поколений.

Он, как и прежде, находит в романе много хорошего. Но его раздражает стиль, в котором ему видится прообраз стиля поведения эмигрантов-разночинцев. Эти сопоставления и параллели, не отпускающие Герцена во время перечитывания романа, мешают правильно понять его, приводят к перекосам в оценке, которых не было в статье «Порядок торжествует!». Там Герцен выделил действительно важные содержательные моменты романа, хотя и не писал о нем специально. За что он хвалит роман теперь? Помимо общих положительных оценок («...В нем бездна хорошего» — Г. XXIX, кн. 1, 159; «В нем много хорошего» — Г. XXIX, 1, 185; «Это очень замечательная вещь...» — Г. XXIX, 1,167) высказывания Герцена содержат и некоторые более конкретные указания на то, что ему понравилось в романе. Главную заслугу Чернышевского Герцен видит в том, что он верно отразил характер, быт и даже перспективу развития разночинной революционной среды определенного исторического периода. «Это — удивительная комментария ко всему, что было в 60—67», — пишет он о романе Чернышевского (Г. XXIX, 1, 185). «...В нем бездна отгадок и хорошей и дурной стороны ультранигилистов. Их жаргон, их аляповатость, грубость, презрение форм, натянутость, комедия

простоты, и — с другой стороны — много хорошего, здорового, воспитательного» (Г. XXIX, 1, 167).

К сожалению, Герцен совершенно не аргументировал свои оценки. Это ставит исследователя в невыгодное положение толкователя, чьи домыслы всегда могут быть оспорены. Из приведенной цитаты видно, что, в отличие от Писарева и от самого Чернышевского, Герцен не придал значения делению «новых людей» на «обыкновенных» (Лопухов, Кирсанов, Вера Павловна) и «особенных» (Рахметов), объединив всех их под именем ультранигилистов. У положительных героев романа он находит не только хорошие, но и дурные стороны, каковыми, с его точки зрения, являются в основном формы поведения. Герцен смотрит на героев Чернышевского как человек другой культурной среды, другого воспитания. В его лице старая дворянская культура сталкивается с нарождающейся, находящейся в становлении культурой разночинцев и не принимает ее. «Читаю роман Черныш⟨евского⟩,— писал Герцен Огареву 29 июля 1867 г.— Господи, как гнусно написано, сколько кривлянья, что за слог! Какое дрянное поколенье, которого эстетика этим удовлетворена. ⟨...⟩ Мысли есть прекрасные, даже положения — и все полито из семинарски-петербургски-мещанского урыльника...» (Г. XXIX, 1, 157). И в другом письме близкое по смыслу замечание: «...что за представитель семинарии и Васильевского острова!» (Г. XXIX, 1, 167—168).

Герцена коробит язык героев-разиночинцев и язык романа («роман Чернышевского писан языком ученой передней» — Г. XXIX, 1, 159; «форма скверная, язык отвратительный» — Г. XXIX, 1, 160; «боже мой, что за слог» — Г. XXIX, 1, 167).

Слова «грубость, презрение форм» и «комедия простоты» могут быть скорее всего отнесены к стилю поведения героев Чернышевского, к способам разрешать возникающие на их жизненном пути конфликты, хотя в письме к сыну Герцен, как будто бы в противоречии с этим, писал о «Что делать?»: «...а поучиться тебе есть чему в манере ставить житейские вопросы» (Г. XXIX, 1, 160). Из последних слов Герцена можно, пожалуй, заключить, что он разделяет «предложенное автором разрешение „житейских вопросов“ на основе морали „разумного эгоизма“» [44]. Но, с другой стороны, Герцену, показавшему трагическую неразрешимость подобного конфликта в романе «Кто виноват?» и пережившему эту драму в личной жизни, выход из коллизии любовного треугольника в романе Чернышевского мог показаться «комедией простоты».

Под «аляповатостью» и «натянутостью» Герцен, возможно, имел в виду некоторую идеализированность героев «Что делать?», тем более что дальше в том же письме к Огареву он пишет о Чернышевском: «Как он льстит нигилистам!» И здесь действительно надо говорить о том, что Герцен не понял сложную жанровую специфику романа Чернышевского и не оценил его идейно-художественную уникальность, «не увидел, что идеализация в нем является лишь способом типизации, вполне допускаемым жанром художественно-философского повествования» [45].

Однако тут же Герцен признает и «здоровое, воспитательное» значение романа, следовательно, хотя бы частично допускает уместность некоторого нормативного подхода к образам революционеров. Ленин писал впоследствии, что Чернышевский показал, «каким должен быть революционер, каковы должны быть его правила, как к своей цели он должен идти, какими способами и средствами добиваться их осуществления» [46].

Бросается в глаза противоречивость оценок Герцена. Свое двойственное впечатление от «Что делать?» он выразил в письме к Огареву от 4 августа 1867 г.: «Чернышевского роман читай, много хорошего. Он похож на Бакста: урод и мил. А вред он должен был принести немалый» (Г. XXIX, 1, 163). Как совместить «вред» и «здоровое, воспитательное значение»? В другом письме, говоря о том, что роман Чернышевского — «это удивительная комментария ко всему, что было в 60—67», Герцен добавляет: «и зачатки зла также тут» (Г XXIX, 1, 185). Очевидно, что оценки Герцена находились под деформирующим влиянием его печального опыта общения с «молодой эмиграцией». Это их недостатки приписывает он героям Чернышевского, их принимает за главных продолжателей дела Чернышевского (на чем они сами всегда настаивали), презрительно именуя их «стаей Чернышевского» (Г. XXIX. 1, 185). В романе «Что делать?» он ищет зерна тех отрицательных явлений, которые наметились в среде революционной эмиграции во второй половине 60-х годов. Но не только это.

С начала 60-х годов оставались еще полностью не разрешенные, а только на время заглохшие и сгладившиеся противоречия с разночинным крылом революционной демократии, возглавлявшимся Чернышевским и Добролюбовым. Спор, начатый статьей «Very dangerous!!!» (1859) и продолженный при личной встрече с Чернышевским в Лондоне в июне 1859 г., а затем в статьях Герцена «Лишние люди и желчевики» (1860), «Молодая и старая Россия» (1862), «Журналисты и террористы» (1862), был не закончен, а оборван насильственным изъятием Чернышевского из общественно-политической борьбы. Через несколько лет он был возобновлен в брошюре «Наши домашние дела» А. Серно-Соловьевича, взявшего на себя роль обвинителя Герцена и защитника революционного наследия Чернышевского. Герцен не стал отвечать Серно-Соловьевичу в печати и отказался от намерения писать статью о «Что делать?» с полемикой против предисловия Николадзе, чтобы, как он пишет, «не раздразнить его (Чернышевского.— *И. В.*) стаю» [47] Но внутренне Герцен постоянно был готов к полемике, о чем говорит хотя бы его замечание в письме к Огареву от 11 сентября 1867 г., сделанное под впечатлением от перечитывания его поэмы «Юмор»: «Нет, господа Tchernychevsky et école *, вы не вырвете эту полосу поэтического пробужденья — этот юный размах и пр.» (Г. XXIX, 1, 197).

---

* Чернышевский и его школа (*фр.*)

Герцена продолжала мучить недооценка революционными разночинцами роли передовых дворян в пробуждении русского общества, отрицание преемственной связи между революционерами разных поколений. В начале 60-х годов Герцен находил эти опасные тенденции в статьях Добролюбова «Что такое обломовщина?» и «Когда же придет настоящий день?». В конце 60-х годов он обнаружил их, перечитывая вышедшие в издательстве Ф. Павленкова «Сочинения Д. И. Писарева». В статье «Базаров» он увидел манифест разночинной демократии. «Да, это идеал всей ракальи нигилизма»,— пишет он. «Я их ненавижу — и желал бы осмеять. А что меня возмущает их неблагодарность ко всем прошедшим деятелям и в том числе и нам — это чувство верное, и его краснеть нечего» (Г. XXIX, 1, 352). Статья Писарева о «Что делать?» «Мыслящий пролетариат» («Новый тип») в павленковское издание не была пропущена цензурой, поэтому она осталась вне поля зрения Герцена.

Свой полемический замысел Герцен воплотил в цикле из двух писем «Еще раз Базаров» (1868). Этот цикл включил в себя в преобразованном виде и неосуществленный замысел статьи о «Что делать?» [48]. В герценовском цикле для нас особенно интересна мысль о взаимовлиянии общества и литературы, тем более что доказывает ее Герцен на примере не только «Отцов и детей», но и «Что делать?». Тургенев сумел уловить и изобразить существенные черты молодого поколения. Писарев «в Базарове узнал *себя* и *своих* и добавил, чего недоставало в книге». На Базарова он «перенес свой идеал», но это не был «его личный идеал, а тот идеал, который *до* тургеневского Базарова и *после него* носился в молодом поколении и воплощался не только в разных героев повестей и романов, но в живые лица, старавшиеся принять в основу действий и слов своих базаровщину» (Г. XX, 1, 335). То же случилось и с романом Чернышевского. По наблюдению Герцена, «русские молодые люди, приезжавшие после 1862, почти все были из „Что делать?“, с прибавлением нескольких базаровских черт» (Г. XX, 1, 337). Вот почему Герцен возлагает на Чернышевского ответственность за поведение «молодой эмиграции», говоря о его романе: «А вред он должен был принести немалый», и «зачатки зла также тут».

Цикл «Еще раз Базаров» помогает понять и другое высказывание Герцена о романе Чернышевского. В письме к Огареву от 8 августа 1867 г. он писал: «Да, и это, как гебертизм в 1794 году,— фаза, но и она должна пройти» (Г. XXIX, 1, 168). В обстоятельной работе Г. Н. Антоновой «Роман „Что делать?“ в оценке Герцена» дано подробное истолкование того смысла, которое Герцен мог вкладывать в эти слова. Сопоставление нигилизма как идеологии разночинной демократии с взглядами сторонников Ж. Эбера выявляет такие общие черты, как «непререкаемая, фанатическая вера в разум и волю личности» и вытекающий из этого «исторический субъективизм, недооценка закономерного объективного хода жизни» [49]. Все это было справедливо в приме-

нении к ряду представителей «молодой эмиграции», но не к Чернышевскому и Добролюбову, мировоззрение которых Герцен, по верному замечанию Г. Н. Антоновой, никогда не отождествлял с идеями «псевдонигилизма» [50]. Однако долю ответственности за крайности революционного движения 60-х годов Герцен все-таки на Чернышевского возлагал, что сказалось и на его оценке романа.

Признавая правильность этих выводов исследователя, хотелось бы обратить внимание на один из аспектов сопоставления Герценом нигилизма с гебертизмом как разновидностью революционной теории эпохи Великой французской революции. Это утверждение того, что нигилизм (который Герцен понимал широко и разносторонне) — лишь фаза в развитии революционного движения, и она должна пройти, как прошел период дворянской революционности. Эта мысль находит подтверждение в цикле «Еще раз Базаров», основная идея которого заключается в утверждении преемственной связи между революционерами разных поколений. Там Герцен пишет:

«Онегины и Печорины прошли.

Рудины и Бельтовы проходят.

Базаровы пройдут...

и даже очень скоро. Это слишком натянутый, школьный, взвинченный тип, чтоб ему долго удержаться» (Г. XX, 1, 340).

Подобную мысль Герцен развивал еще в статье «Лишние люди и желчевики», где утверждал: «Лишние люди сошли со сцены, за ними сойдут и *желчевики,* наиболее сердящиеся на лишних людей» (Г. XIV, 322). Герцен не понимал и не принимал этой враждебности одного поколения революционеров к другому и призывал «вместо того, чтобы стравлять Базарова с Рудиным, разобрать, в чем *красные нитки,* их связующие, и в чем причины их возникновений и их превращений? Почему именно эти формы развития вызвались нашей жизнью, и почему они так переходили одна в другую?» (Г. XX, 1, 341).

Проблема преемственности революционных поколений совершенно обойдена в романе Чернышевского, в то время как в произведениях других писателей о «новых людях» она была. Так, в романе Благовещенского «Перед рассветом» молодой бурсак пробуждается к сознательной жизни под влиянием передового человека 40-х годов Березина. На героя романа Омулевского «Шаг за шагом» Светлова огромное воздействие оказывают встречи с ссыльным декабристом Жилинским и его друзьями. По-видимому, Герцену в романе Чернышевского не хватало этой стороны. Среди положительных героев романа Чернышевского только один дворянин — Рахметов, и тот сформировался как революционер под влиянием кружка радикально настроенных разночинцев. Образ Рахметова никак не связан с проблемой преемственности поколений революционеров. Факт его дворянского происхождения должен был подчеркнуть просветительскую мысль о том, что «не весь дворянский класс абсолютно безнадежен» [51].

Высказывания Герцена дают мало материала для ответа на вопрос о его отношении к конкретному воплощению в «Что делать?» идеала социалистического будущего. Прямая оценка нам известна только одна. «Он оканчиваст фаланстером, борделью — смело»,— пишет Герцен о Чернышевском в письме к Огареву от 8 августа 1867 г. (Г. XXIX, 1, 16). Слова «что за проза в поэзии (сны Веры Пав‹ловны›)...» (Г. XXIX, 1, 16) относятся скорее к общему недовольству Герцена эстетикой романа, чем к его содержанию.

* * *

Несколько выступлений революционно-демократической критики было посвящено защите романа Чернышевского от нападок реакционных публицистов. Фельетон В. Курочкина «Проницательные читатели. (Из рассказов о старых людях)» («Искра», 1863, № 32, подпись: Пр. Знаменский) высмеивал грубую клеветническую статью Ф. М. Толстого (псевдоним *Ростислав*) в «Северной пчеле» «Лжемудрость героев г. Чернышевского». В начале фельетона автор, обращаясь к «простому, обыкновенному читателю», «не проницательному», коротко пзлагал свое понимание сути романа: «Разумеется, ты уже прочел этот роман, и я не буду рассказывать тебе его содержание. Ты знаешь, что здесь идет речь о том, как должны бы жить люди по-человечески, как они уже могут жить, как даже некоторые уже живут, как они сходятся друг с другом, как любят, не надоедая один другому и не насилуя страстей и привязанностей, как трудятся, сохраняя уважение к чужому труду, как из этого общего труда вытекает, как необходимое последствие, общее благоденствие, счастие» [52]. Курочкин разоблачает вздорные обвинения в адрес Чернышевского, и главное среди них — в насаждении безнравственности.

Г. З. Елисеев во «Внутреннем обозрении» «Современника», тоже в форме фельетона, отводит другой, прямо противоположный упрек в адрес Чернышевского — упрек в идеализации женщины. Говоря о женских типах в произведениях русских писателей, он с насмешкой пишет: «Положим еще, что все влюбленные люди сумасшедшие; с них много и взыскивать нельзя... Но наши поэты и романисты в этом случае ничуть не лучше их. Они вменяют себе в особенную честь и удовольствие, почитают верхом искусства изображать дев и женщин, которых не только нет, но и быть не может у нас при настоящем состоянии общества» [53]. Однако критики «не только не налагают узды на эти порывы, а, напротив, пришпоривают их. Все они помешаны на изыскании женских типов» [54]. Русская читающая публика легко прощает и тем и другим подобную идеализацию. «Мы не можем простить за поддержку общественной идеализации в этом случае, а следовательно, и за распространение бесчисленных иллюзий только автору романа „Что делать?“ г. Чернышевскому. Он так далеко пошел в идеализации женщин, как далеко у нас никто не заходил никогда» [55].

Обращаясь к четвертому сну Веры Павловны, Елисеев высмеивает примитивный, прагматический подход к условным сценам и образам романа. «Конечно, все это в абстракте мысли, в идеале фантазии прекрасно; но покорнейше прошу вас отыскать что-нибудь похожее на все это в действительности. <...> Конечно, г. Чернышевский с своей точки зрения прав. Он пишет роман будущего. <...> Теперь же... Да что теперь! Мы можем только махнуть рукой и сказать, что автор позволил себе самую чудовищную идеализацию для настоящего времени. Крепкому смыслу, трезвому взгляду она, конечно, и теперь может доставить большую пользу. Но мы, россияне, наклонные к идеальничанью от нашей юности, не извлечем из нее ничего поучительного для себя, напротив, будем почерпать здесь истинную пагубу для наших нравов и для нашей жизни» [56]. Все барышни-институтки вообразят себя «той известной царицей, которая воплощает в себе и Астарту, и Афродиту, и Непорочность», и влюбленные в них юноши в это поверят. Каков же будет их ужас, когда «на другой день после брака вместо неизвестной царицы» подле них «окажется известная русская Федора или Лукерья, которая вдобавок еще к тому будет и огрызаться. Такие бывают печальные последствия всех идеализаций!!» [57].

Таково было первое выступление «Современника» по поводу романа Чернышевского. Давать развернутые рецензии на произведения, опубликованные на своих страницах, было не принято. Как писал В. Курочкин по этому поводу, «ведь только одни „Московские ведомости" да разве еще автор „Капли" (Ф. Н. Глинка.— *И. В.*) сами хвалят свои сочинения» [58].

Среди статей, написанных в защиту романа «Что делать?» от нападок реакционной критики, представляет интерес работа П. А. Бибикова «Ревность животных. (По поводу неслыханного поступка Веры Павловны Лопуховой)», написанная в 1863 г., но напечатанная только в 1865 г. в составе книги Бибикова «Критические этюды» под номером четвертым [59] Бибиков полемизировал со статьей Ципринуса (псевдоним цензора О. А. Пржецлавского, автора известного цензурного отзыва о «Что делать?») «Промах в учении новых людей. (По поводу романа „Что делать?")», напечатанной в газете «Голос».

Бибиков не претендует на полный разбор романа. «Вся русская литература,— пишет он,— признала в нем доктрину *новых людей*; она даже с неслыханным единодушием и озлоблением напустилась на него, и разборы сделаны были со всех возможных точек зрения: философской, общественной, нравственной, гражданской, естественно-исторической, научной. Я немного мог бы сказать в этом отношении нового после „Московских ведомостей" и „Русского вестника", после „Голоса" и „Отечественных записок"» [60]. Из всех аспектов Бибиков избирает естественнонаучный и в спокойном тоне, аргументированно демонстрирует несостоятельность научных представлений оппонентов Чернышевского. Сосредоточившись как будто на частном вопросе: существует ли

ревность в животном мире, Бибиков, следуя за Чернышевским, проводит в жизнь передовые взгляды на взаимоотношения полов. Сравнивая ревность в животном мире и в человеческом обществе, он пишет: «В животных чувство это весьма схоже по аналогии с голодом, и ревность их мы могли бы даже без всякой натяжки назвать *половым голодом*. В человеке это чувство ближе всего по сходству своему с чувством собственности, владения, и мы с не меньшим правом могли бы назвать чувство человеческой ревности *чувством обладания женщиною как вещью, как собственностью*» [61]. Отсюда следует, что «человеческая ревность могла быть только следствием порабощения одного пола другим» [62].

Против этого порабощения и восстали герои Чернышевского, которых реакционная критика совершенно напрасно обвинила в безнравственности и в стремлении подорвать основы брака, заменив его полигамией. «Если исчезновение со сцены Лопухова бессмысленно и безнравственно,— говорит Бибиков,— то действительно оставалось только *жить втроем*» [63]. Однако своими поступками все три героя романа выбирают решение в пользу моногамии.

К аналогичному выводу приходит и анонимный автор запрещенной статьи, предназначавшейся для газеты «Народное богатство» и также полемизировавшей с «Голосом»: «Автору экономических вопросов в „Голосе“ показалось, что в романе „Что делать?“ проповедуется полигамия, или многобрачие во всех его видах, а нам кажется, что там на подобного рода отношения нет и намека». Статья эта носила название «Экономические вопросы» и была обращена к «чисто экономической стороне романа» [64], но, к сожалению, сохранилась лишь ее вступительная часть.

В предисловии к заграничному изданию «Что делать?» Н. Я. Николадзе рассматривает только одну проблему — место «новых людей» Чернышевского среди других положительных героев русской литературы XIX в. Признав чисто человеческую несостоятельность «более или менее верно схваченных и обрисованных лучшими нашими писателями» [65] типов, он решительно противопоставляет им героев Чернышевского, в характерах которых подчеркивает активное, действенное начало. «Эти люди не пленяют публику красноречивыми фразами, не сокрушаются о всезаедающей среде, не подчиняются ей, сложа руки, не ломают лбов, борясь против призраков и более или менее действительных затруднений, и не кончают мрачным или же плаксивым разочарованием». Противостояние среде действительно является важнейшим свойством характеров положительных героев Чернышевского.

Николадзе справедливо отмечает преобразующее влияние «новых людей» на современную жизнь, которая «не только оставляет их в покое, но начинает мало-помалу поддаваться им, начинает сообразовываться с их требованиями, строиться по их началам». Вместе с Чернышевским он верит, что «настанет время, когда она наконец сделается такою, какою они мечтали видеть ее,

вступая в нее» [66]. Однако для бесцензурного издания проблема была поставлена и решена слишком робко. Цель Лопуховых и Кирсановых объяснена следующим образом: «Не зависеть от других, не сидеть на чужой шее и не терпеть, чтобы другие взбирались на нее, сохранять свое человеческое достоинство, добиться такого порядка вещей, при котором бы все могли жить таким же образом,— вот и все. И средство у них весьма простое: развитие» [67]. Ни слова о Рахметове, о революционных путях преобразования жизни.

Рассмотренные отзывы революционно-демократической критики о романе «Что делать?» в глазах современников не складывались в общую картину, так как многие из них были просто недоступны читателю. Это относится и к последнему по времени отклику — к запрещенной цензурой второй части статьи Н. В. Шелгунова «Русские идеалы, герои и типы» (1868). Исходная позиция у Шелгунова та же, что и у Николадзе. Так же нигилистически отвергнув положительных героев Пушкина, Лермонтова, Тургенева, на произведениях которых «воспитывались целые поколения» и которые, по его мнению, «конечно способствовали не мало понижению уровня общественного интеллекта», Шелгунов заявлял: «С этим надо было ⟨п⟩окончить; надо было дать обществу новые идеалы и новые типы; надо было сделать из романа руководящую общественную силу, и такое значение он получил со времени появления романа „Что делать?“, в котором вопросы жизни получают более серьезное и широкое приложение и вместо праздных шаловливых болтунов являются люди серьезные, сознательно преследующие известные, положительные цели» [68]. В отличие от Николадзе, Шелгунов довольно решительно оспорил авторские установки Чернышевского. Первой под огонь его критики попала Вера Павловна, которую он исключил из числа «новых людей» на том основании, что она «обрисована существом, не способным встать с мужчиною в равноправные отношения». Вера Павловна, по мнению Шелгунова, «не больше, как честная, хорошая личность, но натура слабая и потому вовсе не способная идти во главе какого бы то ни было движения, натура, вечно нуждающаяся в покровителях и руководителях» [69]. Критик клеймит Веру Павловну за все ее женские слабости, сибаритство («она валяется и нежится в своей теплой мягкой постельке, пьет, валяясь, сливки и ест печенье со сливками» [70]), за стремление обрести счастье в любви. «Из того, что Вера Павловна по преимуществу благодушествовала и утешалась жизнью, нужно заключить, что она далеко еще не принадлежит к новым людям, а составляет только переход к ним»,— выносит свой приговор Шелгунов [71]. В пример Вере Павловне он ставит простую женщину, воспитание и жизнь которой рассчитаны не на любовь, а на труд.

Не менее сурово обошелся критик и с Рахметовым, усмотрев в его характере множество противоречий. «Рахметов — человек принципа, а не цельная натура»,— утверждает Шелгунов [72]. Не-

смотря на все старания слиться с народом, он не может избавиться от печати своего барского происхождения. Но Шелгунов признает в Рахметове тип передового человека и видит его силу в том, что «вся жизнь его строго рассчитана на дело и на труд». Все приданные автором Рахметову яркие индивидуальные черты критик называет «драпировками, в которые завертывается Рахметов». Они «хороши для того, чтобы поставить его на пьедестал героя», но именно они-то «и мешают назидательности общественного влияния Рахметова».

Шелгунов хочет упростить Рахметова, сделать из «особенного» человека человека массы. «Откинув эти специальные черты в образе Рахметова, обусловленные его социальным и экономическим положением,— говорит он,— мы хотим отыскать в нем черты общие, доступные всем, и находим их в тех экономических принципах, которые он исповедует». Эти принципы, или, иначе, «экономизм», Рахметова критик видит в том, что он «не делает ничего без пользы». Но рационализм Рахметова понят Шелгуновым очень узко и фактически приравнен к буржуазному делячеству. «Весь Североамериканский союз состоит из таких деловых и дельных людей, старающихся доказать всею своею практикою, что время — деньги». Только потому, считает Шелгунов, что Чернышевский «не слишком веровал в силы русского человека», «Вера Павловна у него вышла представительницей новых людей, а Рахметов каким-то титаном, не похожим на обыкновенных смертных» [73]. Шелгунов делает скидку на «момент энтузиазма», в который Чернышевский создавал своих героев. «...Иначе в то время быть не могло» [74], Чернышевский не погрешил против правды жизни. Теперь времена изменились. «...Рахметовский тип, может быть и действительно титанический для поколения предшествовавшего, для поколения нового — штука очень простая» [75]. Однако, если это так, к чему призыв Шелгунова упростить Рахметова, чтобы он мог стать образцом для подражания современному поколению борцов за лучшую жизнь? Критик заявляет, что «простых людей, принципы и поведение которых должны создать со временем наше русское счастие», он видит «не в Вере Павловне и Лопухове, а в упрощенном Рахметове» [76].

Реакция 60-х годов, разброд в среде революционной демократии после разгрома революционных сил, поиски новых путей борьбы наложили сильный отпечаток на выступление Шелгунова по поводу романа «Что делать?». Его пафос — дегероизация. «Ошибка романистов, которой не избегнул и автор романа «Что делать?»,— считает он,— заключалась в том, что они рисовали вечно героев, а не простых смертных» [77]. Его призыв — «наконец покончить нам с нашим периодом героев и начать в литературе период коллективного, социального человека» [78]. Публикатор запрещенной части статьи «Русские идеалы, герои и типы» А. Шилов высказал предположение, что «идеал коллективного, простого, будничного героя Шелгунов видел в героях романов Шеллера-Михайлова, Бажина и других беллетристов журнала „Дело“» [79].

Статья Шелгунова является свидетельством того, как время деформировало представления определенной части революционной демократии, продолжавшей свою деятельность в конце 60-х годов. Она говорит также о том, что роман «Что делать?» по-прежнему оставался активным участником сложной идеологической борьбы, непрекращающихся поисков правильных революционных путей.

[1] *Вердеревская Н. А.* Становление типа разночинца в русской литературе 40–60-х годов XIX века. Казань, 1975. С. 62.

[2] *Писарев Д. И.* Роман кисейной девушки // Писарев Д. И. Собр. соч.: В 4 т. М., 1956. Т. 3. С. 185.

[3] *Вердеревская Н. А.* Указ. соч. С. 73.

[4] Из письма Тургенева к К. К. Случевскому от 14(26) апреля 1862 г. // Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Письма. М.; Л., 1962. Т. 4. С. 381.

[5] Там же. С. 380.

[6] Там же. С. 381.

[7] См. об этом в примеч. А. И. Батюто к роману «Отцы и дети» в Полном собрании сочинений И. С. Тургенева (М., 1981. Т. 7. С. 436–440).

[8] *Ростислав.* Лжемудрость героев г. Чернышевского // Сев. пчела. 1863. № 138. 27 мая. С. 551.

[9] Отеч. зап. 1863. № 10. С. 55.

[10] *Салтыков-Щедрин М. Е.* Собр. соч.: В 20 т. М., 1968. Т. 6. С. 232. Далее ссылки на это изд. даются в тексте с добавлением буквы Щ.

[11] Рус. слово. 1864. № 2. С. 39.

[12] *Рейфман П. С.* Щедрин и Чернышевский (по материалам хроник «Наша общественная жизнь») // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. Вып. 209: Тр. по рус. и слав. филологии. XI. Литературоведение. Тарту, 1968. С. 115.

[13] *Кузнецов Ф.* Нигилисты? Д. И. Писарев и журнал «Русское слово». М., 1983. С. 432.

[14] Подробно об очерке «Каплуны», его цензурной истории, двух редакциях, отношении к нему Чернышевского см.: Лит. наследство. Т. 67. М., 1959. С. 315–326.

[15] *Мысляков В. А.* Герцен и Щедрин: идейно-творческие параллели // Рус. лит. 1987. № 4. С. 85.

[16] Сев. пчела. 1863. № 138. 27 мая. С. 551.

[17] *Кузнецов Ф.* Указ. соч. С. 449.

[18] Там же. С. 448.

[19] *Покусаев Е.* Н. Г. Чернышевский и М. Е. Салтыков-Щедрин // Учен. зап. Саратов. гос. ун-та. 1948. Т. XIX. С. 90.

[20] *Шаховской Н.* Две цензуры // Рус. архив. 1897. № 2. С. 336.

[21] *Писарев Д. И.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1955. Т. 2. С. 380. Далее ссылки на это издание даются в тексте с добавлением буквы П.

[22] Там же. С. 393.

[23] См. об этом в примеч. к т. 4. Сочинений Д. И. Писарева. С. 432.

[24] Еще в статье «Мотивы русской драмы» Писарев замечал: «Сначала были светлые личности, стоявшие совершенно одиноко (...); теперь, испытавши по дороге много видоизменений, одинокая личность русского прогрессиста разрослась в целый тип, который нашел уже себе свое выражение в литературе и который называется или Базаровым, или Лопуховым» (Т. 2. С. 393–394).

[25] Современник. 1865. № 8. С. 316.

[26] Там же. С. 320.

[27] Там же. С. 317.

[28] Учен. зап. Даугавпилс. гос. пед. ин-та. IV. Сер. гуманитарных наук. Вып. 3. 1959. С. 137.

[29] *Тамарченко Гр.* Романы Н. Г. Чернышевского. Саратов, 1954. С. 143.

[30] *Крамаренко-Невельштейн М. П.* Борьба вокруг романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?» в литературной критике 60-х гг. // Учен. зап. Даугавпилс. гос. пед. ин-та. IV. Сер. гуманитарных наук. Вып. 3. 1959. С. 159.

[31] Там же. С. 160.
[32] Там же. С. 159.
[33] Там же. С. 161.
[34] *Кузнецов Ф.* Указ. соч. С. 365.
[35] *Николаев П. А.* Роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?» и общественно-литературная борьба в России середины XIX в. // Революционные демократы и русская литература XIX века. М., 1986. С. 215.
[36] *Гуральник У. А.* Д. И. Писарев и современная ему русская литература // Революционные демократы и русская литература XIX века. М., 1986. С. 272.
[37] Там же.
[38] См., напр.: *Антонова Г. Н.* Роман «Что делать?» в оценке Герцена // Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. Саратов, 1983. Вып. 9. С. 58.
[39] См. письмо А. И. Герцена к А. А. Герцену от 20 мая 1863 г. (Г. XXVII, 1, 327–328).
[40] *Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. Т. 29, кн. 1. С. 160. Далее ссылки на это издание даются в тексте с добавлением буквы Г.
[41] Лит. наследство. М., 1955. Т. 62. С. 680.
[42] Там же.
[43] *Чернышевский Н. Г.* Что делать? Изд. М. Элпидина и К°. Vevey, 1867. С. III.
[44] *Антонова Г. Н.* Указ. соч. С. 59.
[45] Там же. С. 63.
[46] *Ленин В. И.* О литературе и искусстве. 3-е изд. М., 1967. С. 655.
[47] Летопись жизни и творчества А. И. Герцена. Июль 1864–1867. (автор – С. Д. Гурвич-Лищинер). М., 1987. С. 458 (где текст уточнен по сравнению с т. 29 Собр. соч. Герцена в 30 т.).
[48] См. об этом: Летопись жизни и творчества А. И. Герцена. Июль 1864–1867. С. 457.
[49] *Антонова Г. Н.* Указ. соч. С. 61.
[50] Там же. С. 62.
[51] *Ипполит И. К.* Политический роман 60-х годов: (Тургенев и Чернышевский) // Литература и марксизм. 1931. Кн. 1. С. 59.
[52] *Курочкин В.* Стихотворения. Статьи. Фельетоны. М., 1957. С. 582–583.
[53] Современник. 1863. № 10. С. 398–399.
[54] Там же. С. 399.
[55] Там же.
[56] Там же. С. 402, 403.
[57] Там же. С. 403.
[58] *Курочкин Вас.* Указ. соч. С. 587.
[59] Подробно о П. А. Бибикове и его книге см.: *Громов В. А.* П. А. Бибиков – ученик и последователь Чернышевского // Н. Г. Чернышевский. Эстетика. Литература. Критика. Л., 1979. С. 330–348.
[60] *Бибиков П. А.* Критические этюды. 1859–1865. С.– Пб., 1865. С. 153.
[61] Там же. С. 167.
[62] Там же. С. 171.
[63] Там же. С. 182.
[64] Лит. наследство. М., 1959. Т. 67. С. 136.
[65] *Чернышевский Н. Г.* Что делать? Изд. М. Элпидина и К° С. II.
[66] Там же. С. III.
[67] Там же.
[68] Шестидесятые годы: Материалы по истории литературы и общественному движению. М.; Л., 1940. С. 175.
[69] Там же. С. 177.
[70] Там же. С. 178.
[71] Там же. С. 179.
[72] Там же. С. 180.
[73] Там же. С. 183.
[74] Там же. С. 185.
[75] Там же. С. 184.
[76] Там же. С. 185.
[77] Там же. С. 184.
[78] Там же. С. 185.
[79] Там же. С. 174.

В. Ю. Троицкий

ИДЕЙНО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ БОРЬБА ВОКРУГ РОМАНА Н. Г ЧЕРНЫШЕВСКОГО «ЧТО ДЕЛАТЬ?» (Н. Г. Чернышевский, Н. С. Лесков, И. А. Гончаров)

1

Идейно-эстетическое значение выдающихся произведений литературы определяется не только их влиянием на сознание читателей, но и мощным воздействием на литературный процесс в целом. Это воздействие ощущается не во всем с одинаковой отчетливостью. Нередко его последствия недооцениваются или даже тенденциозно замалчиваются, наконец, как бы забываются, оттесненные другими, новыми литературными впечатлениями. Тем не менее «память» литературы вновь и вновь возвращается к художественным явлениям, внесшим в сознание современников и потомков нечто значительное, заставляющее по-иному взглянуть на действительность, заново, по-новому задуматься о месте и назначении человека в мире и о смысле жизни, об этих вечных вопросах, стоящих перед мыслящими людьми. Обретая под воздействием новых художественных открытий иной взгляд на окружающее или в споре с ним утверждая нечто ему противоположное, литература в известных отношениях поднимается на новую ступень художественного мышления. Между тем каждое мнение, каждая идейно-художественная позиция из сталкивающихся в идейно-эстетическом споре содержит не только ряд качественно новых позитивных представлений, но под влиянием конкретных исторических обстоятельств утрачивает в полемике нечто из накопленных ранее художественных ценностей. Обретения и утраты идейно-эстетической полемики оказываются, как правило, достаточно долговременными, и общественное и литературное сознание долго испытывают последствия этого.

Одним из самых ярких примеров такого рода полемики явилась история борьбы вокруг романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?», произведения, оставившего неизгладимый след в идейно-художественном развитии русской литературы.

Роман Н. Г. Чернышевского заключал в себе концепцию, отражающую принципиальные взгляды на сущность социальных и этических отношений, а также на ход общественного развития. Вместе с тем он был своеобразным отзывом на целый ряд концептуальных вопросов, уже обсуждавшихся современниками, в частности на те, которые были открыты (или наиболее явственно выражены) тургеневскими «Отцами и детьми». Как известно, философско-публицистический и социально-утопический роман

© В. Ю. Троицкий, 1990

Н. Г. Чернышевского современники считали как бы полемическим ответом Тургеневу.

Тургеневский роман был не только литературным, но и значительнейшим общественным явлением. «Я не запомню,— писала А. Я. Панаева,— чтобы какое-нибудь литературное произведение наделало столько шуму и возбудило столько разговоров, как повесть Тургенева „Отцы и дети“ Можно положительно сказать, что „Отцы и дети“ были прочитаны даже такими людьми, которые со школьной скамьи не брали книги в руки» [1] Общественный резонанс произведения сразу признали современники. «Ему, этому роману, суждено иметь огромное влияние на положение литературных партий...» — писали «Отечественные записки», отмечая сложившуюся в литературе «полемическую ситуацию» [2]. «... Новый роман г. Тургенева при своем общем художественном значении имеет еще значение непосредственно действующей силы»,— заявлял катковский «Русский вестник», указывая, что это произведение, словно взятое из текущей жизни, «снова входит в нее и производит во все стороны практическое действие, какое едва ли когда производило у нас литературное произведение. Рампа исчезла, актеры и зрители смешались... произведенное им действие, явления, которые он вызвал,— как будто глава в нем, как будто эпилог к нему» [3]. «... Весь наш читающий мир потрясся от романа „Отцы и дети“ и весь заговорил» [4].

Коренными вопросами, волновавшими современников, остро поставленными в тургеневском романе, были вопросы о преемственности поколений, об отношении к народу, к культурному наследию прошлого, о новых путях практической деятельности. И все эти вопросы, как в фокусе, сходились в том, каким представлялся мысленному взору герой нового времени.

«К 50-м годам уже ясно обнаруживается процесс вырождения „лишнего человека“, ранее воплощавшего в себе прогрессивное, протестующее начало» [5]. Вместе с тем время вытеснения дворян разночинцами в освободительном движении определяло иные взгляды на многие исторические явления, на свойства личности, наконец, на эстетические вкусы, на всю систему культурных ценностей. Причем «проблемы чисто эстетические приобретали актуальное политическое значение, острый идеологический характер; как бы извлеченные из текста и времени литературные персонажи стали играть роль политических категорий, которыми пользовались оппоненты, не имея возможности называть вещи своими именами. Вопрос шел о смене поколений, ломке традиций; поэтому страсти накалялись, преувеличения и крайности характеризовали позиции участников полемики» [6] Происходили «странные» смещения акцентов спора: его участники зачастую как бы создавали свой образ героя и, опираясь на свое толкование этого образа, вели яростную войну с противниками, которым также был свойствен известный субъективизм восприятия или, по крайней мере, свой ракурс видения тех или иных явлений. В этой полемике зачастую происходила невольная, а иногда тенденциозная

трансформация действительного образа героя, который во всей полноте мог быть понят и осмыслен лишь в цельном контексте художественного произведения при его глубоко вдумчивом рассмотрении.

Такое вдумчивое рассмотрение, «вчувствование» представлялось почти невероятным в той исторической ситуации, когда острые классовые столкновения порождали бескомпромиссные суждения и оценки, когда революционно-демократической критикой был уже вполне определенно поставлен вопрос о необходимости новых взглядов на все «привычные» проблемы, новых людей, общественных деятелей, защитников угнетенного народа, сфера интересов которых прежде всего практическая «жизнь», такая деятельность, которая (это особенно категорично выразил Д. Писарев) целеустремленно озадачена «заботой о безотлагательном решении самого главного для человека, поистине проклятого вопроса о голодных и раздетых людях» [7]. В это время слово «деятель» стало все чаще означать «общественный деятель», убеждением становилась добролюбовская мысль: «Теперь уже настало или настает неотлагательное время работы общественной» [8].

В этой атмосфере бескомпромиссного общественного утилитаризма казалось ненужным, несущественным, а иногда и вредным все то, что «не работает» на непосредственные практические цели. Нельзя забывать, что бескомпромиссность убеждений считалась в то время едва ли не основой нравственности. Страстная целеустремленность к благу народному, цели высокой и достойной, всемерно укрепляла этот утилитаризм, придавала ему силу нравственного закона. Тут и происходили иногда незаметные смещения в сфере духовности. Эти смещения зачастую приводили к тому, что непреходящие духовные ценности, не обнаруживающие при поверхностном рассмотрении непосредственной материальной пользы, непосредственной практической надобности для решения утилитарных запросов «текущего момента», эти духовные ценности приравнивались к историческим предрассудкам и ими пренебрегали и даже открыто демонстрировали это пренебрежение. Так образовывались смещения в массовом культурном сознании, которые затем многократным эхом отзовутся в жизни многих поколений и приведут к трудновосполнимым утратам духовности, культуры, всей гуманитарной сферы человеческого бытия. Опасность такого рода мироотношения нелегко было осознать. Именно литература давала основания для серьезных размышлений по этому поводу, и первой ласточкой этого сознания явился тургеневский роман «Отцы и дети».

Портрет героя был дан рядом мастерски схваченных деталей. Даже базаровский длинный балахон с кистями — словно вызов моде, и рабочая красная рука человека, не привыкшего к тому, чтобы холить свое тело, и спокойное лицо, выражающее убежденность и ум, и даже длинные волосы как некий признак неподчиненности стандартной, «официальной», «предписанной» общественным мнением внешности, волосы, о которых не раз (и не слу-

чайно!) упоминается в романе (Павел Петрович так и называет Базарова — «волосатый»).

Вызов традиционным установлениям как принцип поведения, как открытое выражение протеста был характернейшей чертой, известного рода стереотипом поведения значительной части демократически настроенной молодежи 60-х годов. О подобного рода «освободительных действиях» немало свидетельств в воспоминаниях современников. Так, в студенческих воспоминаниях А. М. Скабичевского читаем:

В один прекрасный день студенты толпой человек в двести собрались перед дверью коридора и потребовали, чтобы дверь была отперта и не запиралась в течение всего дня. Когда же сторож запротестовал, его прогнали, дверь выломали...

Затем последовала вторая победа: студенты начали курить в стенах университета, и, когда начальство в лице инспектора и его помощника было воспротивилось такой вольности, ему отвечали:

– Мы не дети и не школяры...

О ношении трехуголок и шпаг начальство уже и не заикалось: их сдали в архив даже франты беложилетники, любители униформ. Вместе с тем начали появляться в университете студенты с косматыми гривами и усами. Я помню одного товарища по факультету, который, отрастив роскошные усы, клялся, что он готов голову дать на отсечение, а усов ни за что не сбреет.

– Ну, а если вас выключат их университета?– возражали ему,– неужели из-за усов вы пожертвуете высшим образованием?

– Ну-ка пусть попробуют. Я тогда на всю Россию крик подниму [9].

Эти и многие другие подобного рода примеры поведения не несли в себе сколько-нибудь серьезной и разумной основательности (и дверь, вероятно, была на месте, и закрывать ее имело смысл, и курение приносило безусловный вред и т. д.), но эти акции были существенны как форма протеста, как проявление вольномыслия и утверждение права на независимое мнение, на личную свободу через отрицание привычных форм, установлений, правил, инструкций, законов. Всякое сдерживание или осуждение их даже неосновательных и даже вредных (со стороны утилитарной пользы и здравого смысла) поступков воспринималось обычно как реакция, как выступление в защиту сложившихся общественных данностей. Тургенев был первым, кто языком художественных образов заговорил о внутренней противоречивости, сложности поведения поднимающихся к жизни прогрессивных сил. Это и стало причиной ожесточенной полемики вокруг «Отцов и детей», а позже отозвалось в спорах вокруг романа Чернышевского «Что делать?».

Как известно, журнальные битвы вокруг тургеневского романа развернулись после опубликования в «Современнике» статьи М. А. Антоновича «Асмодей нашего времени», резко осуждавшей тургеневское произведение как совершенно неудовлетворительное в художественном отношении, ибо в нем «нет ни одного живого лица и живой души». Тургенев, по словам критика, не сумел определить своей задачи и вместо изображения отношений между «отцами» и «детьми» написал панегирик «отцам» и обличение «детям», создал произведение, являющееся клеветой на моло-

дежь, где Базаров выступал карикатурой на молодое поколение, чудищем «с крошечной головкой и гигантским ртом, с маленьким лицом и пребольшим носом» [10].

Статья Антоновича была ярким выражением крайней политической тенденции, определявшейся защитой революционно-демократических идей и идеалов. Эти-то идеалы, вера в которые одухотворяла многих демократически настроенных разночинцев, вызывали непонимание или скептическое отношение другой партии спорящих, выдвигавших на первый план защиту сложившихся социальных отношений, а в связи с этим — проблему гуманитарной стабильности в целом, основанную на утверждении в современную эпоху «вечных ценностей», сложившихся культурных традиций, культурного наследия прошлого в его отношении к духовности и к поискам «смысла жизни».

Противники тургеневского героя стремились увидеть в нем прежде всего злобного разрушителя всех прежних установлений. Такого рода представления несколько позже поддержал и Н. Г. Чернышевский, косвенно выразив тем самым свое отношение к роману: «Что это за лица — похудалые, зеленые, с блуждающими глазами, с искривленными злобной улыбкой ненависти устами, с немытыми руками, с скверными сигарами в зубах? Это — нигилисты, изображенные г. Тургеневым в романе „Отцы и дети“ Эти небритые, нечесаные юноши отвергают все: отвергают картины, статуи, скрипку и смычок, оперу, театр, женскую красоту,— все, все отвергают и прямо так и рекомендуют себя: мы, дескать, нигилисты, все отрицаем и разрушаем» (X, 185).

Напомним, что значительная часть молодежи не признавала Базарова «своим». Однако прогрессивная общественность не была единодушна. Ведь базаровское credo было чрезвычайно близко некоторым из идеологов революционно-демократического направления, тем, кто стремился направить молодое поколение «на мысль о необходимости подвергнуть тщательному и смелому пересмотру существующие формы, освященные веками и потому подернувшиеся вековой плесенью» [11].

Д. Писарев подошел к герою Тургенева как к явлению противоречивому, но вместе с тем жизненному и, более того, отвечающему современным требованиям. «Роман Тургенева,— утверждал Писарев,— кроме своей художественной красоты замечателен еще тем, что он шевелит ум, наводит на размышления... именно потому, что весь насквозь проникнут самою полною, самою трогательною искренностью. Все, что написано в последнем романе Тургенева, прочувствовано до последней строки; чувство это прорывается помимо воли и сознания самого автора и согревает *объективный* рассказ» [12] (Курсив мой.— *В. Т.*).

Итак, Писарев отмечает *объективность* рассказа (кстати сказать, совершенно вопреки Антоновичу, считавшему тургеневский роман лишь выражением симпатий и антипатий автора), и потому естественно полагать, что и герой воспринимается им как *объективно* воссозданный и — в этом смысле — *закономерный*.

Между тем Писарев утверждал: «... не хочу сказать, чтобы в романе Тургенева идеи и стремления молодого поколения отразились так, как понимает их само молодое поколение... Читая роман Тургенева, мы видим в нем типы настоящей минуты и в то же время отдаем себе отчет в тех изменениях, которые испытали явления действительности, проходя через сознание художника» [13]. Признавая тургеневского героя центром романа, Писарев заметил, что «Тургенев — чужой в отношении к *людям нового типа*; он мог наблюдать их только издали и отличать только те стороны, которые обнаруживают эти люди, приходя в столкновение *с людьми другого закала*. Базаров является один *в* таком *кругу, который вовсе не соответствует его умственным способностям*» [14] (курсив мой.— *В. Т.*).

Интересно, что в этом суждении Д. Писарева как бы косвенно поставлена задача, по его мнению, Тургеневым не выполненная: «показать людей нового типа» вблизи и в столкновении с людьми своего круга. Именно эту задачу решал Н. Г. Чернышевский, создавая образы «новых людей» прежде всего в среде им родственной, хотя и не избегая их сравнения и со средой, не соответствующей их умственному уровню (Марья Алексеевна Розальская, Сторешниковы, Жюли и др.), а также с людьми, превосходящими их в духовно-интеллектуальном и даже в физическом отношении (Рахметов). Таким образом, уже в спорах об «отцах и детях» прорисовывались контуры будущей полемики вокруг романа, который еще не был написан, но уже как бы предвиделся, предполагался подспудно современной критикой.

Продолжая рассуждать о Базарове, Д. Писарев называет Базарова «человеком дела», «человеком, привыкшим надеяться на себя и на свои собственные силы». Чернышевский уже в самом заглавии романа ставит вопрос «что делать?» и характеризует своих «новых людей» Кирсанова и Лопухова так: «Оба рано привыкли пробивать себе дорогу своей грудью, оба не имели никакой опоры и поддержки ни в ком, кроме самих себя» (XI, 21). Таким образом, и здесь (а примеры можно множить) как бы протягивается нить от писаревского понимания (и толкования) тургеневского Базарова к тому, как понимал своих «новых людей» Н. Г. Чернышевский.

Люди, подобные тургеневскому герою, утверждал Писарев, полны «своею внутреннею жизнью и не стесняют ее в угоду принятым обычаям и церемониалам» [15]. Это чувство протеста проявляется и в том, что они, к сожалению, неразборчиво, сплеча отрицают вещи, которых не знают и не понимают, и в том, что они стоят «на холодной высоте трезвой мысли», поглощены работой над собой и замкнуты, и это потому, что окружающие их, как правило, «ничтожны в умственном отношении» [16]. Заметим, что в этой характеристике чрезвычайно много сходного с чертами «новых людей». Пожалуй, лишь одна черта («отрицают вещи, которых не знают») открыто не подходит к ним.

В писаревской характеристике Базарова прослеживаются также и ростки того самого «разумного эгоизма», который исповедуют герои Н. Г. Чернышевского: ведь критик отмечает как характерную черту базаровых трезвость («разумность») и наполненность своего внутреннего мира жизнью, отсутствие щепетильной стеснительности «в угоду принятым обычаям» («эгоизм»). Вместе с тем герои Н. Г. Чернышевского отнюдь не совпадают с Базаровым, их предшественником и антиподом одновременно.

Тургенев не без оснований подчеркивал в поведении Базарова воинствующий утилитаризм. Все, что не предвещает непосредственно, практически, материально ощутимые результаты, Базаров считает делом бесполезным. Эту точку зрения он высказывает вполне определенно: «... а потом мы догадались, что болтать, все только болтать о наших язвах не стоит труда... что мы занимаемся вздором, толкуем о каком-то искусстве, бессознательном творчестве, о парламентаризме, об адвокатуре и черт знает о чем, когда дело идет о насущном хлебе...» Нужно признать, что это отнюдь не только слова, сказанные в запальчивости, здесь — корень того махрового утилитаризма, который гораздо позже расцветет полным цветом и приведет разными путями к отрицанию «разговоров о язвах», т. е., по существу, к отрицанию постоянной гласности, к пренебрежительному отношению к культурному наследию, разрушению памятников, замене юриспруденции диктатурой «друзей народа», «слуг народа» и т. д., ко всему тому, что, увы, свершалось в нашей истории.

Чернышевский значительно умерил нигилистический пафос своих героев, больше того, он представил их людьми вполне цивилизованными, т. е. признающими культурные традиции в поведении, отношении к духовному наследию прошлого и т. д. Мы должны будем признать, что его герои не показались бы «дикарями» даже отстаивающему формально-аристократические «принсипы» Павлу Петровичу Кирсанову. Дело в том, что общечеловеческие нормы отношений, правил общественного поведения и т. д. герои Чернышевского не только выполняют, но даже иногда подчеркивают свою приверженность к такого рода традициям. Они не будут, как Базаров, проявлять невнимание, невежливость, грубость по отношению к людям старшим или даже идейно чуждым им, и хотя могут не соглашаться и даже в иных случаях противодействовать им, но выразят это противодействие, как правило, вполне цивилизованным образом. Это оказывается существенным и меняет формы их конфликтов с противостоящими им по взглядам социальными силами. Это изменение формы конфликта неизбежно означает и несколько иное содержание. Базаров грубит, перебивает, демонстрирует презрение, непризнание, игнорирует мнения, по существу часто подменяя тему спора или предмет обсуждения.

Базаров борется с предрассудками, со старыми привычками, с темнотой, невежеством, лицемерием со всею возможной бескомпромиссностью. Он все время «дерется», произнося парадоксаль-

ные суждения с резкостью и несокрушимой задиристостью: «порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта», «природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник», «мы действуем в силу того, что мы признаем полезным» и т. д. И все эти суждения очень далеки от полной истины, а в целом попросту невежественны и ложны.

«Новые люди» Н. Г Чернышевского подчеркнуто вежливы, внимательны, снисходительны к недостаткам окружающих (хотя замечательно различают черное и белое, зло и добро, хорошее и плохое), прислушиваются к мнениям, споры ведут корректно и т. д. Короче, они находятся в пределах общечеловеческой этики и уже поэтому имеют возможность не превращать свое существование в обнаженный и непрерывающийся конфликт с обществом, а «жить обыкновенной бытовой жизнью», т. е. как все люди, радоваться человеческим радостям, горевать человеческими горестями, и в этом смысле они обыкновенные люди. Но только в этом смысле. В отношении к жизни, к себе и всем тем, с кем они имеют дело, эти герои думают и поступают по-новому. И в этом отношении они действительно новые люди, утверждающие новые идеи. Эти идеи утверждаются прежде всего их поведением, в основе которого лежит вера в разум человеческий, последняя возможная вера для человека, привыкшего только лишь «надеяться на себя и на свои собственные силы». Это, по существу, была вожделенная возможность страстного порыва к добру, порыва, одухотворенного надеждой на успех, на справедливость и гуманность своих стремлений и заразительную, всепобеждающую силу человеческого разума, в который они верили так, как верили прежде религиозные фанатики в единственно истинное божественное откровение... Между тем, не отрицая силу традиций, непосредственно не освященных мыслью, «новые люди» все же оказывались в плену у разума, ибо недооценивали закономерные факторы развития: традиции истории, генетику социального поведения, антропологическую предрасположенность к целому ряду интуитивных черт человеческого бытия, определяющую отчасти сам характер и уровень мышления.

Утопизм романа Н. Г. Чернышевского состоял вовсе не в том, что фантастические картины будущего материального благополучия виделись ему в образах алюминиевых дворцов, а в том, что теоретический разум, а не практика социальных отношений был основой, на которой возводились писателем новые формы общественного бытия, как бы отставленные от власти прежних традиций и привычек в силу органических закономерностей развития человека и общества. Между тем эти традиции и закономерности обеспечивали комплекс условий, контекст жизни, который невозможно заменить никакими вновь искусственно установленными нормами отношений, ибо из сферы человеческих отношений, сводимых здесь к разумному, рациональному поведению, были, по существу, изъяты многие духовные традиции.

Мы имеем в виду область человеческих представлений и эмо-

ций, которая, говоря словами К. Маркса, «лежит по ту сторону сферы собственно материального производства» [17], мы рассматриваем духовность как способность внепрагматического, незаинтересованного стремления к добру и красоте в жизни, непроизвольное, неосознанное и столь же внепрагматическое, «незаинтересованное» стремление к этому и ощущение общего органического удовлетворения от такого стремления. Все это в той или иной степени было присуще людям, опирающимся на религиозный опыт и народные традиции, и эта часть общества составляла соль земли, благодаря которой поддерживался в нем уровень человеческих отношений. Поставив во главу угла разумное поведение, как оно понималось, исходя из задач текущего времени, Чернышевский должен был по-базаровски подвергнуть критической оценке все общественные институты и социальные отношения, в том числе этику. Рассуждая с позиции современного разумно мыслящего человека, он невольно упрощал многосложность обстоятельств, определяющих человеческие отношения. Это упрощение казалось гениальным в теории, но историческая практика не укладывалась в эту гениальную схему. Отсюда — все противоречия, и те, которые были замечены читателями, и те, которых они не могли сразу обнаружить. Однако же (и в этом парадокс) если очень многие демократически настроенные читатели восприняли «гениальное упрощение» Н. Г. Чернышевского с энтузиазмом, сознательно или невольно возвели его в ранг веры и стали вдохновенными ее фанатиками, иные читатели остались глухи к новой религии человеческих отношений, воспринимая ее как разврат, пошлый фарс и столь же фанатически отрицая даже то, что в ней было абсолютно для всех вполне приемлемо. Лишь очень немногие смогли отнестись к роману с достаточной выдержкой, не дав волю необузданным эмоциям. Среди этих немногих был Н. С. Лесков.

2

В своей статье «Николай Гаврилович Чернышевский в его романе „Что делать?“ (Письмо к издателю „Северной пчелы“)» (1863) писатель прежде всего дает общую оценку рецензируемому произведению. Эта оценка весьма высокая: «Роман г. Чернышевского — явление очень смелое, очень крупное и, в известном отношении, очень полезное... Автор „Что делать?“ доказал, что (и это самое главное) люди, живущие под этим небом, на этой земле, таковы, каковы они есть. Он помнит, что il faut prendre le mond comme il est, pas comme il doit être, и говорит просто и ясно, что и в этом monde умные люди могут стать твердо и найти себе, *что делать*. Это самая важная заслуга г. Чернышевского» [18].

Однако, давая в целом высокую оценку роману, Лесков уже в самом начале рецензии указал на своеобразие своего восприятия и тем самым на ограниченность своего взгляда: ведь, по его мнению, «роман странно написан и... в нем совершенно пренебрежено то, что называется *художественностью*» [19].

Ограничивая значение романа публицистической стороной, Лесков опирался на слова самого Чернышевского, который «очень благоразумно оговорился, что он не художник и за художеством не гонится, а потому, кто станет пространно доказывать несостоятельность романа как беллетристического произведения, тот напрасно потратит труды и время» [20]. Ход рассуждений Лескова столь же закономерен, сколь и тенденциозен: заведомо соглашаясь с Чернышевским, он не допускает мысли, что отрицание художественности есть тот же художественный прием, и поэтому внехудожественное рассмотрение романа заведомо обедняет его содержание. Описанное в романе толковалось в статье как жизненный пример, которому можно следовать, но не как художественный образ, из которого еще нужно извлекать смысл.

Был ли Лесков заведомо тенденциозен в своем подходе к роману? Об этом нельзя сказать с полной уверенностью. Художественная система Лескова была принципиально иной, чем у Чернышевского, как в отношении роли автора, способа воссоздания героев, обстоятельств и т. д., а потому Лесков имел повод верить, что Чернышевский не художник. Однако, объективно говоря, другая художественная система требует иного аналитического подхода. Лесков этого подхода не искал. Вместе с тем, обращаясь к героям Чернышевского и оценивая их в контексте исторического развития, он высказал немало верных суждений.

Прежде всего Лесков подчеркнул связь и преемственность между героями Тургенева и Чернышевского.

Писатель не без оснований указал, что каждый из тургеневских героев, начиная с Рудина, «сын этой эпохи и ее памятник» и, по мнению Лескова, каждый явился образцом, подражание которому превращалось в действительности в некую карикатуру. Так после «Отцов и детей» «стали надюжаться эти уродцы российской цивилизации», неумело копировавшие Базарова: «Базаровских знаний, базаровской воли, характера и силы негде взять, ну, копируй его в резкости ответов, и чтоб это было позаметнее — доведи это до крайности. Гадкий нигилизм весь выразился в пошлом отрицании всего, в дерзости и в невежестве» [21].

Лесков подметил в герое Тургенева то, что с полным основанием можно назвать базаровщиной. Ведь смешение в облике Базарова сильных сторон и сторон слабых, отрицательных, даже низменных не было ни ошибкой Тургенева, ни злым умыслом. В разночинском океане был достаточно заметен и такой тип. Базаров не принадлежал, надо полагать, к революционерам-демократам или народовольцам. Он был из тех первых демократов, которые, ощутив свою враждебность старому миру «отцов», не обладали, однако, ни большой культурой, ни глубокими знаниями, ни своей позитивной программой. Базаровы отрицали, не зная, что именно будут утверждать.

Направление их мыслей и действий определялось теми традициями, под влиянием которых они невольно находились. «Мы видим,— писал в связи с этим А. М. Горький,— что Базаров от-

носится к простым людям небрежно — почему это? Не есть ли эта небрежность нечто унаследованное им из недр прошлого? Прочитайте всю повесть, и вы увидите, что это именно так» [22]. Небесполезно напомнить, что даже симпатизирующий базаровым М. Бакунин назвал их недоученными учениками Чернышевского [23], а в характере и поведении Базарова мы обнаружим немало сторон, дающих основание для отрицательного к нему отношения.

Среди несимпатичных черт тургеневского героя отметим воинствующий антиэстетизм, являвшийся типическим признаком многих «нигилистов». В высказываниях Базарова о том, что можно охватить понятием «красота»,— целая программа, и программа в определенном смысле антикультурная, ибо она зиждется на примитивизации чувств, обеднении, а то и вовсе на отрицании духовных традиций. Все это проявляется и в его демонстративной слепоте при созерцании природы, и в его нарочитом равнодушии к поэзии, примитивно-одностороннем отношении к женщине, наконец, в душевной черствости по отношению к родителям, которая, говоря словами А. М. Горького, является «признаком духовной бедности» [24].

Важно заметить, что базаровы с особым негодованием относились не только к старым принципам, но и к самому понятию принципа. Они словно ощущали в себе недостаток именно тех коренных, позитивных представлений и убеждений, которые еще не успели выработать. В известном смысле базаровы не только «недоучились», но не были еще ясны сами себе. Сомневаясь и отрицая, они еще не дали никакой «плодовитой мысли», ничего, кроме идеи беспощадного отрицания старого. Выступая против всех предрассудков (ничего не принимая на веру!), тургеневский герой решительно отрицает все старые традиции и привычки, что и приводило к опасности полного разрыва с прошлым, отрицания преемственности в истории человечества, непризнания важности гармонии разума и чувства и всего, что не подходит под «примитивизирующие» представления героя. В этом суть базаровщины.

За «внешними» схватками тургеневских героев вырисовывалась сложная и вечная проблема исторического развития; Тургенев выступал в романе как страстный защитник культуры, сражаясь, если воспользоваться выражением В. И. Ленина, против «зряшного» отрицания. Это «зряшное» отрицание возникало на почве дегуманизации культуры, к которой был причастен Базаров, и прежде всего явной ущербности его исторического мышления.

«История — не тавтология,— писал один из выдающихся русских филологов.— Слово, недосказанное одним, остается вечно недосказанным. Утраты в людях, не совершивших полного круга своей жизни, для общества невозвратимы... Отцы незаменимы детьми. Несовершенство традиций: никогда последующее поколение не усваивает вполне предыдущего... Общество, забывчивое, равнодушное к своему прошлому, просто не умеет пользоваться наследием отцов...» [25]

Тургеневский роман со всей ответственностью выявлял, что революционное «безумство храбрых» обнаруживает свою очевидную беспомощность, если с непримиримой решительностью вторгается в область культуры. В столкновении культур возникает исторически закономерное явление: незрелая культура, связанная с социально прогрессивным движением, развертывает свою разрушительную работу, беспощадно отвергая в прошлом многое, что является полезным и даже необходимым. В этом смысле фигура Базарова, может быть, потому была особенно трагичной, что, обладая высокой страстью отрицания и благородным стремлением мыслить честно, герой не был приобщен ни к революционной мысли, ни к культуре в целом. Между тем (если подумать о перспективе!) значительная часть уцелевшего после базаровых культурного наследия прошлого будет усвоена этой новой культурой как непреходящее ценное достояние.

Сказанное имеет прямое отношение к полемике вокруг романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?». Ведь, беря под защиту этот роман, Н. С. Лесков прежде всего пытается убедить читателя, что у Чернышевского нет базаровщины; поэтому его герои, связанные «с автором солидарностью симпатий» [26], «не несут ни огня, ни меча. Они несут собою образчик внутренней независимости и настоящей гармонии взаимных отношений» [27], они трудятся в поте лица и при этом стремятся «дать благосостояние возможно большему числу людей», посвящая себя «труду на основаниях, представляющих возможно более гармонии, в ровном интересе всех лиц трудящихся» и при этом «заботясь прежде всего о водворении в общине самой широкой честности, свободы отношений и взаимного доверия», и живут обычным образом, сохраняя «бескорыстие, уважение к взаимным естественным правам, тихий верный ход своею дорогою, никому не подставляя ног» [28].

Если внимательно вчитаться в эту характеристику «новых людей», которых Лесков называет просто «хорошие люди», то легко понять, во-первых, как трансформировались в сознании писателя герои Чернышевского, а во-вторых, что извлек сам Н. Лесков из романа Чернышевского прежде всего для своего творчества.

Игнорируя богатый идейно-символический подтекст романа Чернышевского, Н. Лесков, по существу, свел весь его сюжет к житейско-бытовым отношениям героев и заявил, что они очень ему нравятся, ибо «между ними и личностями, надоевшими всем и каждому своим нигилизмом, нет ничего общего» [29]. Не считая «новых людей» нигилистами (по-лесковски — «уродцами российской цивилизации»), писатель так определяет смысл их деятельности: «... освободиться от природного эписиерства, откинуть узкие теории, не дающие никому счастья, и посвятить себя труду на основаниях, представляющих возможно более гармонии, в ровном интересе всех лиц трудящихся» [30]. Однако тут же высказался весьма скептически по поводу их общественной деятель-

ности и возможности примирения интересов труда и капитала.

Более определенно выявилась позиция Лескова романе «Некуда» (1864), где была воссоздана «честная горсть людей, не приготовленных к честному общественному служению, но полюбивших добро, возненавидевших ложь» [31], которых писатель обвиняет единственно в нерешительности «отречься от приставших к ней дурачков», в недостатке самообличения. Итак, мы имеем основание утверждать, что Лесков не был слепым отрицателем усилий общественного преобразования и он верил, что недопустимо считать прогрессистов, «нетерпеливцев» виновниками «всей современной лжи» [32], более того, видел в них «лучших людей эпохи» [33]. Однако в чем он убежден неколебимо — так это в невозможности и недопустимости революции в России. Поэтому он не только скептически, но и враждебно относится к людям, «призывавшим бурю». Положительно оценивая «Что делать?», он прежде всего снимает с Чернышевского «обвинение» в революционности, отвергая мнение тех, кто видел в авторе романа «Робеспьера верхом на Пугачеве». Многократно возвращаясь в романе к мысли о революции, он устами героя (Розанова) так отвечает на вопрос «что делать?» «...надо... дело делать, надо трудиться, снискивать себе добрую репутацию, вот что надо делать. Никакими форсированными маршами тут идти некуда...» [34]

Отрицая смысл «форсированных маршей» в общественной жизни, Лесков видел иной, нелегкий, но более верный, по его мнению, путь — в поисках и формировании многих и многих «настоящих представителей бескорыстного человечества, живущего единственно для водворения общей высокой правды» [35], т. е. иными словами, воспитание духовности в обществе в самых широких масштабах. В романе «Некуда» представитель «базаровщины» Красин отрицает духовность с «теоретических» позиций, в чем-то пародируя логику разумного эгоизма, но не имея оснований для критики сущности этой теории: «Физиология все это объясняет: человек одинаково не имеет право насиловать свой организм. Каждое требование природы совершенно в равной степени заслуживает удовлетворения» [36] При этом из понятия «требования природы» изымаются духовные требования, запросы и связанные с ними принципы поведения. Таким образом, Лесков вскрывает у «пустых, ничтожных людишек, исказивших здоровый тип Базарова и опрофанировавших здоровые идеи нигилизма» [37], теоретическую основу бездуховности. В то же время именно наличие духовности в героях Чернышевского писатель признает, одобряет и возвышает.

Однако Лесков вскоре почувствовал, что «новые люди» разрушают, так сказать, принятую культуру условностей социального поведения, и посчитал в этом нарушении серьезную опасность духовной деградации. В принципе такая опасность всегда существует. Беспокойство Лескова сказалось и в романе «Некуда» (1864), имеющем такое же отношение к роману Чернышевского, какое роман Чернышевского к «Отцам и детям» Тургенева, и в

«Обойденных» (1866), и в рассказе «Павлин» (1876). В последнем (забегая вперед) находим очень характерное замечание. «Я теперь припоминаю,— пишет Н. Лесков,— пресловутый роман „Что делать?“. Когда его читали у нас с таким большим удовольствием и всеконечно еще с большею пользою, я, к удивлению моему, от очень многих слышал сомнение не в том: удобно ли жить втроем и будут ли у швей алюминиевые дворцы, а лишь только в том одном: возможно ли, чтобы просвещенный и гуманнейший герой устроил свою жену замуж за другого и потом сам появлялся перед нею для того, чтобы пить втроем чай? А то ли случается в жизни, если живешь между живых людей, а не бесстрастных и бесхарактерных кукол?» [38]

Мы не сможем однозначно ответить, кто прав в этом споре, не указав, в чем ошибки или «передержки» каждого из спорящих. Чернышевский был прав теоретически в том, что сложившаяся культура условностей социального поведения мешает в полной мере проявиться раскрепощенным человеческим потребностям. Лесков не без основания полагал, что в недооценке самой по себе условности социального поведения заложена опасность лишить человеческие потребности духовного содержания, сведя их к потребностям примитивным. Необходимая данность культуры социального поведения формируется веками, и процесс ее замены иной культурой (если она остается культурой, а не суррогатом) происходит путем многосложных и длительных изменений в структуре общества и в общественном сознании. Поэтому с присущей ему страстностью Лесков вскоре выступает против Чернышевского. Причем говорит не о новой этике, которую сам, по существу, признает, а о всей социально-исторической концепции великого революционера-демократа, и прежде всего — о его революционных убеждениях, входя в область обобщений, в данном случае недоступных его практическому взгляду. «Социалистической революции в России быть не может по совершенному отсутствию в народе русском социалистических понятий и по неудобству волновать народ против того, кого он считает своим другом, защитником и освободителем» [39].

Было бы неверным отрицать знание Лесковым народных мнений и представлений или подозревать во лжи. Видимо, Чернышевский и Лесков говорили о разном, имели в виду разные аспекты одного явления. Вот почему здесь практик Лесков выступал против вдохновенного и честного теоретика Н. Чернышевского, восславившего в своем романе новую этику. Эта прекрасная этика должна была, по мнению Лескова, постоянно извращаться на деле, «если живешь между живых людей, а не бесстрастных и бесхарактерных (или теоретически созданных.— *В. Т.*) кукол». Итак, с одной стороны, речь шла о возможности новой этики (и новой эстетики), эта этика была теоретически возможна; с другой стороны, о широчайшем практическом ее распространении в обозримые сроки: такой возможности (это доказано историей), видимо, не существует, даже при условии «смены декора-

ций». Здесь есть единственный нелегкий путь — постепенное, все расширяющееся овладение культурой.

«Смена декораций», однако, в некоторых отношениях способствовала не только возможностям формирования новой этики (и эстетики), но и стимулировала развитие новых культурных ценностей. Об этом мечтал Чернышевский. Лесков же концентрировал внимание на другом — на том, ценой каких культурных утрат может совершиться эта «смена декораций». Мы знаем, что эти культурные утраты огромны. Итак, спор в своей полноте еще не был завершен. Рассмотрим же некоторые другие его аспекты, как они прорисовывались в идейно-эстетической борьбе 60—70-х годов прошлого века.

Совершенно очевидно, что при всем различии взглядов Лескова и революционных демократов (и прежде всего Н. Чернышевского) писатель испытывал их воздействие. Споря с Чернышевским и во многом соглашаясь с ним, по-своему толкуя роман «Что делать?», Лесков обращался в своем творчестве, как и Чернышевский, к насущным нравственным проблемам, связанным с художественным воссозданием героя времени (или нового героя). Характеры лесковских героев-праведников (например, Павлина, инженеров-бессребреников и др.) в ряде существенных человеческих качеств (непринужденная самоотверженность во имя блага людей, неизменное ощущение своего долга перед ними и т. д.) близки героям Чернышевского — Лопухову, Кирсанову и др. Но здесь есть существенное различие.

Революционные демократы верили в революционные возможности народа и его нравственное («революционное!») преображение, Лесков — в возможности постепенного нравственного «воскрешения» общества. Революционные демократы устами Чернышевского заявляли, что «уже разрешен вопрос о подведении всех часто противоречащих между собою человеческих поступков и чувств под один принцип, как разрешены вообще почти все те нравственные и метафизические вопросы, в которых путались люди до начала разработки нравственных наук по строго научному методу... Надобно бывает только всмотреться попристальнее в поступок или чувство, представляющиеся бескорыстными, и мы увидим, что в основе их все-таки лежит та же мысль о собственной личной пользе, личном удовольствии, личном благе, лежит чувство, называемое эгоизмом» (VII, 283). Эта мысль вскоре стала расхожей монетой в спорах о насущных задачах века.

Но измерение поведения всего человечества, и своих соотечественников в первую очередь, меркой эгоизма («жертва — сапоги всмятку») вызывало решительное несогласие Лескова-художника. Сочувствуя многим стремлениям и целям, намеченным Н. Чернышевским в романе «Что делать?», Лесков воспринимал по сути социалистическое его учение с позиций своеобразного христианского почвенничества; он пренебрегал идеей классовости, без которой невозможно понять революционно-демократическое движение. С объяснением поведения людей единственной, и притом

«безнравственной», по его представлениям, причиной — утилитаризмом — Лесков не мог согласиться. Не приняв никаких «теорий» в сложном сплетении противоречий времени и направленческих столкновений, Лесков в поисках правды, в поисках героя времени считал необходимым опереться не на идеи и правила, а на художественные образцы людей, прототипы которых были открыты им среди самых разных слоев русского народа.

10 лет спустя, как бы завершая спор с Чернышевским в романе «Соколий перелет» (1874), содержащем немало автобиографического, писатель указывает на «неустойчивость» направлений, имеющих свойство «извращаться и переходить из добродетелей в пороки», считает достоинством не приносить «живых жертв бездушным идолам направлений» и возвышает тех, кто живет «одною своею благою натурою» [40] Как бы противополагая «стандартной» оценке человеческого поведения практические примеры, он рисует многочисленных «нестандартных» героев. Его «новые люди» — праведники — столь разнообразны и многохарактерны, что ни под какую теорию «разумного эгоизма» не могут быть подведены без натяжки.

Одной из причин (и, вероятно, немаловажных причин), по которой Лесков, признавая героев Чернышевского «хорошими людьми», все же не придавал им обобщающего смысла, было убеждение в том, что революционные идеи способны нивелировать облик национальной жизни, нанося ущерб свободному ее развитию. Лесков постоянно выступал против «вредителей русского развития» [41], особенно тогда, когда ему казалось, что они посягают на «вечную» нравственность и грозят разрушением «вечной» справедливости. Поэтому-то с такой неизменной последовательностью изображал он самобытные русские характеры и любил в своих произведениях ловить «мимолетные случаи» русской жизни.

По существу, дальнейшее творчество Н. Лескова, и прежде всего созданная им галерея праведников, воспринимается как непроизвольный диалог с Н. Чернышевским по вопросу о положительном герое; в некоторых же произведениях этот диалог переходит в прямой и сознательный спор.

Вернемся к роману «Некуда» (1864). В нем Лесков, по существу, продолжил то, что, по его мнению, начал Чернышевский, который «отделил истинных, настоящих нигилистов от нигилиствующих Рудиных» [42], ибо, как полагал Лесков, между героями Чернышевского «и личностями, надоевшими всем и каждому своим нигилизмом, нет ничего общего» [43].

В лесковском романе появляются два типа «нетерпеливцев» (т. е. людей, революционно настроенных). Первый, симпатичный Лескову тип представляют швейцарец Вильгельм Райнер, «молодой социалист с доброю душой и с нежными, честными побуждениями» [44], и обрусевший поляк Юстин Помада; наконец, Лиза Бахарева. Они чистосердечно и самоотверженно предаются идее утверждения новых человеческих отношений, готовые положить

свою жизнь за правое дело становления в России добра и справедливости. Другой тип «нетерпеливцев» являют собой Белоярцев, Красин и отчасти Бертольди. К первым Лесков относится с великим сочувствием: «С благоговением преклоняемся перед роком, судившим нам зреть святую минуту пробуждения, видеть лучших людей эпохи, оплаканной в незабвенных стихах Хомякова» [45]. О вторых — устами симпатичного ему героя Райнера судит так: «... такие господа, как Красин, как Белоярцев, как множество им подобных... Помилуйте, разве с такими людьми можно куда-нибудь идти!» [46].

Если мы присмотримся внимательно к тому, что различает эти два типа лесковских нигилистов, то должны будем признать: существеннейшее различие здесь в том, что первые идут к своей цели, по существу не поступаясь общечеловеческими моральными принципами и бережным отношением к веками выработавшимся семейным и прочим жизненным традициям; вторые считают возможным, и даже едва ли не насущным, демонстративно пренебречь этими традициями, иногда даже вне зависимости от того, насколько это пренебрежение необходимо и что оно практически (не умозрительно!) дает для утверждения новых, добрых жизненных начал. Вот этот-то тип поведения, который, перефразируя ленинское выражение, можно было бы назвать «зряшное утверждение», и не принимает Н. Лесков в своем романе. Поэтому с таким сочувствием относится он к героям, живущим «по традиции». Поэтому-то так симпатизирует матери Агнии и Женни Гловацкой. Поэтому-то с такой любовью подчеркивает органичность поведения этой героини. Именно органичность, естественность; ибо она не пренебрегала своим делом. Лозунг «делать дело» прежде всего «у нее сводился к исполнению женских обязанностей дома для того, чтобы всем в доме было как можно легче, отраднее и лучше. И она считала эти обязанности своим преимущественным назначением вовсе не вследствие какой-нибудь узкой теории, а как это у нее просто так выходило, и она так жила» [47]

Здесь и проходит водораздел между понятием «делать дело» лесковских героев и героев Чернышевского. Ведь не случайно Зарницын со своих позиций указывает Женни «на высокое призвание гражданки» [48], видимо не считая добрую семейную жизнь достаточной для гражданских добродетелей. Итак, по Чернышевскому, общественное дело, выходящее за рамки семейной жизни, и только оно одно, является необходимой чертой положительного героя времени.

«Проблема положительного героя, передового общественного деятеля,— писал Б. Бурсов,— разрабатывалась Чернышевским в двух планах: в плане отношения этого героя к народу и в плане способности его понять объективные законы развития действительности и, основываясь на них, воздействовать на нее в целях революционного преобразования» [49]. Герои Чернышевского понимают свою миссию как труд для народа. Лесковские герои всегда и безусловно считают самих себя частью народа, а потому и в

этом смысле не отделяют себя от окружающих, живя «для себя» (т. е. для своих ближних!).

Лесков утверждает «жизнь семейную», жизнь личную, жизнь «служилую» и как бы декларирует, что все остальное — вовсе не необходимо. Поэтому он в противовес Вере Павловне и создает свою Лизу.

«Я дал в „Некуда“,— писал он,— симпатичный тип русских революционеров: Райнера, Лизу Бахареву и Помаду. Пусть укажут мне в русской литературе другое произведение, где бы настоящие, а не самозванные нигилисты были так беспристрастно и симпатично оценены? Ведь во всякой партии есть симпатичные и благородные люди. Я нашел их в лице Райнера, Лизы Бахаревой и Помады. Разве Маркуша Гончарова, „Бесы“ Достоевского, „Нолояровщина“ Крестовского или „импотенты“ Тургенева в „Нови“ лучше моих страдальцев?» [50].

При этом страдалица Лиза Бахарева напоминала Веру Павловну («Что делать?»). Так же рвется она из семьи «на волю», так же стремится к полезному труду, так же не желает поступаться своими принципами и чувствами и даже (конечно же вслед героине Чернышевского) мечтает открыть швейную мастерскую. Однако это сходство не исключает существенного различия. Не принцип «разумного эгоизма», исповедуемый Верой Павловной, но дух возвышенного «праведничества» влечет ее к новой жизни. Поэтому столь неподатлива она неурядицам и парадоксам «общежития» в «Доме согласия», поэтому не подчиняется логике нигилистических проповедей его организаторов, а ищет сочувствия и своего честного дела вне семьи и традиций. Ищет и не находит. Не находит, но не возвращается к старому, по-прежнему фанатически вдохновляясь утопическими идеями нравственного преобразования общества посредством перестройки форм отношений людей на основе личной жертвенности.

Здесь вырисовываются два представления: первое основано на мысли о том, что добро и польза всегда взаимосвязаны и взаимообусловлены прагматически, нужно только увидеть эту связь; второе — на идущем от веры в добро, иногда неосознанном, но всегда живущем в душе человека, заложенном в генетике поведения и вечно возрождающемся в каждом поколении стремлении творить добро и красоту. Это стремление свойственно значительной части человечества, являющейся той «солью земли», без которой невозможно развитие общества.

У этих представлений — один корень, но разные стебли и цветы: одно выросло органически («само собой»), другое — при активном вмешательстве «теории», мысли, находящейся на соответствующем времени уровне развития. И тот и другой дают плоды... История покажет, какому плоду нужно отдать предпочтение...

По крайней мере, судьба Лизы печальна: ее путь завершается драмой; между тем ее порыв нам вполне понятен, определенны причины разрыва с «устоями» прежней жизни. И в объяснении

этого Н. Лесков идет как бы за Чернышевским:

Не было мира в этой душе. Рвалась она на волю, томилась предчувствиями, изнывала в темных шарадах своего и чужого разума...

Она искала сочувствия и нашла это сочувствие в книгах, где личность отвергалась во имя общества и во имя общества освобождалась личность...

Застыдившись своего невинного прошлого, она застыдилась и памятников этого прошлого.

Все близкие к ней по своему положению люди стояли памятниками прошедших привязанностей.

Они были ясны и в них нечего было доискиваться; а темные намеки манили неведомым счастьем, шириною свободной деятельности.

Привязанности были принесены в жертву стремлениям.

Живые люди казались мразью. Дух витал в мире иных людей, в мире, износившем вещие глаголы, в среде людей чести, бескорыстия и свободы.

Все живые связи с прошедшим мельчали и рвались.

Беспечальное будущее народов рисовалось в лучезарном свете. Недомолвки расширяли эти лучи, и простые человеческие чувства становились буржуазны, мелки, недостойны.

Лиза поняла, что окружающие ее люди — «мразь», и определила, что настоящие ее дни есть приготовительный термин ко вступлению в жизнь с настоящими представителями бескорыстного человечества, живущего единственно для водворения общей высокой правды [51].

Между тем, стремясь на деле отрицать причастность к старому укладу жизни, Лиза становится глуха к страданиям и нуждам самых близких ей людей, если эти страдания не вписываются в ее понятия. В ожесточенных спорах с теми, кого она считает обывателями, в поисках мыслящих совсем по-иному, мечтая об освобождении человечества, она нередко не желает считаться с мнениями, чувствами и переживаниями тех, кто бескорыстно и самоотверженно предан ей. Так постепенно от неизменной категоричности в разговорах с матерью Агнией, неуместных шуток с доброй своей нянюшкой укрепляется в ней тот нигилистический ригоризм, который приводит к беззастенчивым спорам и разрыву с Розановым, неблагодарности к Юстину Помаде, отчуждению от многих дружеских и родственных связей и образует круг трагического одиночества среди, по сути, чуждых ей демагогов, населяющих «Дом согласия». Однако природное стремление быть честною перед самою собой, внутреннее чувство причастности к ранее близким ей людям, неутраченное ощущение культурных традиций в социально-бытовых представлениях — все это позволило ей остаться цельной натурой, глубоко, по-человечески страдающей от безысходности своих жизненных устремлений, бесплодных поисков своего дела, главное же — острого ощущения неудовлетворенности теми людьми, которые сделались ее попутчиками в этих поисках.

Так вырисовывается в романе Н. Лескова тема безлюдья: для дела нужны люди, достойные дела. Не просто и не только люди дела, деловые люди, но люди «высокой пробы», великой любви и терпения, главное же — доброты, понимания и сочувствия ближнему, сочувствия не абстрактного, теоретического, а сиюминутного, практического, живого и вместе с тем согласного со сложившимися понятиями об уместности и целесообразности их действий.

Правда, идея мастерских Веры Павловны привлекла и Д. Писарева. И он вслед за Лесковым отметил, что в замысле героини «самые лютые ретрограды не сумеют найти ничего мечтательного и утопического» и что «этою стороною своею роман „Что делать?“ может произвести столько деятельного добра, сколько не производили до сих пор все усилия наших художников и сочинителей» [52]. За этой поддержкой стояла мысль о целесообразном общественном деле, которое должно быть основным для героя времени. В то же время критик, по существу, сводит все существование и поведение Веры Павловны к «уместности и целесообразности», обедняя замысел Чернышевского и «приближая» его героиню к своим представлениям.

Этой «уместности и целесообразности» действий, по мнению Лескова, не хватает не только Лизе, но и Вильгельму Райнеру, симпатии которого «влекли его к социалистам. Их теория сильно отвечала его поэтическим стремлениям» [53].

Образ Райнера также полемически связан с романом «Что делать?», что отметил Н. С. Плещунов [54]. Сны, которые видит Вильгельм (художественный аналог снам Веры Павловны), все обращены к историческому прошлому, к воспоминаниям о давней борьбе за свободу, к подвигам легендарного Вильгельма Телля, справедливому возмездию деспотам. Все это были романтические сны-грезы, сны-предания, как бы уводящие от реальности. Вместе с тем искренний демократизм героя, его участие в освобождении крестьян, делает его борцом за свободу, причастным к крестьянской демократии, «чудаковатым идеалистом», «несколько похожим на Рахметова» [55]

Но этот человек «рахметовского» отношения к жизни вовсе не был копией героя Чернышевского: в основе его революционных стремлений лежит не расчет на длительную, тщательно подготавливаемую борьбу, но «опоэтизированные рассказы о русской общине, о прирожденных наклонностях русского народа к социализму» [56], т. е. опять же не реальность, а некое легендарное представление о ней.

Вся чистота его помыслов, все добрые планы и «соображения», все, что было доброго и энергичного в его восторженной душе, оборачивается теоретической химерой, как только сталкивается с реальной русской действительностью. И это, видимо, должно было служить художественным аргументом против теории революции, художественно высвеченной в романе Н. Г. Чернышевского. Именно наивный и чистый Райнер должен был стать, по замыслу Лескова, пробным камнем теоретических построений, подспудно выдвинутых революционером-демократом: райнеровская преданность делу революции очевидна; его усилия велики, а на деле, в жизни, идти ему, оказывается, некуда. Таким образом, художественный пассаж в изображении этого героя направлял читателя к мысли о теоретической несостоятельности одного из основных постулатов «системы идей» Н. Г. Чернышевского, хотя автор и не обнаруживает здесь открыто своих суждений.

Так продолжается спор о положительном герое, и художественная логика долженствует показать читателю, что незаурядные силы замечательного человека тратятся впустую, если приложены к делу, заведомо обреченному на неуспех. Причем очевидность этой мысли подтверждается также подчеркнутой отчужденностью Райнера от России (глава о нем называется «Чужой человек»).

Первое прямое высказывание против теоретических построений Чернышевского находим в черновиках «Соборян». Небезызвестный нигилист Термосесов так рассуждает о романе «Что делать?»:

Разве я роман «Что делать?» не уважаю или порочу? Напротив, я его очень уважаю,– роман «Что делать?» хороший роман, даже, можно сказать, в своем роде единственный роман; но ему было свое время. Было время, и он служил, да. Он свое сослужил, а теперь он не годится. В идеале он хорош для тех, например, кто сути нашей не понимает, для привлечения их он еще годится, но мы... мы ж выросли и сами свое Что делать знаем. Прежде всего на службу поступить, в титулярные советники идти,– вот наше что делать, силу забирать. А в России сила на службе, а не в мастерских у Веры Павловны! Тпфу, дрянь что такое! Алюминиевый дворец... Как бы не так? Гроб сосновый трудом-то добудешь, а не дворец из алюминия...

Нет-с; Чернышевский-то, положим, и хороший, но он в заоблачной теории хорош, и то, лишь пока нам были нужны прозелиты, а в земной практике чернышизм ничего не стоит. Даже и прозелитом-то плох. Где они, его Веры Павловны, с мастерскими? Правительство не допускает? – вздор. Нам себе самим ведь нечего лгать, а просто – нет их [57]. Вон польки – это другое дело, а наша мужа в Сибирь поедет (нрзб.) с чужими деньгами, да на половине дороги с каким-нибудь полицмейстером свяжется, а другая мастерскую содержит, а сама себе у француженок шьет...[58]

Так устами своего героя продолжая спор с романом Н. Чернышевского, Лесков толкует это произведение как «отжившее», потерявшее свое значение, во-первых, вследствие практической неосновательности теоретических посылок преобразования жизни, намеченных в деятельности его основных героев, а во-вторых, по причине несоответствия этих посылок условиям русской действительности. При этом писатель обращает свои взоры назад, к «старой сказке», не считая возможным поставить вопрос об изменении самой этой действительности, особенно же в плане исторически сложившихся условностей социального поведения. Вместе с тем совершенно ясно, что «устаревший» роман вряд ли мог вызвать такую настойчивую силу сопротивления...

«Память» о романе Чернышевского сохраняет и следующий роман Н. Лескова – «Обойденные» (1866). Об этом с очевидностью свидетельствует начало его второй части:

Пусть читатель не ожидает встретиться здесь ни с героями русского прогресса, ни с свирепыми ретроградами. В романе этом не будет ни уездных учителей, открывающих дешевые библиотечки для безграмотного народа, ни мужей, выдающих субсидии любовникам своих сбежавших жен, ни гвоздевых постелей, на которых как-то умеют спать образцовые люди, ни самодуров-отцов, специально занимающихся угнетением гениальных детей. Все это уже описано, описывается и, вероятно, еще всему этому пока не конец... Ни уездного учителя с библиотекою для безграмотного народа, ни седого в тридцать лет женского развивателя, ни образцового бессребреника, словом – ни одного гражданского героя здесь не будет; а будут

люди с слабостями, *люди дурного воспитания*. И потому, кто хочет слушать что-нибудь про тиранов или про героев, тому лучше далее не читать этого романа...[59]

Итак, спустя три года после выхода «Что делать?» Лесков не без скрытой иронии намекает и на историю Лопухова и Кирсанова, и на Веру Павловну, и на Рахметова (особенно прозрачно на него, говоря о «гвоздевых постелях», «на которых как-то умеют спать образцовые люди»), и на многое другое. Однако дело не обходится намеком. Писатель относит своих героев к людям *дурного воспитания*, опять же намекает на роман Чернышевского (вспомним слова о Марье Алексеевне: «... вы только *дурной человек*, но не дрянной человек» (XI, 110) (курсив мой.— *В. Т.*). Но именно эти его герои («люди дурного воспитания») и предстают перед нами как отзывчивые, добрые, в чем-то глубоко страдающие, несчастные, но по-человечески искренние, непосредственные, естественные и своею живою непосредственностью и добротой вызывающие искреннее сочувствие читателей. Прочитав роман, всякий непредубежденный читатель должен будет сказать: уж не такие они плохие эти люди, напротив, они милые, хорошие и главное — без претензий — обыкновенные, естественные, живущие «не вследствие какой-нибудь узкой теории, а так это... просто так выходило» [60].

Следы воздействия Чернышевского и в «зеркальной» расстановке героев романа: Вера Павловна полюбила сначала Лопухова, а потом становится женой Кирсанова. Долинский же любит сначала Анну Михайловну, а затем становится мужем Доры. Наконец, у Лескова обыгрывается и «производственный» мотив Чернышевского: Анна Михайловна содержит мастерскую-пансион, где воспитывает «трех небольших девочек, отданных их родными Анне Михайловне для обучения мастерству» [61]. Притом в этой мастерской царит известное «равноправие», отмеченное даже в том, что женщины, помогающие в делах мастерской, мастерицы-ученицы и хозяйки устроены одинаково. Так, о месте Доры сказано: «Никаких атрибутов старшинства и превосходства не было заметно возле этого места, даже подножная скамейка возле него стояла простая, деревянная, точно такая же скамейка, какие стояли под ногами девушек и учениц» [62]. Между тем Анна Михайловна и Дора выполняют роль добрых хозяек, учителей и воспитателей, наблюдая за тем, «чтобы эти оторванные от семьи дети не терпели много от грубости и невежества других женщин, по натуре хотя и не злых, но утративших под ударами чужого невежества всю собственную мягкость» [63]. Автор не забывает при этом заметить, что «девочки боготворили Анну Михайловну, взрослые мастерицы тоже ее любили и доверяли ей все свои тайны» [64]. Заметим еще одну параллель: несчастная история мастерицы Крюковой («Что делать?») в некотором отношении напоминает тяжелую судьбу Анны Анисимовны («Обойденные»).

Однако при внешнем сходстве сюжетных поворотов, мотивов и ситуаций основной пафос «Обойденных» — в изображении лич-

ной, семейной, обыденной жизни людей, живущих независимо от теорий. Это, в частности, хорошо иллюстрирует разговор героев о нигилистах (ч. 1, гл. 8), в котором обыгрывается мотив, начатый Лесковым в статье о романе Чернышевского: кого считать нигилистом.

Шпандорчук и Вырвич, «люди незлые и даже довольно добродушные, но недалекие и беспокойные» (очень характерный стереотип характеристики «базарствующих».— *В. Т.*), называют себя нигилистами, ибо не веруют в бога и т. д. Дора относит их просто к скучным людям, считая, что они говорят общеизвестные истины, и вместе с тем заявляет, что быть нигилисткой «боже сохрани», так как в этом случае нельзя быть свободным человеком («У меня есть совесть и, какой случился, свой царь в голове, и, кроме их, я ни от кого и ни от чего не хочу быть зависимой...» [65]). Итак, по Лескову, не нигилисты, а именно люди, живущие не по теории, а «как получается» исповедуют «крайнее свободолюбие». Продолжая разговор, Дора заявляет:

— ...теория — сочинение, а жизнь — жизнь. Жизнь — это то, что есть, и то, что всегда будет...

— Значит, у вас человек — раб жизни?

— Извините, у меня так: думай, что хочешь, а делай, что должен.

— А что же вы должны?

— Должна? Должна я прежде всего работать и как можно больше работать, а потом не мешать никому жить свободно, как ему хочется, — отвечала Дора.

— А не должны вы, например, еще позаботиться о человеческом счастье?

— То есть как же это о нем позаботиться? Кому я могу доставить какое-нибудь счастье — я всегда очень рада; а всем, то есть целому человечеству, ничего не могу сделать: ручки не доросли [66].

Вдумаемся в сущность этого разговора. Героиня (и, как нам кажется, автор вслед за ней), утверждает первенство и преимущество личной ответственности, личной совестливости перед ответственностью и совестливостью людей, живущих «по теории». Иными словами, она, как человек руководствующийся своей совестью, не желает иметь между нею и собой посредника в виде «теории», ибо жизнь «это то, что есть, и то, что всегда будет», а теории (это подразумевается) сегодня — одни, завтра — другие и, кроме того, они «сковывают» поведение. Далее (и это, вероятно, особенно важно Лескову) живущие «по теории» как бы снимают с себя личную ответственность, «подставляя» вместо нее соответствие своего поведения этой хорошей, полезной теории: если поведение совпадает с теорией — человек поступает хорошо, если нет — плохо. Именно это понимается как зависимость от теории.

В противовес жизни «по теории» героиня предлагает такую линию поведения: «...думай, что хочешь, а делай, что должен». При этом долг человека — трудиться и не мешать никому жить свободно, как ему хочется. Здесь, надо полагать, и «собака за-

рыта». Лесков имеет в виду по преимуществу обычную жизнь, обычных «средних» людей, с одной стороны, и непременное наличие совести в каждом — с другой. Складывающейся в силу социальных процессов «противоестественности» человеческих отношений он противопоставляет как регулятор — совесть. Однако практически совесть разных классов оказывается «устроенной» по-разному, потому что в жизни, хотим мы того или не хотим, оказывается еще политический регулятор человеческих отношений, и общечеловеческие принципы нравственности («не мешать никому жить свободно» и т. д.) вступают с ним в вопиющее противоречие. В этом смысле только отсутствие совести дает возможность иным выжить, утвердиться, достичь жизни «как ему хочется», а принцип «не мешать никому жить свободно», по существу, попирается. «Теории» потому и появляются, что люди ищут возможность снять это противоречие. Утверждение теорий, имеющих целью устроить жизнь «по совести», таким образом, становится долгом совести людей, принимающих теорию. И здесь на новом витке развития этических суждений вновь возникает диалектическое противоречие: теория требует практического воплощения, действий, насилия, а насилие мешает всякому «жить свободно, как ему хочется». Отсюда и возникает необходимость найти наибольшую справедливость: за счет насилия над меньшинством, имеющим, согласно известным представлениям, корыстные интересы, содействовать свободной жизни большинства. Однако сразу встает вопрос о праве насилия и о мерах насилия.

Здесь мнения резко расходятся. Одни считают, что помочь «целому человечеству... ручки не доросли», другие — всеми силами стремятся разрубить гордиев узел противоречий революционным вмешательством в жизнь, насилием... И вновь все возвращается на круги своя: поставить ли в вопросе о праве насилия совесть единственным надвременным судьей или действовать, руководясь теорией, с «теорией» сверять свою совесть...

Чтобы снять это противоречие, нужны были веские основания, и они были найдены в теории, выявляющей закономерности социально-исторического развития человечества. Выяснив закономерности «бессовестного» поведения одних классов, стали утверждать безусловное право других на насилие, т. е. право одной группы людей не давать людям другой группы жить «как им хочется».

Вопрос осложняется тем, что здесь незаметно происходит одна характерная подмена предмета рассуждения. Лесков ставит во главу угла отдельного человека, делает его точкою отсчета во всех своих рассуждениях. Оппоненты Лескова на деле исходят из рассмотрения интересов социальной общности, класса и заведомо считают, что основные интересы человека, его отношения к людям, к «проклятым вопросам» времени определяются прежде всего его классовой принадлежностью: поведение человека, связанного определенным социальным положением, является по преимуществу поведением социально детерминированным, так ска-

зать, предрешенным. Вот против этого-то Лесков решительно возражает. Все его творчество направлено именно на то, чтобы защитить право человека оставаться чистым перед своей совестью или, как говорили, перед богом, кем бы этот человек ни был, какую бы ступень социальной пирамиды он ни занимал. Поэтому-то праведники Лескова представляют самые разные социальные группы.

Сказанное позволяет уяснить чрезвычайную сложность возникающих здесь вопросов, и прежде всего важность оценки личной ответственности и права каждого человека поступать «по совести». При этом Лесков исходит из религиозно-христианского (не церковно-христианского) понимания совести, т. е. опять же видит основной регулятор поведения каждого человека во внутренней, можно сказать, генетически закодированной способности стремиться к добру и красоте (для всех), заложенных в здоровой человеческой натуре, не «испорченной» теориями. Только эта способность и является, по мнению писателя, гарантом будущей справедливости. «Теории» так или иначе, тем или иным способом снимают с человека ответственность за многие поступки и, нарушая идущее от внутреннего чувства, от того, что «просто так выходит», поведение, наталкивают на известного рода личную безответственность в человеческих деяниях, еще более усложняя достижение нравственных идеалов. Таково, как нам представляется, мнение Лескова. В нем немало противоречий. Однако позитивная его сущность безусловна: личная ответственность — основа нравственного совершенствования общества. Об этой личной ответственности Лесков неустанно говорит, ее неустанно проповедует.

Так в сложной идейно-эстетической борьбе шло столкновение мнений о позитивных началах человеческой личности, об общечеловеческих критериях нравственности и критериях нравственности, выработанных тем или другим направлением в этой борьбе. По существу, вопрос нередко сводился к тому, в какой мере доступны эти принципы, как понимаются и толкуются они представителями того или иного идейно-эстетического направления, в какой мере и как осуществляются они в поведении, в жизни.

Спор с Чернышевским продолжается и в романе «На ножах», который писатель впоследствии назовет самым безалаберным своим произведением [67]. Однако было бы неверно судить о романе лишь по оценке автора. Пора попытаться выяснить, что объективно давало это произведение для понимания реальной действительности, каковы его художественные ценности. Такой вопрос понятен: ведь даже те, кто резко отрицательно относились к роману, признавали истинную убедительность, высокую художественность ряда характеров: нигилистки Ванскок (Анны Скоковой), добродетельного безбожника майора Форова или, например, отца Евангела [68]. Более того, читая именно этот роман, Ф. М. Достоевский высказался решительно: «Ведь такое явление, как Стебницкий, стоило бы разобрать критически, да и посерьез-

нее» [69]. Попробуем сделать шаг по этому пути. И обратимся к интересующей нас теме положительного героя.

Прежде всего мы сталкиваемся здесь с его антиподом. Это, конечно, Горданов. В развернутой его характеристике ясно прослеживаются все черты, которые Лесков связывал с «накипью нигилизма» и относил к тем, кто примитивно и грубо пытался скопировать Базарова, не имея ни его ума, ни воли, ни благородства.

Горданов не сразу сшил себе свой нынешний мундир: было время, когда он носил другую форму. Принадлежа не к новому, а к новейшему культу, он имел пред собою довольно большой выбор мод и фасонов: пред ним прошли во всем своем убранстве Базаров, Раскольников, Маркуша Волохов, и Горданов всех их смерил, свесил, разобрал и осудил: ни один из них не выдержал его критики. Базаров, по его мнению, был неумен и слаб,— неумен потому, что ссорился с людьми и вредил себе своими резкостями, а слаб потому, что свихнулся пред «богатым телом» женщины, что Павел Николаевич Горданов признавал слабостью из слабостей. Раскольникова Горданов сравнивал с курицей, которая не может не кудахтать о снесенном ею яйце, и глубоко презирал этого героя за его привычку беспрестанно чесать свои душевные мозоли. Маркуша Волохов (которого Горданов знал вживе) был, по его мнению, и посильнее, и поумнее двух первых, но ему, этому алмазу, недоставало шлифовки, чтобы быть бриллиантом, и чувствовал, что к тому уже настало удобное время [70].

Итак, Горданов считает себя вправе идти по пути «борьбы с миром хитростью и лукавством», «вредить обществу по-своему» и вовсе не придерживаться древнего нигилистического благочестия [71], которому была верна Ванскок.

Впрочем, сама Ванскок, говоря словами А. М. Горького, «существо недалекое, почти глуповатое», «орудие» и в то же время «святой человек, смешной, но прекрасный, человек воспламененный неугасимой, трепетной любовью к людям — священной любовью, хотя она и напоминает слепую привязанность собаки» [72], изображается Лесковым как «особа ограниченная, тупая, рьяная» [73], слепо преданная «теории», а потому и ставшая орудием тех глубоко антипатичных, корыстных авантюристов, которые пытаются выдать себя за представителей революционной общественности. Итак, вновь (и который раз) Лесков противополагает людей, живущих «по теории», подчиняющих ей свои действия, поступки и т. д., и живущих «по душе».

Заметим, что в своих «лозунгах» негилисты (нигилисты гордановского склада) противопоставлены не «отцам», представителям, так сказать, «патриархального дворянства», и не самодержавно-крепостнической бюрократии, а обществу в целом, «миру», т. е. всем остальным, кроме них самих, выделивших себя как людей «передовых», «мыслящих» — сильных, жаждущих действия. Все эти «деятели» думают, по существу, не о благе людей, но лишь о своем праве и о способах экспроприировать общество, которое, по их мнению, не стоит никакого уважения, и о том, как сохранить свое особое в нем положение. При этом они действуют также по своеобразному принципу отрицания: законы плохие — не будем признавать законов и считаться с ними; люди

плохие — зачем считаться с людьми, если они таковы, и т. п. Таким образом, идея нигилизма в ее базаровском варианте подменяется иной; общим остается лишь факт отрицания сложившихся социальных начал, и прежде всего сложившихся этических принципов социального поведения.

Попытаемся по этой характеристике (от противного) выявить представление Лескова о некоторых чертах положительного героя. Прежде всего это, видимо, человек обходительный (не грубый и резкий), глубоко чувствующий красоту и открытый ей, далее — человек «внутренней жизни», способный прислушиваться к голосу совести и вместе с тем обладающий достаточным мужеством, чтобы не «раствориться» в своих душевных переживаниях, а делать дело, обладая известной твердостью в принятых перед собой решениях. Разумеется, это лишь некоторые черты симпатичного Лескову героя. Однако и они дают возможность нечто высветить в развивающемся столкновении мнений, импульс которому дал роман Чернышевского.

На первый взгляд, черты героя, близкого Лескову, полностью совпадают с идеалами Чернышевского. Однако же при более глубоком рассмотрении обнаруживается их различие. Так, обходительность героев Чернышевского с «дурными людьми» условна: ведя себя внешне вежливо, они не считают своим долгом придерживаться «правил игры», существующих среди этих людей; живя «внутренней жизнью», они всегда поверяют ее разумом и не оставляют места иррациональным силам души; будучи мужественными, они постоянно «примеряют» это мужество к своим понятиям и «теориям», вдохновляя себя мыслью о разумности такого мужества.

Эта безобидная разница приводит на практике к весьма серьезным расхождениям, что, как мы уже заметили, выявилось в рассказе «Павлин». Долг, как взятое личное обязательство, для Павлина выше всего, выше логики, симпатий, жалости и т. д. Короче, долг — незыблемая категория совести каждого праведника. «Внутренняя жизнь» может совпадать или расходиться с нею, но никогда не должна влиять на исполнение однажды взятого на себя долга. Это, так сказать, «пожизненная обязанность», которую человек может снять с себя, только перестав быть самим собой. Так и происходит с Павлином, отказавшимся от всех прежних своих связей и кончившим свою жизнь под чужой фамилией.

Вместе с тем долг-догма, даже если отношение к нему искренно и он самоотвержен, вызывает критическое отношение Лескова. И это понятно: ведь за догматическим исполнением долга скрывается та же «бездушная» теория. Отсюда критические тона в воссозданном с таким удивительным мастерством образе Однодума, в котором, как справедливо заметил Н. Н. Жегалов, «есть и что-то домостроевски-грубое», «волюнтаристское». При этом «уверенный в своем библейском величии, в своей безгрешной и абсолютной правоте, Однодум даже и не догадывается о

том, что он посягнул на высшую ценность — на человеческую личность, на ее достоинство. Какая-то сектантски-догматическая нетерпимость и гордыня (именно «некую гордыню» отмечал в Однодуме наблюдательный местный протопоп) сказались и в эпизоде с губернатором, которого Однодум силой заставил склонить голову перед иконами. Поступок, что и говорить, отважный, но одновременно и таящий в себе нечто опасное для свободы духа человеческого» [74].

Не случайно и позже (вплоть до рассказа «Человек на часах») ставит Лесков одну из важнейших, по его представлению, проблем: выбор между «теоретическим» долгом и природной человеческой совестью. Эта проблема у Чернышевского «покрывается» теорией разумного эгоизма: «природная» совесть, по его понятиям, наиболее полно раскрывается через органическое признание «полезности» естественного долга перед ближним. И, как мы уже замечали, более всего беспокоит Лескова способность теорий, «свойство направлений извращаться и переходить из добродетели в пороки» [75]. Это было одной из причин оценки героев Н. Г. Чернышевского как «просто хороших людей»: сам по себе совестливый человек — важнейшее для Лескова. Однако нельзя не заметить, что новые люди Чернышевского склонны к совестливому поведению не только и не просто по своей природе, но и по своим «теоретическим» убеждениям. И в этом смысле, называя их просто хорошими людьми, Лесков в известных отношениях косвенно солидаризируется с существом «теории», которую в принципе отвергает. Эта солидаризация была возможна именно потому, что Лесков отрицал «теоретические» подходы и вместе с тем ставил во главу угла «христианскую терпимость» и прямой здравый смысл, не ограниченный теоретическими постулатами.

Было бы, однако, неверно забывать еще одно немаловажное мнение Н. Лескова, прямо относящееся к проблеме героя времени и положительного героя. Писатель был убежден, что общество в целом не готово к перестройке, а большинство людей, составляющих его,— к духовному преображению, которого требуют непременные черты положительного героя. Эту мысль он более чем определенно высказал в позднем рассуждении о романе «Некуда».

Крайние пути, указанные Чернышевским и Герценом, были слишком большим скачком для молодого поколения, и я не ошибался, говоря, что это поколение и все общество не подготовлено к таким скачкам, что оно изменит себе, изренегатствуется или просто опошлит всякое дело, за которое возьмется.

Если исправнический писец мог один перепороть толпу беглых у меня с барок крестьян при ее собственном содействии (см. лесковский рассказ «Продукт природы».— *В. Т.*), то куда идти с таким народом. «Некуда!» (Рахметов Чернышевского это должен был знать.) Я не хочу сказать, что нигилисты дрянь, а наше общество — лучше; я так никогда не смотрел на дело, и мое «Некуда» в лучших его представителях говорит, что в обществе не было никаких идеалов и нигилисты должны были искать их на стороне. Но Черны-

шевский должен был знать, что, восторжествуй его дело, наше общество тотчас же на другой день выберет себе самого свирепого квартального! Неужели вы не чувствуете этого вкуса нашего общества?» [76]

Итак, Лесков не являлся отрицателем позитивных идеалов социализма, но считал, что к революционным идеям, идущим с Запада, русское общество в целом не готово, и не желал, чтобы Россия была испытательным полигоном этих идей, ибо среди русских людей не выработался широко тип деятелей, способных взвалить на себя ношу преображения жизни на новых началах.

Исходя из этих представлений, Лесков искренно и убежденно считал праведников истинными положительными героями в современной жизни, т. е. утверждал, что герой-созидатель, герой-устроитель, а не герой-разрушитель, не герой-отрицатель несет в себе наиболее полно выраженный идеал положительного героя, какой он нужен настоящему времени. Так продолжался спор, начатый романом Чернышевского.

3

Проблема нового героя (и в связи с этим положительного героя), поставленная романом Чернышевского, воспринималась в литературе 60-х годов едва ли не как основная. По существу, большинство идейно-эстетических столкновений происходило в спорах о новом герое.

В романе «Обрыв» А. И. Гончарова достаточно отчетливо обнаруживается продолжение споров, вызванных романом «Что делать?». Обращаясь к этому роману, нам придется вернуться ко времени, предшествующему лесковскому роману «На ножах», к тому самому году, когда в журнале «Отечественные записки» появилась статья Н. К. Михайловского «Что такое прогресс?», в Женеве вышел в переводе П. Л. Лаврова на русский язык «Манифест Коммунистической партии», а в русской литературе появилось первое отдельное издание романа Л. Н. Толстого «Война и мир» и упомянутый роман И. А. Гончарова, произведение, вокруг которого вновь разгорелась полемика о молодом поколении, герое времени и положительном герое.

Название гончаровского романа многозначно: это и *обрыв-овраг*, где происходят драматические столкновения иных героев, это и *обрыв-разрыв* у некоторых героев тех связей с исконными началами русской жизни, с традициями, образом мыслей и принятыми отношениями людей, которые сложились в образованном русском обществе к середине XIX в.

Обратившись к роману, мы прежде всего почувствуем противопоставленные «миры»: европеизированный свет, город и деревенское общество, деревню, где только и может герой ощутить, как «повеяла на него струя свежего здорового воздуха, каким он давно не дышал» (ч. II, гл. 1).

Так атмосфера первой части романа противостоит части второй.

Но главное противопоставление, по поводу которого и разгорелись основные споры,— это конечно же противопоставление людей молодого поколения, и прежде всего Марка Волохова и Веры. В спорах и столкновениях этих героев развиваются основные суждения о «новых людях», притом опять же (как и у Лескова) о тех из них, кто проявляет экстремизм по отношению к сложившимся установлениям и началам социального поведения и культурным традициям.

Заметим, что эти споры так или иначе связаны с романом Н. Г. Чернышевского «Что делать?», к которому И. А. Гончаров отнесся отрицательно. В отзыве о журнале «Современник» за 1863 г., опубликованном в январе 1864 г., писатель высказался так: «...появление такого романа, как „Что делать?“ Чернышевского, нанесло сильный удар, даже в глазах его почитателей, не только самому автору, но и „Современнику“, где он был одно время главным распорядителем, обнаружив нелепость его тенденций и шаткость начал, на которых он строил и свои ученые теории, и призрачное здание какого-то нового порядка в условиях и способах общественной жизни» [77]. Позже он выражается еще более резко, фактически упрекая цензуру за то, что был пропущен, говоря его словами, «бездарный, тенденциозный памфлет „Что делать?“ под фальшивым паспортом романа» [78]. Известно, что больше всего волновало и возмущало Гончарова революционное мировоззрение и патетика, такие образы, как Рахметов, отталкивало и «новое решение вопросов морали, семейного счастья, свободы чувства, „женского вопроса“» [79]. Н. К. Пиксанов со ссылкой на В. Е. Евгеньева-Максимова указывает на ряд отзывов, в которых с особой непримиримостью высказалась позиция И. А. Гончарова о нарушении традиций семейственности, а также на его возмущение любым фактом женской «измены умному и честному мужу». Писатель считает, что отсутствие осуждения такого рода поступка в произведении, когда автор, можно сказать, склоняет читателя к тому, «что героиня как будто права, и даже находит в своей позорной страсти утешение и удовлетворение за все утраченное» [80] недопустимо, и утверждает, что подобного рода сюжеты «могут являться в печати, без подрыва начал нравственности, не иначе, как ⟨...⟩ добросовестно во всей полноте разработанные», причем следует «не изображать одни увлечения с умолчанием неминуемых тяжких последствий» (1864) [81].

Все это свидетельствовало, что Гончаров принял роман Чернышевского не без влияния «трактовки» реакционной прессы [82] и что его внимание сосредоточилось главным образом на тех проблемах и конфликтах, которые представлялись этой прессой в заведомо искаженном виде; кроме того, он (это становится очевидным из оценок) совершенно игнорирует художественную сторону романа. Спор, таким образом, перепосится от живых образов романа Чернышевского к схемам-фантомам, настойчиво муссируемым политическими противниками писателя.

Не касаясь эволюции образов-характеров гончаровского романа [83], обратим внимание, что в конечном варианте ни один из основных молодых его участников не может вполне удовлетворять представлениям о положительном герое. Ни Райский, в котором, по словам самого писателя, он желал «представить русскую даровитую натуру, пропадающую даром, без толку — от разных обстоятельств» («артистическая обломовщина») [84], ни Марк Волохов, «один из беспокойных умов, иногда очень живых и бойких, без подготовки науки и опыта, только с раздражительным самолюбием, с притязанием на роль и значение, но без всяких прав и способов, добываемых обыкновенно дарованием, знанием и трудом» [85], ни Марфинька, ни даже Вера.

Вместе с тем основной конфликт, представленный в драматическом диалоге Марка Волохова и Веры,— этот конфликт в русле поисков «новой» нравственности, конфликт между *старым* и *новым*,— Гончаров направляет против самозванцев «„новой жизни“, мнимой „новой силы“» [86] и «новой лжи» [87], т. е., по существу, признает, что тип молодого героя времени, положительного героя им не захвачен. Однако Гончаров писал, что ему светил «один артистический идеал: это — изображение честной, доброй, симпатичной натуры, в высшей степени идеалиста, всю жизнь борющегося, ищущего правды, встречающего ложь на каждом шагу, обманывающегося и, наконец, окончательно охлаждающегося и впадающего в апатию и бессилие от сознания слабости своей и чужой, то есть вообще человеческой натуры» [88].

В этом клубке разнохарактерных суждений о романе и его героях одно кажется нам наиболее волновавшим их автора — суждение о связи времен [89], причем более всего о связи культурных и нравственных традиций. Видимо, здесь, как представлялось Гончарову, корень всех общественных вопросов: будущее народа зависит от того, живы ли эти органические традиции, прочны ли их основы, полнокровна ли связь с историей, с прошлым, с истоками народной жизни. В этом отношении писатель, как видно, «смыкается» с Н. С. Лесковым: Гончаров также (и не без оснований) убежден, что в решении «экономических, социальных и прочих, входящих в круг общечеловеческой деятельности, вопросов» недопустим «разрыв» с традициями. Он, как и «постепеновец» Н. Лесков, считает, что все эти области общественного бытия «идут путем медленного, но глубокого развития» [90] и вовсе не выигрывают тогда, когда здесь разрываются связи со «старой жизнью».

Если же под старой жизнью разуметь историю, то опять можно спросить: почему следует отрываться от прошлого, разрывать всякое преемство с тем, откуда пришла современная жизнь, то есть внешнее ее движение? (...) Если справиться с действительностью, не окажется ли, что эта старая жизнь вовсе не отошла, что быт и нравы, описанные в этом и других рисующих старую жизнь романах, до сих пор составляют господствующий фон жизни, что, наконец, в этих самых нравах есть нечто, что, может быть, останется навсегда в основе русской коренной жизни, как племенные ее черты, как физиологические особенности, которые будут лежать в жизни

и последующих поколений и которых, может быть, не снимет никакая цивилизация и дальнейшее развитие, как с физической природы и климата России не снимет ничто ее естественного клейма [91].

Таким образом обнаруживается нечто значительное для оценки основного конфликта романа: писатель создает образ «носителя лжи» среди современной ищущей молодежи, чтобы отчетливее оттенить главнейшую, с его точки зрения, опасность: посягательство «самозваной силы», на «нечто, что, может быть, останется навсегда в основе русской коренной жизни». Это «нечто» имеет прямое отношение к идейно-эстетическим явлениям, это «нечто» опять же определяется сложившимися в обществе традициями социального поведения (на разных уровнях и в разных отношениях). Между тем основное столкновение, в котором эстетизированные традиции социального поведения испытываются новым подходом, «новыми» взглядами,— это любовная история Марка Волохова и Веры. В их драматических разговорах и определяется разность внутренних позиций людей, по-разному относящихся к «вечным» истинам, а значит, и к своему месту в жизни, выкристаллизовываются их полярные настроения. Все это особенно ясно высказывается в сцене одного из последних свиданий (спор о любви), отраженной более полно в черновиках романа.

— Любовь — долг! — сказала она, встав перед ним.

— Ведь это выдумка, сочинение, Вера, поймите этот хаос ваших правил и понятий — выдьте из него, и вы с этого же вечера почувствуете, как легко и просто жить на свете. Забудьте только, что любовь — долг, а думайте, что она влечение и потребность и что сдерживать эту потребность значит нарушать закон природы.

— Долг,— повторила она,— и это гораздо проще и естественнее того, что вы проповедуете, и ближе к природе. Этот долг она и устроила, а люди только угадали его и обратили в правило. Если вы, любя меня, для себя ли, для меня ли, пусть будет по-вашему, из эгоизма, но если мы дадим друг другу лучшие годы счастья — на нас лежит долг — остальную часть жизни платить один другому за это счастье [92].

В этом диалоге нетрудно заметить своеобразные «вариации» споров и суждений героев, исповедующих «разумный эгоизм», разумеется, представленные в крайностях и заметно «заостренные». Ведь если «жертва — сапоги всмятку», как говаривали герои Чернышевского, то *долг* также понятие «бессмысленное», ибо что такое *долг*, как не осознание необходимости жертвы и убежденное намерение следовать этой необходимости.

Марк Волохов, считая любовь влечением и потребностью, лишает ее *духовности*, говоря же о «природе», благословляющей якобы такой «подход», ограничивает самое понятие природы чувственно-биологической стороной, отметая сложную гамму ощущений, идей, настроений, свойственных человеку, находящемуся в русле культурно-исторических традиций. Таким образом, выявляется серьезная опасность: оказывается, идея разумного эгоизма, благородная в своем замысле, легко может быть извращена (ведь именно это и видим мы на примере М. Волохова) и тогда начинает служить не добру, а злу. Как не вспомнить здесь идею

Лескова о способности добрых теорий (в частности, направленных идей) переходить из добродетелей в пороки.

В предисловии к роману И. А. Гончаров указывает на неверный, по его понятиям, *подход* к оценке нравственно-эстетического совершенства. Это совершенство, согласно его представлениям, заключается вовсе не в поисках новых принципов социального поведения, но в приближении к уже сложившемуся идеалу человека: «...в нравственном развитии дело состоит не в открытии нового, а в приближении каждого человека и всего человечества к тому идеалу совершенства, которого требует Евангелие, а это едва ли не труднее достижения знания» [93]. Если освободить эту мысль от религиозных одежд, суть ее останется той же: основные нравственные начала неизменны, и люди должны лишь находить способы и силы для осуществления этих начал в своей жизни. Таким образом, вновь возникает спор, начатый в литературе Чернышевским, поставившим вопрос о «новых людях», точнее — людях нового, иного, чем обычно, поведения... И вновь не менее определенно, чем у Лескова, возникает здесь мысль о необходимости сберечь верность иным «старым прочным понятиям о жизни и счастье», сохранить постоянство «простого, но действительного дела» [94] и убеждение в том, что, «пока умственную высоту будут предпочитать нравственной, до тех пор и достижение этой высоты немыслимо, следовательно, немыслим и истинный, прочный человеческий прогресс» [95]. Эти идеи Гончаров, по существу, «вложил» в основной конфликт драмы, разыгравшейся между Волоховым и Верой. Эти люди были уже по-своему поняты и истолкованы (сами по себе, лишь «внешне» соотнесенные со всей художественной системой романа) рядом критиков. Гончарову ставили в вину едва ли не защиту мракобесия, ибо толковали смысл упомянутых образов Волохова и Веры, их «столкновение» как пренебрежение «сознательным отношением к природе и жизни, стремлением раскрыть законы, управляемые ими, и уменьем воспользоваться этими открытиями» [96]. Конечно же Гончаров не имел в виду всего этого, ведь, как утверждал писатель, его герой «в толпе разумной, основательно образованной молодежи... оказался бы несостоятельным и лишним» [97], а следовательно, образ Волохова направлен не против науки и образованности: скорее он относится к «недоучившимся Базаровым», т. е. призван воплотить известную аномалию среди героев времени. Однако (что уже отмечалось ранее) это была не безобидная аномалия: вульгарный нигилизм представлял немалую опасность своим разрушительным стремлением к полному позитивистскому разрыву с традиционными формами культурного существования, главное же — социально-этического поведения. Возникающий в конце романа символический образ России конечно же соотносится и с идеей «героя времени»: рано ли или поздно блудные сыны Отчизны, отбросив чужеземные моды, вернутся к своим кровным привязанностям. Мысль автора достаточно ясно проступает перед нами: как бы то ни было, не

алюминиевые дворцы, а простой, знакомый с детства деревенский дом влечет к себе сердца тех, кто не рубит сплеча все старое, не отвечающее моде и последней теории, а удерживает ценное из сложившихся национально-исторических традиций бытовой и духовной культуры. Основной пафос гончаровского скептицизма, направленного против нового типа отрицателей-осквернителей, широко распространившихся в те годы, имеет целью укрепить духовный потенциал национального характера, всеми корнями связанного с национальной историей. Этот пафос созидания нового, связанного тесным образом с национальной жизнью отзывается в мотивах и образах, которые мелькают в голове Райского. Отнюдь не случайно доминирует в его мыслях «царица скорби, великая русская Марфа, скованная, истерзанная московскими орлами, но сохранившая в тюрьме свое величие и могущество скорби по погибшей славе Новгорода...», а также «точно живые тени других великих страдалиц: русских цариц, менявших по воле мужей свой сан на сан инокинь и хранивших и в келье дух и силу» [98].

Очевидно, мысль, что «вера во спасение», великая сила жертвенности, беззаветная и светлая преданность долгу, слитые в единый порыв,— все это находит поддержку не только в разумном действии «по обстоятельствам», но в глубоких связях с истоками народного характера, с исторически сложившейся нравственностью.

Речь шла не о безысходном застое жизни, все время оглядывающейся назад, но о необходимости в нравственном бытии «исторических связей», удержания цепных этических начал. Именно об этом говорит весь контекст романа, и в этом смысле гончаровское произведение не отрицает те социально-этические поиски, о которых шла речь в романе «Что делать?». Однако в «Обрыве» налицо серьезное предупреждение: грубое отторжение национально-исторических традиций не может привести к созданию положительного героя, а лишь обозначает надрыв прежних устоев, нуждающихся в органическом обновлении. Между тем в пылу журнальной полемики эта мысль игнорировалась: все или ничего, старое или новое, кромешная тьма или ослепительный свет, кто не с нами, тот против нас.

Роман Чернышевского «Что делать?» с удивительной политической проницательностью наметил болевые точки общественного развития пореформенного времени, подняв массу важнейших тем, к которым так или иначе обращались все крупные писатели того времени. Среди них выдвинутая великим революционером-демократом тема героя времени, положительного героя, а значит, и достойного понимания жизни, достойного общественного бытия, поведения, поступков и пр.

Спор, возникший в связи с этой темой, с актуальными ее проблемами, не был завершен, но именно благодаря Чернышевскому он начал выходить на новый уровень осмысления.

[1] И. С. Тургенев в воспоминаниях современников и его письмах. М., 1924. Вып. 6. Ч. 1. С. 196.

[2] Принципы и ощущения: По поводу романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» // Отеч. зап. 1862. № 3. С. 97.

[3] Роман Тургенева и его критики // Рус. вестник. 1862. Т. 39. № 5/6. С. 394, 402.

[4] *Штакеншнейдер Е. А.* Дневник и записки (1854–1886). 1934. С. 49.

[5] *Щербина В. Р.* Ленин и вопросы литературы. М., 1967. С. 340.

[6] *Радек Л. С.* Герцен и Тургенев: Литературно-эстетическая полемика. Кишинев, 1984.

[7] *Кузнецов Ф. Ф.* Публицисты 1860-х годов: Круг «Русского слова». М., 1969. С. 242.

[8] *Добролюбов Н. А.* Собр. соч.: В 9 т. М.; Л., 1962. Т. 4. С. 333.

[9] *Скабичевский А. М.* Литературные воспоминания. М.; Л., 1928. С. 96.

[10] *Антонович М. А.* Литературно-критические статьи. М.; Л., 1961. С. 36, 37, 45, 46–47.

[11] *Писарев Д. И.* Схоластика XIX века // Рус. слово. 1861. № 5, разд. II. С. 58.

[12] *Писарев Д. И.* Базаров // Собр. соч.: В 4 т. М., 1955. Т. 2. С. 8.

[13] Там же. С. 7.

[14] **Там же. Т. 4. С. 11.**

[15] Там же. Т. 2. С. 21.

[16] Там же. С. 30.

[17] К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве. М., 1957. Т. 1. С. 266.

[18] *Лесков Н. С.* Собр. соч.: В 11 т. М., 1958. Т. 10. С. 14–15.

[19] Там же. С. 14.

[20] Там же. С. 15.

[21] Там же. С. 17–18.

[22] *Горький М.* История русской литературы. М., 1939. С. 236.

[23] См.: Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. СПб., 1906. С. 293.

[24] *Горький М.* История русской литературы. С. 236–237.

[25] *Потебня А. А.* Материалы Центрального государственного исторического архива УССР в Киеве. Ф. 2045. Ед. хр. 2–14. п. 3–3об. Цит. по: Контекст. 1977. М., 1978. С. 115.

[26] *Лесков Н. С.* Собр. соч. Т. 10. С. 19.

[27] Там же. С. 22.

[28] Там же. С. 21, 20.

[29] Там же. С. 21.

[30] Там же. С. 22.

[31] Там же. Т. 2. С. 137.

[32] Там же.

[33] Там же. С. 136.

[34] Там же. С. 446.

[35] Там же. С. 173.

[36] Там же. С. 457–458.

[37] См.: *Базанов В.* Из литературной полемики 60-х годов. Петрозаводск, 1941. С. 131.

[38] *Лесков Н. С.* Собр. соч. Т. 5. С. 270–271.

[39] *Лесков Н.* Литературно-полемический вопрос // Сев. пчела. 1863. **№ 166. С. 2.**

[40] *Лесков Н. С.* Соколий перелет: Записки человека без направления // Лит. наследство. М., 1977. Т. 87. С. 47.

[41] *Лесков Н. С.* Письмо к С. А. Юрьеву от 5 декабря 1870 // Собр. соч. Т. 10. С. 278.

[42] Там же. С. 22.

[43] Там же. С. 21.

[44] Там же. Т. 11. С. 230.

[45] Там же. Т. 2. С. 136.

[46] Там же. С. 629.

[47] Там же. С. 140.

[48] Там же.
[49] *Бурсов Б.* Вопросы реализма в эстетике революционных демократов. М., 1953. С. 271.
[50] См.: *Фаресов А. И.* Против течений. Н. С. Лесков. СПб., 1904. С. 59.
[51] *Лесков Н. С.* Собр. соч. Т. 2. С. 171–173.
[52] *Писарев Д. И.* Собр. соч. Т. 4. С. 26.
[53] *Лесков Н. С.* Собр. соч. Т. 2. С. 286.
См.: *Плещунов Н. С.* Романы Лескова. Баку, 1963. С. 59–60.
[55] *Горький А. М.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1953. Т. 24. С. 230.
[56] *Лесков Н. С.* Собр. соч. Т. 2. С. 267.
[57] После появления романа, как известно, появлялось немало артельных производственных объединений, мастерских, коммун. «Тысячи дам и девиц пытались открывать артельные мастерские по программе Чернышевского»,– писала Е. Щепкина. (Цит. по ст.: *Инполит И. К.* (И. К. Ситковский) Политический роман 60-х годов (Тургенев и Чернышевский) // Литература и марксизм. 1931. Кн. 1. С. 17). См. также: *Бродский Н.* Н. Чернышевский и читатели 60-х годов // Вестник воспитания. 1914. IX; *Скафтымов А.* Роман «Что делать?» // Н. Г. Чернышевский: Неизданные тексты, статьи, материалы, воспоминания. Саратов, 1926. С. 92–140; и др.
[58] *Лесков Н. С.* Божедомы (Соборяне). Ч. 2 // ЦГАЛИ. Ф. 275. Ед. хр. 3. Л. 88–90.
[59] *Лесков Н. С.* Обойденные // Полн. собр. соч. 3-е изд. СПб., 1902. Т. 6. С. 133, 134.
[60] *Лесков Н. С.* Некуда // Собр. соч. Т. 2. С. 140.
[61] *Лесков Н. С.* Обойденные // Полн. собр. соч. Т. 6. С. 70.
[62] Там же. С. 71.
[63] Там же.
[64] Там же.
[65] Там же. С. 82.
[66] Там же. С. 83.
[67] См.: *Эм И.* Как работают наши писатели (Н. С. Лесков) // Новости и биржевая газета. 1895. № 49.
[68] См.: *Достоевский Ф. М.* Письмо А. Н. Майкову от 30 января 1871 // Полн. собр. соч. Т. 29, кн. 1. М., 1986. С. 172; *Горький А. М.* Несобранные литературно-критические статьи. М., 1941. С. 87.
[69] Там же.
[70] *Лесков Н. С.* На ножах // Полн. собр. соч. Т. 23. С. 133.
[71] Там же. С. 136–138.
[72] *Горький М.* Полн. собр. соч. Т. 24. С. 146.
[73] *Лесков Н. С.* Полн. собр. соч. Т. 23. С. 137.
[74] *Жегалов Н. Н.* Лесков и Горький // Лесков и русская литература. М., 1988. С. 223.
[75] *Лесков Н. С.* Соколий перелет. Записки человека без направления // Лит. наследство. М., 1977. Т. 87. С. 47.
[76] Цит. по кн.: *Фаресов А. И.* Против течений. СПб., 1904. С. 65.
[77] Звезда. 1926. № 5. С. 190.
[78] *Гончаров И. А.* Письмо А. Ф. Писемскому от 4 декабря 1872 // Собр. соч.: В 8 т. М., 1955. Т. 8. С. 447.
[79] См.: *Пиксанов Н. К.* Роман Гончарова «Обрыв» в свете социальной истории. Л., 1968. С. 53.
[80] Там же. С. 54.
[81] Там же.
[82] См.: *Крамаренко-Невельштейн Н. П.* Борьба вокруг романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?» в литературной критике 60-х гг. // Учен. зап. Даугавпилс. пед. ин-та. Сер. гуманитарных наук. Вып. 3. Даугавпилс, 1959.
[83] См.: *Пиксанов Н. К.* Указ. соч. С. 54–68.
[84] *Гончаров И. А.* Письмо С. А. Никитенко от 21 августа / 2 сентября 1866 // Собр. соч. Т. 8. С. 366.
[85] *Гончаров И. А.* Предисловие к роману «Обрыв» // Собр. соч. Т. 8. С. 143.
[86] Там же.

[87] *Гончаров И. А.* Лучше поздно, чем никогда // Собр. соч. Т. 8. С. 93.
[88] *Гончаров И. А.* Указ. письмо С. А. Никитенко // Собр. соч. Т. 8. С. 366.
[89] Автор статьи «Из истории создания романа И. А. Гончарова „Обрыв“ (К эволюции образов Веры и Марка Волохова)» Л. С. Гейро пишет: «Свой последний роман Гончаров посвятил трагедии поколения, занятого напряженными поисками своего места в обществе и истории и не нашедшего его...» (Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома. Л., 1973. С. 60).
[90] *Гончаров И. А.* Предисловие к роману «Обрыв» // Собр. соч. Т. 8. С. 158.
[91] Там же. С. 159.
[92] *Гончаров И. А.* ‹Рукопись 12 гл. романа «Обрыв». Л. 39об., 40об› // Цит. по: Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома. 1973. Л., 1976. С. 65–66.
[93] Там же. С. 157.
[94] *Гончаров И. А.* Обрыв. М., 1950. С. 656.
Там же. С. 729.
[96] *Салтыков-Щедрин М. Е.* Уличная философия (По поводу 5-й части романа «Обрыв» // Н. Щедрин (М. Е. Салтыков) о литературе. М., 1952. С. 396.
[97] *Гончаров А. И.* Предисловие к роману «Обрыв» // Собр. соч. Т. 8. С. 143.
[98] *Гончаров И. А.* Обрыв. М., 1950. С. 662–663.

Э. Л. Афанасьев

РОМАН Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО «ЧТО ДЕЛАТЬ?» И ЖИЗНЕННЫЙ ИДЕАЛ НАРОДОВОЛЬЦА

Особенностью данной работы является то, что в ней явления литературы сопоставляются не с подобными же явлениями литературы, как это чаще всего бывает, а с фактами и явлениями действительной жизни. Точнее говоря, здесь предпринята попытка проследить, как литературное произведение — в данном случае роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?» — его «новые люди» и идеальный революционер (Рахметов) послужили образцом для передовой русской молодежи и повлияли на сложившийся в 70-е годы прошлого века тип личности героя-народовольца.

В истории не раз отмечались случаи, когда литература, чутко улавливая общественные настроения, художественно предвосхищала тот или иной человеческий тип, который с этих пор как бы входил в моду и вызывал нередко массовое подражание («байронический герой», «лишние люди» и пр.). И уже и в XIX в. на этом своеобразном явлении не раз останавливались критики, социологи, историки культуры. О нем, например, размышлял Ф. Достоевский; ему посвящена целая глава нашумевшей в свое время книги «Парадоксы», автор которой — Макс Нордау — был весьма популярен и у нас в России; писали об

© Э. Л. Афанасьев, 1990

этом и К. Леонтьев и др. Последний даже всерьез утверждал, что «тургеневской» девушки до Тургенева в русской жизни он никогда не видал, потому что ее и не было, и что появилась она потом, под впечатлением от тургеневских героинь. Были и другие попытки проанализировать сходные явления.

Однако в данном случае мы имеем дело с произведением Н. Г. Чернышевского, автора, который отстаивал право литературы на активно-преобразующую роль в жизни общества и нацеленно, сознательно написал роман, на котором воспитывались бы революционеры. Так оно и случилось. Причем роман Чернышевского служит своеобразным учебником жизни не для одного, а для нескольких поколений. О великой преобразующей силе романа писали и В. И. Ленин [1], и Г. Димитров, и Г. Плеханов и другие выдающиеся революционеры.

Цель нашей статьи — проследить это преобразующее влияние в среде героев «Народной воли», или, лучше сказать, в среде поколения, лучшим выражением которого и были народовольцы.

Это поколение было первым, в широком, массовом масштабе усвоившим идеи романа, и не просто усвоившим, но и переменившим по ним всю свою жизнь. В самом деле, предыдущее поколение (рождения начала 40-х годов) выдвинуло если не единицы, то всего лишь десятки революционеров (П. А. Кропоткин, Ю. Л. Ашенбреннер и др.), которые в большинстве своем были воспитанниками столичных высших военных заведений. Блестяще образованные, они не нуждались в объяснении того, что такое социализм и что такое для русской жизни Чернышевский; к тому же привычка к суровой дисциплине много облегчала усвоение рахметовского ригоризма. Большинство же молодежи 60-х годов воспринимало роман несколько по-другому: оно читало роман, что-то заимствовало оттуда, перенимало в свой обиход, но все-таки его базаровско-нигилистический профиль узнавался без труда. И не случайно, что никого из официозных писателей это не насторожило; а когда (через 16 лет!) в 1879 г. П. Цитович написал свой памфлет «Что делали в романе „Что делать?“», который он старательно напитал журналистским ядом, было уже поздно: на романе уже воспиталось целое поколение.

Между тем, сколько нам известно, подобная тема еще не была поставлена ни в литературоведении, ни в смежных исторических дисциплинах. Это, очевидно, объясняется многими причинами, в обсуждение которых мы вдаваться не будем. Заметим лишь, что, видимо, не в последнюю очередь это вызвано и тем, что от народовольцев осталось немного таких документов, в которых бы они фиксировали, как складывалось, как происходило их духовное становление. В 70-е годы, в пылу революционной деятельности, естественно, не было для этого ни досуга, ни сил, ни времени; да и рискованно было, по условиям конспирации, оставлять какие-либо бумаги, письма и пр. Надлежащий досуг народовольцы получили только тогда, когда царским правительством были упрятаны за тюремные решетки. «Мне,— вспоминала

В. Н. Фигнер,— как, вероятно, большинству лиц, попадающих в тюрьму после долгой революционной деятельности, и благодаря ей, не имевших досуга для самоуглублений, пришлось впервые восстановить в памяти всю мою жизнь — с момента, когда появилось отчетливое сознание, и до последней минуты свободы,— припомнить все влияния, все этапы развития моей личности. Эта напряженная, сосредоточенная умственная работа по своей новизне и содержанию была увлекательна, интересна и плодотворна» [2].

Однако поделиться результатами своих плодотворных умственных наблюдений большинству народовольцев было не суждено. Многие из героев «Народной воли» погибли на эшафоте, еще больше в застенках Петропавловки и Шлиссельбурга, на каторге и т. д. И только единицам посчастливилось дожить до освобождения и написать воспоминания.

Эти воспоминания писались тридцать — сорок, а порой и шестьдесят лет спустя после описываемых событий. Естественно, что многое уже потеряло для авторов остроту и актуальность; не безгранична и не всесильна и человеческая память. И тем не менее эти воспоминания — ценнейший источник, и они положены в основание данной работы.

Однако, выдающаяся роль Чернышевского и его романа в воспитании народовольца не выводится автоматически из чтения этих материалов. Более того, даже там, где народовольцы прямо признают влияние Чернышевского, это влияние трудно, если не невозможно отделить от влияний иных идеологов — Лаврова, Бакунина и др. Поэтому было бы натяжкой приписывать одному Чернышевскому такое влияние на личность, которое, очевидно, принадлежит всей революционной идеологии в целом. Более того, если попытаться выделить «в чистом виде» идущее от Чернышевского, то мы должны будем признать, что это вряд ли осуществимая, а может быть, и неисполнимая задача. Но, на наш взгляд, этого и не стоит делать.

Личность народовольца складывалась под решающим воздействием двух факторов: передовой русской литературы и самой жизни. Причем в первом случае мы имеем в виду произведения наших крупнейших писателей, которые давно уже именуются классиками — Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова и др.— и которые воспитывали молодое поколение в духе любви и уважения к простому народу, в духе служения этому народу. Не менее важным и решающим было воздействие самой действительности, где наиболее характерными приметами были нищета и забитость крестьянства, бесправие общества и т. д. Сама жизнь революционизировала сознание подростков. «Как случилось мое последовательное революционизирование,— вспоминал Н. А. Морозов,— я не мог бы рассказать. Все было так постепенно и незаметно, и так вели к этому все условия русской жизни...» [3] Ему вторит другой народоволец. «Я любил читать,— пишет В. К. Дебогорий-Мокриевич,— но не мог бы указать теперь на книгу или автора, оказавшего на меня особое влияние. Взгляды

или, вернее сказать, ощущения мои являлись скорее продуктом самой жизни и окружающей обстановки, нежели чтения» [4].

Поэтому, когда молодой революционер знакомился с собственно произведениями теоретиков социализма, он был к этому уже подготовлен. И Чернышевский, и Лавров, и Бакунин дополняли, уточняли, довершали для молодого социалиста дело ясного осознания жизненных целей. И сочинения революционных теоретиков, и революционные события потому-то и оказывали такое впечатление, что почва была возделана; к восприятию этого молодежь была готова.

Личность народовольца совершенствовалась, выявляла новые грани, раскрывалась в политической борьбе за освобождение народа, в повседневной революционной работе. Это немаловажное обстоятельство. В конце концов воспринятое из книг, и только из книг, легко могло оказаться мертвым грузом (как это порой и оказывалось [5]), если бы теория, теоретические представления тут же не проверялись практикой, не совершенствовались ею. (Молодежи 70-х годов была свойственна не только своего рода стремительная отзывчивость на теорию, но и ценная способность идти наикратчайшими путями от теории к практике.)

Именно в практической революционной работе и сложился, сформировался тип личности народовольца; в отечественной истории первый тип личности, который имел отчетливо выраженные социалистические черты.

Среди множества признаков этого типа (напомним, что движение было массовым и в него были втянуты тысячи людей) можно выделить наиглавнейшие, которые были присущи всем виднейшим деятелям «Народной воли». Это наличие и сходство черт личности в характерах виднейших народовольцев позволяет с уверенностью говорить о существовании устойчивого, твердого жизненного идеала народовольца.

Этот идеал мог сознаваться очень ясно. И великие революционеры «Народной воли» — Александр Михайлов, Андрей Желябов, Софья Перовская, Вера Фигнер, Михаил Фроленко, Николай Морозов и др.— не только были лучшим воплощением типа народовольца, но и вполне целенаправленно, осмысленно работали над собой, совершенствовали себя в направлении этого идеала.

Ближайшее рассмотрение характерных черт личности народовольца приводит к естественному выводу, что личность эта в наиглавнейших своих чертах оказывается в весьма высокой степени близкой к тому, что завещал в своем романе (и, добавим, вообще своим жизненным поведением) Чернышевский.

Конечно, революционеры-народовольцы привнесли в идеальное представление о революционере некоторые особые черты. Точнее сказать, воплощая это представление в жизнь, они дополнили, в чем-то обогатили его, а в чем-то пошли дальше; очевидно, имело место и известное несовпадение, несходство с тем, что начертал Чернышевский, и на этом мы остановимся ниже. Но в главном, в решающем, в существенном совпадение было полным.

Личность народовольца выработалась в политической борьбе. Революционной борьбе она, собственно, и обязана своим появлением; с нарастанием же политической борьбы в России за десятилетие, прошедшее с 1871 (условной точкой отсчета может служить нечаевский процесс) по 1882 г. когда разгромленная полицией «Народная воля» фактически перестает существовать, и происходит становление и развитие этой личности. Логика революционной борьбы заставляла выявлять, выделять, ставить во главе движения наиболее сильное, наиболее действенное, наиболее революционное в кадрах. Она же заставляла совершенствоваться, кристаллизоваться самый тип личности героя-народовольца, выявляя его самые героические и революционные свойства.

Поэтому совершенно естественно, что особое внимание в нашей работе уделено анализу личности выдающихся революционеров-семидесятников, логикой революционной борьбы поставленных во главе «Народной воли»,— членов ее Исполнительного комитета. Такая оговорка представляется необходимой и весьма существенной. Дело в том, что пережить тюрьмы, крепости и каторгу и впоследствии написать что-то о прошлой революционной работе вообще смогли очень немногие народовольцы, а среди тех немногих большинство в решительный момент борьбы с царизмом (1879—1881) находилось на периферии организации. Поэтому если с равным вниманием относиться ко всем материалам, которые «все пережившие и все прошедшие» народовольцы оставили после себя (автобиографии, статьи, воспоминания и пр.), то легко может возникнуть впечатление, что тип народовольца — понятие несколько расплывчатое, недостаточно оформленное, с трудом поддающееся определению. Между тем это совсем не так, и обращение к биографическим материалам, оставшимся после выдающихся деятелей партии, ставит все на свои места.

1

О популярности Н. Г. Чернышевского, его сочинений и в их числе знаменитого романа «Что делать?» в среде революционной молодежи 70-х годов упоминает, в сущности, каждый исследователь народовольческого движения. Однако конкретно вопрос о влиянии романа на жизненный идеал народовольцев еще не ставился. Между тем он представляется весьма важным как для выяснения того, что почерпнули народовольцы в романе, как они его прочитывали, так и с точки зрения выявления сущностных черт облика и поведения героев «Народной воли».

«Народная воля» просуществовала всего несколько лет, но ее энергическая деятельность впервые создала тип русского профессионального революционера. Тип этот в большой русской литературе не нашел сколько-нибудь адекватного и полного выражения. Писатели последней четверти XIX в.— даже будь на то у них горячее желание — писать не могли по вполне понятным причинам. Впоследствии же тип этот в значительной мере утратил

свою актуальность, ибо на смену народническому движению пришли пролетарские революционеры.

Поэтому Вера Фигнер была права, когда с заметным сожалением писала о том, что тип революционера, «психология революционера еще ждет своего исследователя и художника» [6]. Ее вывод еще можно попытаться оспорить, если иметь в виду революционера вообще. Да и то, на наш взгляд, лишь до некоторой степени. Однако для революционера-народовольца суждение ее представляется бесспорной истиной.

В значительной мере именно для того, чтобы восполнить этот зияющий пробел, и обратились многие бывшие деятели народнического движения и почти все из уцелевших, оставшихся в живых после Петропавловки, Кары и Шлиссельбурга народовольцев к воспоминаниям, статьям и запискам. Естественно, что среди этих публикаций были воспоминания и статьи исключительной ценности; но было немало и такого, что больше прорисовывало исторический фон, чем сообщало о каких-либо важных акциях «Народной воли». Что и неудивительно, если учесть, что многие из авторов были на вторых или даже третьих ролях в делах «Народной воли». Но, несомненно, у историка, который основывался бы только на их свидетельствах, получилась бы самая превратная картина.

Интересно, что Лев Тихомиров, бывший крупнейший публицист партии, такое положение предвидел. Он, правда, добавлял, что оставшиеся в живых люди естественно постараются возвеличить собственную роль [7], но зачастую искажения были бессознательные. Ведь каждый из пишущих брался за перо не только для того, чтобы восстановить историческую справедливость, но также чтобы отчитаться перед собственной совестью, перед памятью погибших, перед потомками, наконец. Каждому надо было доказать (не в последнюю очередь и себе), что не зря он жил, действовал, не напрасно загубил лучшие лета своей единственной жизни в сибирской ссылке, где полицейский надзор все-таки был еще достаточно патриархальным, или тем более во вполне «европейских», самых жестоких тюрьмах, где режим был самым свирепым.

Предупреждая подобные искажения, Тихомиров и взялся за перо. И хотя к тому времени он был давно уже монархист и давно уже отрекся от своего революционного прошлого, он сообщает о многих событиях и фактах, которые второстепенный, а тем более рядовой участник движения знать никак не мог. Это и неудивительно, если вспомнить, что «Народная воля» представляла собой самую лучшую допролетарскую революционную организацию. Дисциплина и конспирация в ней были поставлены на исключительную высоту. (Не случайно об организации партии «Земля и воля» — прообразе «Народной воли» с таким уважением отзывался В. И. Ленин.) [8]

Как известно, во главе партии стоял Исполнительный Комитет (ИК), в состав которого входили выдающиеся революционеры

А. Д. Михайлов, А. И. Желябов, С. Л. Перовская, В. Н. Фигнер, М. Ф. Фроленко, Л. А. Тихомиров, Н. А. Морозов, М. Н. Оловенникова и др. Свое руководство ИК осуществлял через сеть агентов 1-й степени, которым подчинялись агенты 2-й степени и т. д., по нисходящей. Участвующие в какой-либо операции люди знали только своего непосредственного руководителя, который получал свои инструкции от агента 1-й степени или от члена ИК. Таким образом, основной принцип, положенный в основу деятельности партии, был принцип строжайшей централизации. Это исключало почти любую возможность провала, и действительно, в течение ряда лет, несмотря на самые рискованные операции, «Народная воля» избежала сколько-нибудь серьезных провалов и была неуловима для полиции.

Членов Исполнительного комитета «Народной воли» нередко называли «цветом русской интеллигенции конца 70-х годов». И с этим трудно спорить. «Народная воля» создала тип профессионального революционера, и с особой яркостью, с особой рельефностью этот тип был отчеканен в деятеле ИК. Здесь был собран лучший человеческий материал партии [9]. Всем членам ИК без исключения были свойственны выдающиеся моральные качества — «огромная действенная энергия, большая сила воли и беспредельная стойкость. Между членами ИК не было ни одного честолюбца» [10], интересы партии, дело освобождения народа были для каждого из них превыше всего. Ради успеха дела они готовы были пожертвовать жизнью и жертвовали ею. Их мужественное поведение на суде, в тюрьмах и на эшафоте создало им непререкаемый моральный авторитет и в России, и за границей.

Сказанное выше определяет круг основных источников, а также характер данной работы. Основное внимание уделено воспоминаниям виднейших деятелей «Народной воли» — членов Исполнительного комитета [11]; в тех случаях, когда таких воспоминаний нет (С. Перовская, А. Желябов, А. Квятковский и др.), привлекались биографические и иные материалы [12]. На страницах мемуарной и биографической литературы запечатлены черты духовного и морального облика народовольца, что и позволяет сделать выводы о жизненном идеале деятелей народовольческого движения, о способах решения ими основных поведенческих проблем, а также о том, как соотносилось все это с заповедью Чернышевского, с тем, что он завещал передовой молодежи в своем романе «Что делать?».

2

Несмотря на то что историки народовольческого движения всегда упоминали Чернышевского в качестве одного из предтеч революционного движения русской молодежи 70-х годов XIX в. общее мнение было таково, что его проповедь дошла до этого поколения в весьма трансформированном виде, а сам Чернышев-

ский, будучи «бесспорным властителем дум молодого поколения 60-х годов», на молодежь следующего десятилетия прямого влияния уже не имел [13]. Народники (а затем и народовольцы) чтили в нем «великого учителя социализма», но истинными идеологами и теоретиками революционного народничества были П. Лавров, М. Бакунин, П. Ткачев, П. Кропоткин и Н. Михайловский [14]. Все это действительно так, но этот взгляд нуждается в известном уточнении. Чернышевский не ушел в прошлое и не обратился в страдальческую только фигуру; он имел и опосредованное, и, что гораздо важнее, прямое, непосредственное воздействие на революционную молодежь 70-х годов, и не случайно современные исследователи склонны признавать, что «влияние Чернышевского было в 70-е годы гораздо значительнее, чем это обычно отмечается в литературе» [15]. Изучение материалов народовольческого движения позволяет присоединиться к последнему мнению [16].

Воздействие Чернышевского шло в основном по двум каналам. Во-первых, на произведениях Чернышевского, и шире — революционных демократов 60-х годов, были воспитаны вероучители народничества. П. Лавров и П. Кропоткин особенно настаивают на том, что их к социализму привела проповедь Чернышевского. Лавров не однажды называл Чернышевского с Герценом «главными учителями». Кропоткин, который по возрасту был ближе к молодежи и даже принимал непосредственное участие в революционном движении вместе с будущими народовольцами, прямо выводил народничество из деятельности Чернышевского и других революционных демократов 60-х годов [17]. Кропоткин и другие «старшие народники», таким образом, как бы осуществляли живую связь поколений.

При этом, на наш взгляд, следует особо оговорить одно важное обстоятельство, которое необходимо учитывать при рассмотрении вопроса о формировании идеологии передовой молодежи в России в это время. Дело в том, что, хотя молодежь испытывала разные идеологические влияния, последние ни в коей мере нельзя назвать разнородными. Более того: выходило так, что все они действовали в одном направлении. Идеологи могли спорить друг с другом, и спорили: Писарев оспаривал Чернышевского, а Бакунин — и Писарева, и Лаврова, но на формирование личности будущего народовольца это обстоятельство влияния не имело. Сама жизнь, «уроки жизни» (выражение Веры Фигнер) заставляли выбирать из теорий самое действенное, наиболее применимое в теперешней обстановке. Жизнь помогала безболезненно отделять насущное, революционное от сиюминутных полемических крайностей и пр. Поэтому эти разновременные и, казалось бы, в чем-то разнородные, спорящие между собой влияния не просто удачно дополняли друг друга, помогая усовершенствовать идеологические представления, но и являли собой целенаправленные воздействия. Под влиянием российской действительности теории поворачивались нужной, наиболее действенной стороной. Беспра-

вие народа было так велико, что и самые теории не могли быть какими-либо умозрительными и слишком абстрактными. Поэтому в идеологии народовольцев сосуществовали учение Лаврова о партии, о революционной организации, учение Бакунина о государстве как об антинародной силе, как о злокачественной опухоли на теле народа; поэтому личность народовольца усвоила критические моменты пропаганды Писарева, связав их с представлениями Чернышевского о «новых людях», о типе революционера; наконец, революционная молодежь разделяла общую для всех революционных идеологов веру в социалистические инстинкты крестьянской общины и мысль о неоплатном долге всякого интеллигента, всякого мыслящего человека перед страдающим большинством населения России.

Эту особенность народнических (а затем и народовольческих) представлений и сложный состав их идеологии подметил Герман Лопатин, который в письме Ф. Энгельсу писал, что народники «ухитряются подчас соединять воедино вещи совершенно несовместимые и делают общую смесь (правда, весьма крепкую и весьма революционную) из Прудона, Маркса и Дюринга только на том основании, что все трое находятся в крайней оппозиции» [18]. Конечно, народники «не ограничивались только такой смесью» [19], замечает современный исследователь; однако для нас в этом суждении Г. Лопатина весомо признание умения русских революционеров 70-х годов составлять «весьма крепкую и весьма революционную» идеологию.

Таким образом, ни Лавров, ни Бакунин, ни другие теоретики не отменяли воздействия Чернышевского. Однако наиболее сильно это воздействие сказалось прямым и непосредственным образом, когда молодежь с жаром принялась изучать произведения великого революционного демократа. Одна из сторон такого воздействия — быть может, наименее исследованная — и будет предметом нашей работы.

* * *

Было бы вполне естественным представить, что знакомство с Чернышевским произошло у будущих народовольцев еще в ранней юности.

Герои «Народной воли» принадлежали в основном к поколению конца 40-х — начала 50-х годов, и потому в 1863 г., когда состоялась печально известная церемония на Мытной площади, все они были подростками, только еще просыпающимися к сознательной жизни. Можно сказать, что гражданская казнь, расправа над Чернышевским для большинства из них совпала с пробуждением личности, и поэтому вполне допустимо предположить, что многим будущим народовольцам этот эпизод мог весьма запомниться. Они еще смутно могли уразуметь его значение, они еще, естественно, не знали, кто был для русской жизни Чернышевский, поэтому восприятие их должно быть прежде всего эмоционально окрашенным, юношеским. Но чутье могло подсказать, и подсказать верно, за что «государственный преступник» удо-

стоился подобной участи. В таких условиях процесс над Чернышевским разбудил бы этих юношей, будущих героев-народовольцев точно так же, как 13 июля 1826 г. «разбудило» Александра Герцена и Николая Огарева.

Однако подтвердить такое допущение документальными свидетельствами мы не смогли [20]. Народовольцы давали себе клятвы отдать борьбе за освобождение народа все силы и даже жизнь; они действительно давали такие «аннибаловы» клятвы в ранней юности, но пробуждение к осмысленной оценке происходящих событий у большинства из них произошло позднее расправы над Чернышевским [21].

Это во многом объяснимо тем, что большинство народовольцев были выходцами из самых простых русских семей или скромных дворянских, живших в российской глубинке, вдали от северной столицы. К тому же, делу Чернышевского не дали большой огласки.

Даже каракозовский процесс (1866), который был гораздо громче, не всколыхнул всю Россию, как об этом пишет П. Кропоткин [22], и глубокое впечатление он произвел, по-видимому, лишь на ровесников самого Кропоткина, и у весьма немногих народовольцев он остался в памяти. Лев Тихомиров запомнил его лишь из-за курьезного случая, который приключился на благодарственном молебне в гимназии по поводу спасения царя: один старичок-учитель заплакал, узнав, что «русский стрелял в русского царя» [23], гимназисты, естественно, потешались, и из-за насмешек над учителем случай и запомнился.

Поэтому «повзросление» будущих народовольцев происходило в основном в 1870—1871 гг. Здесь можно отметить воздействие нескольких событий. Прежде всего надо сказать о лавровских «Исторических письмах», отдельное издание которых появилось в 1870 г. Чтение этой небольшой книжки сопровождалось необыкновенным энтузиазмом: несмотря на сухой, наукообразный стиль автора, книжка потрясала и переворачивала сознание мыслью о неоплатном долге перед народом. «Мы готовились,— вспоминал Н. С. Русанов,— стать „мыслящими реалистами“ (по Писареву)... и вдруг небольшая книжка говорит нам, что на одной анатомии лягушки далеко не уедешь; ...что есть история, есть общественный прогресс, есть, наконец, народ, голодающий, замученный трудом народ, рабочий люд, который поддерживает на себе здание цивилизации и который только и позволяет нам заниматься лягушками и всякими другими науками; есть, наконец, наш неоплатный долг перед народом, перед великой армией трудящихся» [24]. Сходным же образом описывают свои впечатления и другие народники [25].

Известное влияние на русскую молодежь имели события Парижской коммуны. Это воздействие отмечено далеко не всеми, но в учебных заведениях, там, где преподавание вели прогрессивно настроенные преподаватели, это событие — разгром Коммуны — переживалось достаточно остро [26]. (Попутно скажем, что

роль передового провинциального учителя, труженика просвещения в воспитании демократических и даже революционных настроений молодежи все еще не изучена.)

И наконец, нечаевский процесс (1871). Отзвук этого события достаточно силен. Оно вызвало противоречивые впечатления. Единодушное неприятие действий и методов С. Нечаева было явным; но факт существования кружка Нечаева наводил многих молодых людей на мысль о создании какой-либо собственной организации.

И довольно скоро уже вся Россия покрылась сетью кружков самообразования. В этих кружках читали сначала легальную, изданную в России литературу, потом настал черед и заграничных изданий. До русской молодежи донесся далекий голос Бакунина.

Именно это время — начало 70-х годов — и следует считать временем массового знакомства прогрессивно настроенной молодежи с идейным наследием Н. Г. Чернышевского.

Конечно, как и во всяком правиле, здесь были исключения. М. Ашенбреннер, который, правда, был заметно старше будущих своих товарищей по «Народной воле», изучал экономические и публицистические статьи великого революционного демократа еще в университете (1860), он вспоминал, что на Белинского студентам указал их преподаватель Н. С. Тихонравов [27]. На развитие С. Перовской большое влияние имел ее старший брат. «Когда Соне было 15 лет,— вспоминала А. И. Корнилова-Мороз,— он стал привозить Писарева, Добролюбова, Чернышевского» [28]. Эти книги обыкновенно читались вместе, в присутствии матери. Большим поклонником Чернышевского был дядя В. Фигнер; но «из сочинений Писарева,— свидетельствует она,— он дал мне очень немногое, а Чернышевского я (ей было 17 лет.— *Э. А.*) просто не поняла» [29]. Но такие примеры немногочисленны: они характерны только для выходцев из семей с известными культурными традициями [30]. У громадного большинства будущих народовольцев таких преимуществ не было.

Когда между кружками самообразования начали возникать связи, была установлена программа самообразования. В этой программе в списке обязательного чтения произведения Чернышевского заняли одно из первых мест. Наибольшим авторитетом в это время Чернышевский пользовался как выдающийся, «великий экономист» [31]. Да и несколько позднее в своем письме к американскому народу Исполнительный комитет партии «Народная воля» назовет Чернышевского «светочем политико-экономической науки». Его Примечания к книге Д. С. Милля «Политэкономия» изучали буквально все [32]. Широкое хождение имели и политические статьи революционного демократа, и диссертация, и литературная критика [33]. При обыске у некоторых народников находили целые собрания сочинений Чернышевского [34]. О популярности его знаменитого романа мы скажем ниже. Таким образом,

практически весь Чернышевский изучался революционной молодежью [35]. Совершались даже специальные поездки за границу, чтобы купить те сочинения его, которые по тем или иным причинам трудно было достать в России и которые для России издавались эмигрантами [36].

Но, конечно, наибольшее влияние на революционную молодежь, на будущих народовольцев в частности, оказал роман «Что делать?».

3

Роман «Что делать?» имел громадную популярность в 70-е годы. На этот счет имеется множество свидетельств; мы приведем только некоторые. Вот, например, что говорил Г. Плеханов: «С тех пор, как завелись типографские станки в России, и вплоть до нашего времени ни одно печатное произведение не имело такого успеха, как „Что делать?“» [37] Свидетельство Плеханова представляет для нас особую ценность, потому что он сам был активным народником, участвовал в «хождении в народ», затем был членом «Земли и воли» и «Черного передела». Он говорит не только как историк общественного движения, но и как живой свидетель; и если мы еще имеем право усомниться в его выводе относительно всех времен, то относительно его времени — 70-х годов — мы сомневаться не можем: это он наблюдал сам.

Но мнение Плеханова может подтвердить голос с другого полюса общественной жизни. В 1879 г. был издан нашумевший памфлет П. Цитовича «Что делали в романе „Что делать?“». Памфлет издавался много раз (в одном только 1879 г. не менее пяти раз); ясно было, что он имел читателя и определенные общественные силы ему доверяли. Вот что пишет Цитович: «За 16 лет пребывания в университете мне не удавалось встретить студента, который бы не прочел знаменитого романа еще в гимназии, а гимназистка 5—6 класса считалась бы дурой, если бы не ознакомилась с похождениями Веры Павловны (иногда по совету своего учителя гимназии)» [38]. Наблюдение Цитовича подтверждает и выпущенное секретно осведомительное издание: «Роман Чернышевского имел большое влияние даже на внешнюю жизнь некоторых недалеких и нетвердых в понятиях о нравственности людей, как в столицах, так и в провинции» [39].

Авторское намерение сказать напутственное слово молодежи скоро поняли и друзья, и соратники, и недруги писателя. Уже в 1864 г. Д. Писарев писал: «Недаром роман носит заглавие: „Что делать?“ Тут действительно дается нашим прогрессистам самая верная и вполне осуществимая программа деятельности» [40]. А через полтора десятилетия уже упоминавшийся П. Цитович имел все основания написать: «...в нем отложено все, что уже выработано в годы предыдущие, а равно и намечено все, что потом развито, разработано и переведено в практику в годы позднейшие. Роман „Что делать?“ не только энциклопедия, справочная книга, но и кодекс для практического применения „нового сло-

ва". В нем „новые начала" воплощены в лицах, осуществлены в поступках, с точным указанием средств проведения „начал" в действительность» [41].

В самом деле, под воздействием романа в разных городах страны начинают возникать «коммунистические общежития в виде каких-то коммун и мастерских» [42]. Эти коммуны появляются практически сразу после знакомства с романом. Некоторые коммуны 60-х годов давно уже исследованы в литературе, но нас больше интересует то, что непосредственно относится к следующему десятилетию, а именно примеры создания мастерских и коммун, в которых участвовали будущие народовольцы.

В 70-е годы, вспоминала А. Корнилова-Мороз, коммунами назывались «общие квартиры», где жили студенты или курсистки. Жизнь в коммунах обходилась значительно дешевле, и это особенно привлекало бедных студентов или девушек, приехавших из провинции. Нередко последние уходили из семей, чтобы иметь возможность учиться, и не будь такой поддержки в виде коммуны, многие из них, как пишет очевидец, «могли погибнуть» [43]. Но нередко здесь находили прибежище и те, кто рвал с богатыми или знатными родственниками. Так пришла в коммуну Софья Перовская.

Главным принципом жизни в коммуне была взаимопомощь. Здесь на практике внедрялись «коммунистические идеи» в своей личной жизни: в кругу друзей не было различий между «твоим» и «моим». Коммуны воспитывали чувство товарищества, взаимовыручки. Все выдающиеся революционеры 70-х годов прошли через выручку коммуны; именно здесь вырабатывались важные качества личности будущего народовольца. Сами коммуны можно рассматривать как своеобразные ячейки, из которых впоследствии сложилось такое крупное и широкое объединение, как кружок чайковцев. Коммуны весьма способствовали воспитанию качеств руководителей революционного движения: они быстро выделяли из себя наиболее яркое, наиболее революционное — сильные умы и мощные характеры с помощью коммун «увеличивали свое влияние».

Нередко коммуны принимали форму «мастерской» Чаще всего это были небольшие «модные» или переплетные мастерские. Вырученные деньги (20—25 руб.) тратили на общественные нужды: Е. Н. Оловенникова, сестра видной деятельницы «Народной воли» М. Н. Оловенниковой, вспоминала, как «не без влияния Чернышевского» она с подругами устроила в Орле подобную мастерскую. «Деньги тратили на оказание помощи трем гимназисткам» [45].

Достаточно широкое распространение получили и фиктивные браки как форма спасения девушек «от гнета буржуазных семей» [46]. Заметим, однако, что в 70-е годы функция фиктивного брака видоизменяется. Теперь уже такой брак чаще заключают, чтобы спастись от преследования полиции. Нередко фиктивные браки завершают так называемые «тюремные романы» [47]; порой

они — совсем по роману Чернышевского — переходили в фактические [48].

Роман Чернышевского возбудил сильнейшее внимание к женскому вопросу. Этим вопросом и «равноправием в области образования» очень интересовалась С. Л. Перовская.

Несомненно, от романа «Что делать?» исходит первый импульс, первый толчок такому великому предприятию революционной молодежи, как «хождение в народ». «Две-три фразы, мельком брошенные автором о том, как Рахметов „тянул лямку" с бурлаками,— это, так сказать, первый намек на „хождение в народ"» [49].

Но все-таки самое решительное влияние имели образы «новых людей», типы революционеров, выведенные в романе.

Размышляя над изображением революционера в русской литературе, П. Кропоткин останавливает преимущественное внимание на романах «Отцы и дети», «Обрыв» и «Что делать?». Он говорит, что Марк Волохов «только карикатура на нигилизм», но и Базаров «не удовлетворял нас». Его находили грубым, особенно по отношению к родителям. А главное, молодежь 70-х годов, от лица которой и говорит П. Кропоткин, не удовлетворялась базаровским «исключительным отрицанием». Да и весь нигилизм «с его декларацией прав личности и отрицанием лицемерия был только переходным моментом к появлению „новых людей", не менее ценивших индивидуальную свободу, но живших вместе с тем... для великого дела. В нигилистах Чернышевского, выведенных в несравненно менее художественном романе «Что делать?», мы уже видели лучшие портреты самих себя» [50].

Выражение П. Кропоткина «лучшие портреты» можно истолковать двояко: во-первых, как такие портреты, которых в русской литературе еще не было и которые она — хотя за дело брались такие первоклассные художники, как И. С. Тургенев и И. А. Гончаров — до Чернышевского не смогла дать, и только Чернышевский, несмотря на всю «малохудожественность» его романа, настоящих революционеров изобразил, представил; а во-вторых, как такие портреты, которым отвечают только лучшие революционеры, или, скажем еще определеннее, которым революционеры еще только должны научиться соответствовать.

Несомненно, Кропоткин имел в виду только прямой, первый смысл фразы; однако двоякое истолкование его мысли не только возможно: оно как бы отражает положение самого Кропоткина среди семидесятников и его отношение к роману «Что делать?».

Кропоткин — предтеча народников и далее — народовольцев; последние приняли Чернышевского (и его роман) на веру и, положив много сил, добились того, что уже упоминавшийся Цитович с нескрываемым раздражением прямо выводил народовольцев из Рахметова. «Очевидно,— писал он,— Рахметов — родоначальник всех ныне (1879 г.— *Э. А.*) болтающихся, плюющих и паляющих» [51]. Кропоткина же мало задел этот процесс перестройки «по Чернышевскому». Он считает, что то, что Чернышевский

дал, изобразил в романе, уже есть в настоящих революционерах; они узнали себя, но искать или мучительно добиваться соответствия с изображенным Чернышевским нечего. Молодые революционеры, в том числе будущие деятели «Народной воли», думали прямо противоположное. Поэтому, когда Л. Тихомиров писал, что Кропоткин был «формалист теории», «человек изо всех наименее русский», «европеец с головы до ног и по внешности (светской), и по духу» [52], то нескрываемая непочтительность Л. Тихомирова — не нового свойства. Не монархист Л. Тихомиров это придумал; это старое отношение молодежи к Кропоткину. Некоторое время он был им со-товарищ, и они спасали его, устроив феноменальный побег из Петропавловской крепости; однако он так и остался для них «ученым», «теоретиком». Его не переродил роман Чернышевского, как это случилось со многими и многими ровесниками Тихомирова.

Конечно, дело не в Кропоткине только; и в его поколении были люди, которые практически отнеслись к проповеди Чернышевского и задаче выработки в себе революционера-практика. Но этот пример, может быть, с отчетливостью показывает всю громадную разницу, весь тот колоссальный разрыв между тогдашними людьми теории и людьми практики. В своем отрицании теории, игнорировании ее народовольцы доходили, очевидно, до недопустимых пределов [53]; но это была вполне объяснимая реакция на долгое и малоплодное теоретизирование. Народовольцы же были прежде всего людьми революционной практики. Здоровое нетерпение молодого поколения — это ответ на положение народа. Как же можно читать и размышлять, выводить силлогизмы и погружаться в теорию, когда кругом, на всем необозримом пространстве России страдает Народ?

Таким образом, мы видим двоякое восприятие Чернышевского в революционной среде: теоретическое узнавание (Кропоткин) противостоит практической переработке себя по идеалу Чернышевского (народовольцы).

4

Из «новых людей», героев Чернышевского, революционная молодежь сразу же и не колеблясь выбрала Рахметова. В материалах, оставшихся после народовольцев, мы не найдем упоминаний ни о Лопухове, ни о Кирсанове; да и трудно представить себе, чтобы работники науки, какими они представлялись, стали образцом для подражания. В среде народовольцев были люди с явно выраженными научными наклонностями (Н. Морозов, И. Майнов, А. Прибылев и др.), но дилемма «наука—революция» решалась всегда однозначно, хотя, заметим, внутренний спор протекал не без борений и сложностей (о них вспоминал Н. А. Морозов).

Еще меньше симпатий вызывала Вера Павловна. Мысли об эмансипации волновали и побуждали многих заниматься так называемым «женским вопросом», но образ самой героини оставлял глубоко равнодушным. «Вера Павловна,— вспоминала подруга

С. Перовской,— как личность... интереса не представляла, но деятельность ее находила много последовательниц» [54].

Напротив, по словам той же А. И. Корниловой-Мороз, «сильное впечатление производил ригоризм Рахметова, и влияние его было очень заметно в лучших представлениях нашего поколения» [55]. Однако, надо полагать, это «очень заметное влияние» Рахметова на молодых революционеров установилось не сразу.

Молодежи нужен был образец, идеальный образ революционера, которому можно было бы подражать, на которого можно было бы равняться. И она выискивала такой образец для подражания в художественной литературе, точнее, в небольшом числе романов, героями которых были революционеры или сильные натуры. Это были романы Ф. Шпильгагена «Один в поле не воин» (русское название романа «В строю») и «Загадочные натуры», романы В. Гюго, и среди них «Девяносто третий год», и роман Н. Чернышевского «Что делать?» [56]. Более того, можно думать, что молодежь старательно выискивала черты идеального героя, выуживала их даже и из таких произведений, как «Бесы» Достоевского и «Некуда» Н. Лескова, ибо произведения эти, по свидетельству современника, тоже «читались, но понимались обратно желаниям авторов» [57].

На основании всего прочитанного и услышанного и составлялся идеальный образ. Очевидно, образ этот был только первым приближением к истинному идеалу революционера, точнее первым его вариантом. В этом первом, еще незрелом варианте значительное место занимали эмоциональные краски — протестантство, жертвенность, романтическая приподнятость, а порой и аффектированные страсти, декларативный пафос и пр. Черты Рахметова тоже были здесь, присутствовали в этом варианте, но не в концентрированном виде, а как бы размыты, растворены декларативностью и романтической приподнятостью. Оттого, может быть, они и мало узнавались в этом первоначальном идеальном образе. Народоволец А. В. Прибылев говорит об этом так: «На основании всего прочитанного у меня создавался идеальный образ стойкого борца за новые идеи, полного новейших знаний, не отступающего ни перед какими препятствиями, не связанного предрассудками, умного и сильного „нового“ человека» [58].

Если внимательно вчитаться в эту характеристику, то станет очевидна абстрактность и приблизительность многих черт; это не сгусток характерных черт русского революционера 70-х годов, а нечто такое, чему ответит, на что отзовется, чему будет соответствовать всякий прогрессист. Но А. Прибылев прав, такой идеал действительно бытовал на ранней стадии революционного народнического движения и исполнил свою воспитательную роль. Вот только в дальнейшем, при развитии этого движения, при усилении политической борьбы он уже безнадежно устаревал: тут нужен был новый идеал, точнее, следующий вариант идеала. (Попутно заметим, что многие участвующие в необычайно широком народническом движении так и оставались на этой

стадии и к следующему выражению идеала не подошли, не выросли.)

Именно тогда, можно думать, и начинают в этом идеале выходить на первый план уже собственно «рахметовские» черты, начинается повальное увлечение «рахметовщиной». То, что какой-либо человек меняет свою жизнь в соответствии с заповедью Чернышевского, становится своеобразным и лучшим аттестатом в кругу молодежи [59].

Конечно, на первых порах, когда подражать Рахметову стало так модно, когда молодежь еще только училась выстраивать свою жизнь по заповеданному образцу, славу основательного последователя Рахметова мог завоевать всякий, усвоивший еще, может быть, только одни внешние, не самые главные черты личности и поведения героя Чернышевского. Внутренний опыт освоения и усвоения идеала был еще слишком невелик и явно недостаточен для отделения того, что сущностно, от того, что просто похоже и совпадает по форме. Отсюда неизбежные неточности и ошибки в понимании, например, того, кто есть истинный последователь; отсюда, может быть, и сравнительно поверхностное, не до конца глубокое первоначальное постижение образа Рахметова.

Это подражание по форме вполне соответствует тому периоду, когда молодые русские революционеры только еще готовили себя к «делу» и уже подошли к нему, но пора самого «дела» еще только наступала. Однако такое положение не могло продолжаться долго. Слишком уж стремительно развивалось народническое движение, слишком быстро человечески созревали участники этого движения. И как только русские народники погрузились в это самое «дело» (великое «хождение в народ», 1874—1875 гг.), сопряженное с противостоянием правительству, полиции и пр., так сразу от движения отошли, отпали, «осыпались» все внешние подражатели Рахметова [60], так сразу и заповеданное Чернышевским стало пониматься на всю глубину.

Таким образом, выработка себя по рахметовскому идеалу прошла как бы несколько этапов, которые, несомненно, стояли в связи с различным уровнем требований, предъявляемых революционным движением к личности. Как мы видим, сначала следование Рахметову и его ригоризму было полусознательным актом, ибо и сам рахметовский идеал был еще своеобразно растворен в весьма смутном, наделенном многими абстрактными чертами идеале личности. Но уже первые практические шаги не только стряхнули всех, кто просто следовал моде, в ком больше было желания порисоваться и пр., но и обратили внимание на тех представителей молодежи, кто выделялся и силой убеждения, и своими более высокими личностными качествами.

Дальнейшее развитие движения (кружок чайковцев, «хождение в народ») предъявляло к личности все более усложняющиеся и повышенные требования. Поэтому совершенно естественно, что на самые заметные роли, на первые места в движении стали выдвигаться люди, предельно преданные революционной идее,

в которых мы видим уже сложившихся революционеров. И действительно, еще на этом (условно — втором) этапе движения рахметовский идеал был достигнут. Однако выработка личности русского революционера 70-х годов на этом не закончилась.

Создание общерусской организации — сначала «Земля и воля» (1876), а потом «Народная воля» (1879) — потребовало дальнейшей и уже предельно сознательной работы революционеров над собой. Ведь уже в § 3 Устава «Земли и воли», по настоянию Александра Михайлова, было внесено положение о «безусловном принесении» «каждым членом на пользу организации всех своих сил, средств, связей, симпатий и антипатий и даже своей жизни» [61]. Этой формулировкой Устав как бы закреплял, фиксировал результаты проделанной каждым революционером над собой работы; однако все это было еще индивидуальной работой, которая не могла учесть всего, что стало нужно члену общерусской конспиративной организации. Появление последней, с ее предельной централизацией и другими принципами, положенными в основание, потребовало совершенствования личности. И хотя мы можем сказать, что в основных чертах личность уже выработалась, то многие частные детали, казавшиеся — пока не было единой организации — мелочами, теперь начинают приобретать особенное значение. «В характерах, привычках и нравах самых видных членов нашего общества,— писал А. Михайлов, вспоминая время создания «Земли и воли»,— было много губительного и вредного для роста тайного общества» [62]. И далее он называл то, что мешало «переделке, перевоспитанию характеров членов соответственно организации мысли»: «*недостаток сиюминутной осмотрительности*», «*рассеянность*» и пр., т. е. качества, которые, казалось, не были основополагающими или важными сами по себе, однако теперь, в тайной организации, они становились весьма весомыми.

Эта работа по приведению «привычек», «нравов», «характеров» в соответствие с принципиальными основами личности революционера не имела аналога в русском освободительном движении и, в сущности, впервые проделывалась в нашей истории. Н. Г. Чернышевский, описывая в XXIX главе своего романа ригоризм Рахметова, ставил перед каждым революционером индивидуальное задание; и это задание русские революционеры 70-х годов в целом выполнили уже к 1875—1876 гг. Но автор «Что делать?» бессилен был изобразить деятельность революционера как члена тайной организации не только потому, что этому бы решительно воспротивилась цензура, но главным образом потому, что он не мог предвидеть всех особенностей революционной работы, предусмотреть все ее сложности. Землевольцы и народовольцы вступили на такое поле деятельности, на которое до них никто не вступал, а совета ждать было неоткуда. И то, что наши революционеры конца 70-х годов сумели создать такие организации, как «Земля и воля» и «Народная воля», во многом объяснялось тем, что они предельно внимательно отнеслись к вышеупо-

мянутым «мелочам»; они вдумчиво усвоили уроки Чернышевского и других выдающихся русских революционеров предшествующих поколений; они сумели выработать тип революционера в соответствии с их заповедями, с начертанным в романе «Что делать?» идеалом. Но еще большая их заслуга, что они сумели развить учение о личности революционера, дополнив его неукоснительным требованием выработки черт, необходимых революционеру для работы в общерусской нелегальной партии.

Вожди «Народной воли», и А. Михайлов прежде всего, очень хорошо понимали, что «в России осторожность, осмотрительность и практичность составляют для существования революционной организации необходимые условия» [63]. По словам соратников, А. Д. Михайлов «из конспирации... создал целую науку» [64]. Все эти качества, воспитанные в революционерах-народовольцах, не только обогатили представление о личности борца за народное счастье и подняли на качественно новую ступень само учение о личности революционера, но и способствовали появлению первых профессиональных революционеров в России.

* * *

Самой первой и естественной формой, в которую вылилось подражание Рахметову, было стремление к опрощению. Скромность, даже строгость жизненных норм, презрение ко всяким внешним жизненным удобствам очень скоро стали обычным для русской революционной молодежи.

Нельзя сказать, чтобы все здесь давалось без труда. Нечаевец А. К. Кузнецов вспоминал, какое неотразимое впечатление производила на них, молодых членов кружка, бытовая неприхотливость С. Г. Нечаева, который спал на «голых досках, довольствовался куском хлеба и стаканом молока, отдавая работе все свое время». «Такие мелочи,— продолжает А. К. Кузнецов,— на нас, живших в хороших условиях, производили неотразимое впечатление и вызывали удивление» [65]. А. К. Кузнецов был осужден по делу Нечаева, сослан в Сибирь и потому никак не мог предполагать, что всего через каких-нибудь три-четыре года для десятков, даже сотен, если не тысяч молодых юношей и девушек такая неприхотливость станет жизненной нормой.

Конечно, для многих народников, выросших в нужде, усвоение ригоризма Рахметова было менее трудным делом, и М. Фроленко, С. Халтурину или М. Грачевскому несложно было усвоить теперешние правила, ибо ни в детстве, ни в юности жизнь не баловала их. Порой пуританские привычки, принятые в семье, также облегчали дело. В семье В. Н. Фигнер, по ее словам, «царила дисциплина и спартанские привычки» [66], не менее строгие нравы, очевидно, были и в семье А. В. Якимовой. Когда она была арестована в первый раз и друзья обратились к ее отцу с просьбой оказать материальную помощь, он прислал просфору (он был священником), сопроводив это словами: «Пусть посидит так, авось образумится» [67]. Некоторые девушки — будущие на-

родоволки учились в закрытых учебных заведениях (епархиальных училищах — А. Якимова, институтах — В. Фигнер), откуда также выносили привычку к трудовому воспитанию, к известной строгости и упорядоченности, дисциплине.

Однако и выходцы из самых обеспеченных, богатых семей все-таки быстро усваивали ригоризм: сила примера окружающих действовала мгновенно и заразительно. Так, сын генерала Валериан Осинский опасался (1872), что 70 рублей в месяц не хватит на жизнь; однако, узнав, что В. Л. Перовский (кстати, тоже сын генерала, старший брат Софьи) обходится вдвое меньшей суммой, задумался. «Не прошло много времени,— утверждал В. Л. Перовский,— как этот Осинский совершенно изменился» [68].

Почерпнутое в романе «Что делать?» стремление к опрощению не имело характера игры или моды и всегда соотносилось с положением народа. Молодежь твердо поставила себе целью служить простому народу, а это почти автоматически вело к отказу от жизненных привилегий, к изменению в привычках, поступках и т. д. Подобно Рахметову, каждый из участвовавших в народническом движении задавал себе в конкретной жизненной ситуации вопрос: «А как в этом случае ведет себя народ?» Подобно Рахметову, молодежь отказывалась от мяса [69], от жизненных удобств. Простая и грубая пища, простая и скромная одежда, обязательный труд, умственная, физическая и нравственная дисциплина входили составными в это опрощение жизни.

Эта тяга к опрощению совпала по времени с организацией кружков и коммун («жили коммуной,— вспоминала Н. А. Головина (Юргенсон),— упростив жизнь до последней степени») [70]. При этом нравственная атмосфера в кружках была весьма строгая, и те члены, «которые не считали для себя обязательным осуществлять социалистические идеи и в личной своей жизни» [71], немедленно исключались. Вообще молодежь сделала свой вывод из нечаевской истории, и первые кружки, возникшие в России сразу же после нечаевского процесса, весьма остро отреагировали на упрек в «безнравственности», который был брошен молодежи в обществе: о нравственном состоянии кружков заботились весьма много и, пожалуй, больше всего в кружке «чайковцев». В кружок, писал Л. Тихомиров, «выбирали людей не только умных, но также возможно более проникнутых передовыми идеями, а также *нравственных* [72]. Все, кто приносил с собой студенческие или барские замашки, безжалостно изгонялись: в кружках не терпелись ни лень, ни пьянство, ни разврат, ни малейший намек на эгоизм, отсутствие товарищества, предательство. «В этой суровой и вместе нежной среде, проникнутой почти монашеским ригоризмом, но согретой дыханием энтузиазма и самоотвержения» [73], можем мы сказать вместе с историком народнического движения, вырастали будущие великие революционеры 70-х годов.

Опрощение стало нормой во время «хождения в народ» [74], при этом оно охватило не только непосредственных участников,

не только будущих выдающихся деятелей «Земли и воли», а затем «Народной воли» [75], но и множество молодых русских интеллигентов, хотя, очевидно, и не в такой крайней степени. Опрощение, понятое более широко, как движение «к народу», «возврат к народу», стоит в очевидной связи с духовными и художественными исканиями передового русского искусства и литературы того времени («Могучая кучка», передвижники, Л. Н. Толстой и др.) [76].

Опрощение, о котором мы говорим, не исчерпывалось только неприхотливостью в быту, спартанством, т. е. физической стороной дела, хотя, несомненно, самым заметным его признаком, самым отчетливым для публики его знаком был аскетизм. Это опрощение охватывало все стороны жизненного поведения, все стороны личности будущего народовольца. Оно распространялось и на умственную, и на нравственную стороны жизни. В умственной сфере наиболее важным считалась установка начал, определение главных жизненных целей. Именно этому были посвящены интенсивнейшие умственные занятия будущего народовольца. Однако не оттенки мысли, не тонкости мнений волновали их в первую очередь. Отсюда и отношение к книге подразумевалось, что книга — не только и не столько источник знания, сколько учебник жизни. (Заметим попутно, что подобные требования, предъявляемые молодым поколением к литературе, не могли не быть учтены творцами литературы 70-х годов и находились в сложных и многообразных связях с набиравшим силу и высоту русским романом.)

Как только народник, будущий народоволец, отыскивал эти жизненно важные начала, как только он решал для себя, как ему надо жить, период интенсивнейшей умственной учебы завершался, уступая место периоду нравственной перестройки личности. Только редкие пытливцы, вроде Андрея Желябова, продолжали любить книгу как таковую, продолжали много и широко читать, значительно выходя в своей любознательности за пределы непосредственных насущных жизненных задач. Для большинства же народовольцев, очевидно, и на умственную сферу распространялся своеобразный ригоризм. Как мы помним, Рахметов установил для себя, что ему необходимо основательно познакомиться и проштудировать известное число книг, в которых, по его мнению, содержится главное из всего, что выработала человеческая мысль, он определил, что число таких жизненно важных, насущных книг равно 100. Народовольцы, в отличие от Рахметова, не пленялись магией круглых цифр, не были заворожены каким-то определенным числом; хотя у них тоже имелись списки обязательной литературы. Эти списки известны по материалам, оставшимся от народовольцев: в частности, один подобный список приводит Александр Михайлов в письмах к сестрам. Очевидно, однако, что подобный список не был, так сказать, унифицирован. По-видимому, каждый кружок имел свой вариант такого списка. С другой стороны, без сомнения, в главном эти

списки совпадали, «костяк» списка всегда сохранялся в неизменности и был одинаков для всех российских народнических кружков. Следует также помнить, что список как бы имел несколько ступеней трудности, и тот же А. Михайлов, например, называл своим сестрам произведения, которые следует читать людям, только еще подошедшим к усвоению народнической доктрины.

Итак, как мы уже сказали, определив для себя жизненно важные начала, пройдя этот своеобразный «народнический университет», будущий революционер заканчивал теоретическую подготовку, с тем чтобы уже никогда к ней более не возвращаться, перенося центр тяжести своей работы на сферу нравственной перестройки. Здесь именно была самая трудоемкая и самая важная работа. Будущие народовольцы не ограничились «отрицательной» лишь стороной дела, хотя весомый упрек, который был брошен молодежи в связи с нечаевским процессом, переживался очень остро, и молодежь, как выше уже было замечено, на него отреагировала крайним самоограничением и моральным ригоризмом. Но у этой нравственной перестройки была и позитивная сторона, которая включала в себя и воспитание воли, и выработку человеческой цельности.

Проповедь Чернышевского имела особенное влияние в среде молодежи еще и потому, что в данном случае за словами проповеди стоял громадный моральный авторитет. В сознании молодежи Чернышевский был человеком, который не просто внушал и учил, но жизнью, делом, собственным поведением утверждал правоту своего учения. И молодое поколение быстро выделило голос Чернышевского среди голосов других революционных идеологов. Быть может, поначалу поведение Чернышевского рассматривалось молодым поколением как своеобразная «жертва» или даже как отказ от продолжения борьбы; быть может, поначалу в горячей и страстной форме (как и всегда у этого поколения) рассматривался вопрос о том, что Чернышевский мог бы с гораздо большей пользой для революции распорядиться своим талантом, позаботься он вовремя об эмиграции и пр. Однако довольно скоро уже молодежь стала способна осознать поведение Чернышевского как героическое, а сам Чернышевский стал своеобразной опорой в оценке молодым поколением значения эмиграции.

* * *

Народовольцы жили не просто богатой духовной жизнью, им была свойственна предельная интенсивность духовной жизни.

В своем предсмертном письме видный деятель ИК «Народной воли» Александр Баранников писал о том, что за короткое время, с 17 до 23 лет, он пережил, в сущности, все этапы человеческой жизни, все возрасты — юность, возмужание, зрелость и старость, и добавлял, что сейчас он — «старик, если не по годам, то по количеству пережитого» [77].

Было бы опрометчиво видеть в этом характерном заявлении Баранникова признание человека, уставшего от вечных скита-

ний, от неустроенности быта, от игры в прятки с полицией и пр. Нет, тон письма Баранникова напрочь отвергает такое допущение: тон этот не только спокойно-мужественный, но и приподнятый. Баранников прежде всего имеет в виду человеческую зрелость и необычайно быстрое духовное созревание народовольца. Качество пережитого, интенсивность переживаний делали этих молодых людей не по годам зрелыми, умеющими понимать многое из того, что обычно дается возрастом и долгим раздумьем.

Это накладывало отпечаток и на внешний облик: все в одно слово говорят, что Ал. Михайлов выглядел в свои 24 года как человек «за 30 лет»; такие же высказывания остались и об А. Желябове [78], В. Фигнер или Л. Тихомирове. Это накладывало отпечаток и на поведение, и на весь строй жизни. Конечно, мы можем встретить в поступках народовольцев и пылкость, и известную революционную экзальтацию, и даже опрометчивость. Но недорослей или инфантильных в среде народовольцев не было и в помине.

В этом легко убедиться: достаточно перечитать выступления перед судом 20—22-летних народоволок — их суждения впечатляют продуманностью, взвешенностью и, главное, определенностью жизненных начал.

Отмеченное выше качество, которое мы условно обозначили как интенсивность жизненных переживаний или — шире — интенсивность духовной жизни, во многом вызывалось постоянным присутствием в сознании народовольца мысли о смерти. Громадный, а нередко и в самом деле смертельный риск входил составной частью в мироощущение народовольца, по-своему окрашивая, по-своему выстраивая все восприятие жизни. Он не только заставлял, точнее приучал, беречь главное и с небрежением относиться к несущественному, мелкому; он повышал, в сущности, ценность каждого переживаемого мгновения. «Во мне есть способность,— писал тот же А. Баранников,— безошибочно определять важность, серьезность, прелесть переживаемой минуты» [79]. Такая способность, такое повышенное, обостренное восприятие жизни были свойственны, естественно, не только ему одному.

Можно сказать, у каждого народовольца понимание ценности жизни и обостренное переживание ее красоты и прелести сочеталось, было тесно взаимосвязано с сознательным приуготовлением себя к смерти [80]. Здесь как нельзя кстати оказывался пример Рахметова. Рахметов тоже никому не говорил, зачем он испытывал себя гвоздями; он тоже не думал, что его будут приколачивать гвоздями к кресту; ему было важно приучить себя, проверить. У него вырвалось: «Выдержу!» Это значит, он готовил себя к чему-то весьма серьезному, к чему-то такому, что выходило за рамки обычного. По-видимому, это могли быть нечеловеческие пытки или мучительная смерть. Мы не знаем, как каждый из народовольцев воспитывал себя, приучал к мысли о смерти, пытках и т. д. Но наверное можно сказать, что такие способы

были. Можно думать, что существовали целые системы упражнений для того, чтобы не только сделать привычной мысль, но и поднять в себе такие ресурсы, которые бы помогли вести себя в подобных ситуациях стойко. Однако принятые в партии ригористические правила распространялись и на внешнее выражение чувств и пр. По этим правилам считалось неудобным обнаруживать глубокие душевные движения. Все это оставалось в глубине души и редко выходило на поверхность. К тому же и лихорадочный ритм жизни революционера мало располагал к таким наблюдениям: «только частица ее (души Перовской.— *Э. А.*) была приоткрыта мне,— вспоминала В. Фигнер,— в то спешное время мы слишком поверхностно относились к психологии друг друга: мы действовали, а не наблюдали» [81]. И все-таки, несмотря на весь ригоризм, на спешку и пр., мысль о смерти не была рядовой, была слишком значительной, и некоторые свидетельства об этом есть. Причем, на наш взгляд, более примечательно в этом смысле то, что говорилось до суда, до процессов. В судебных процессах абсолютное большинство народовольцев вело себя геройски, и их исповедальные строки, написанные нередко за несколько дней до эшафота, полны чувства исполненного долга [82].

Мысль о собственной и, возможно, весьма скорой смерти [83] была своего рода пробным камнем, через который должен был переступить каждый народоволец. Не случайно вождь партии А. Д. Михайлов не уставал повторять: «Кто не боится смерти, тот почти всемогущ» [84]. Не случайно и в формуле приема в партию, в клятве неофита-народовольца были слова о готовности «умереть за свои убеждения», о готовности переносить «долгое и мучительное заключение» и пр. Под стать этому были и ответы испытуемых: «Я готова умереть,— отвечала, например, Анна Корба.— Я считаю за счастье отдать жизнь за освобождение России...» [85]

Чтобы воспитать себя, многие народовольцы специально присутствовали на казнях собратьев по борьбе не только для того, чтобы взглядом или жестом поддержать товарища в роковую минуту (это далеко не всегда было возможно), но для того, чтобы «приучить себя» [86]. А Андрей Желябов, который, по словам очевидцев, видимо, предчувствовал свою скорую гибель, не раз заговаривал о смерти, чтобы сделать мысль о ней привычной.

Желание «умереть за Россию» было общим у народовольцев; более того, это желание роднило их с предшествующими поколениями революционеров, в частности с декабристами, в среде которых также господствовали подобные настроения [87]. Обилие таких высказываний и у народовольцев, и у тех же декабристов, однако, отнюдь не свидетельствовало об обреченности и заведомой настроенности на поражение. Такие настроения скорее можно признать трезвым учетом сил: ведь, конечно, те же народовольцы понимали, что такая грандиозная акция, как убийство царя, повлечет за собой массовые репрессии со стороны властей. Но они сознательно шли на это, а настроения жертвенности со-

седствовали со спокойствием и твердой уверенностью в правильности выбранного пути. Поэтому если обозначать настроения народовольцев одним термином, то он должен соединять в себе и «жертвенность», и эту «уверенность»; более близким обозначением в таком случае видится понятие «жертвенный оптимизм».

Настроения жертвенности, мотив жертвенности многое объясняют в поведении и психологии как отдельного народовольца, так и всей партии в целом. В значительной мере происхождение этих мотивов обязано воспринятым еще в детстве и переосмысленным в пору духовного созревания, в зрелом возрасте основам христианского вероучения. Именно здесь нам видится одно из основных отличий народовольцев от заповедей Чернышевского, и именно к этому мы теперь перейдем.

* * *

Народовольцы соединяли резко отрицательное отношение к церкви с признанием нравственного авторитета Христа и нравственных основ христианского вероучения. Эти основы они были склонны интерпретировать в социалистическом смысле по нескольким причинам.

Во-первых, прежде чем стать собственно народовольцами, многие из них принимали самое непосредственное участие в «хождении в народ». Первые же попытки объяснения с крестьянской массой показали ясно, что говорить с народом на его языке — значит непременно учитывать факт почти поголовной веры. Иначе бы воспоследовало полное неприятие и осмеяние. Поэтому для пропаганды социалистических идей народовольцы использовали Евангелие и другие книги Нового Завета. Делали они это не без искусства, выдержками из «божественных книг» доказывая идеи равенства, права крестьян на землю и т. д. В письмах Александра Михайлова сохранились указания на тексты, которые пользовались наибольшей популярностью в этой пропаганде [88]. Это были Послание апостола Иакова (гл. 5: «Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас... Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет и вопли жнецов дошли до слуха Господа»), 2-е Послание коринфянам апостола Павла (гл. 6, ст. 10 и далее) и Послание эфесянам апостола Павла (гл. 6: «Брань наша не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего»). И слава знатоков Писания много помогала проповеди среди крестьян.

Самый образ жизни тогдашних народников, самый ригоризм, который они восприняли у Чернышевского (Рахметов) тоже понимался народом своеобразно. Язык аскезы, аскетического «подвига», несмотря на неизбежные насмешки («Вот, мол, баре балуются»), в целом внушал симпатию и поднимал уважение в народе. Заволжские саратовские старообрядцы приняли Ал. Михайлова за «своего» (одного, кстати, из немногих), потому что он был «неудержим» в подвиге и неукоснительно следовал

пуристским предписаниям старообрядческой среды. А объяснять, сколь этот режим строг и даже суров, нет необходимости — это хорошо известно.

Но было бы, конечно, неверно сводить все только к тактическим приемам.

Многие народовольцы вышли из самых простых русских семей и получили в детстве религиозное воспитание. (Нередко Евангелие наряду со стихами Пушкина, баснями Крылова было единственной книгой в семье [89].) Об этом пишут и А. Баранников, и М. Грачевский, и М. Фроленко, и др. Впрочем, такое воспитание было нередким и в дворянских семьях среднего достатка (В. Фигнер, А. Корба и пр.).

Детская впечатлительность и чуткость к близко наблюдаемому народному горю своеобразно сочетались с вычитываемым из священных текстов; все это заставляло с раннего возраста искать такие нравственные императивы, которые бы оправдывали человеческое существование и давали бы ему высокий смысл. Поэтому для многих народовольцев нравственные нормы, проповедуемые в Новом завете, остались руководящими на долгие годы, порой — своеобразно переосмысленные — на всю жизнь. М. Фроленко, будучи уже глубоким старцем, пережив четвертьвековое заточение в шлиссельбургской одиночке, писал, что заповедь «жизнь положить за други своя» была для него главной [90]; она же подкрепляла во всех страданиях. Борюсь «ради правды, т. е. ради революции» — так воспринял он «Нагорную проповедь» [91]. Сходным же образом говорят и В. Н. Фигнер [92], и А. И. Желябов в своем последнем слове на суде.

Многим в детстве грезились мученические венцы, желание пострадать за народ. Такое экзальтированное восприятие личности Христа, такое восторженное прочтение житийной литературы порождало стойкое желание жертвенности. Повторим, однако, что в среде этого поколения это никогда не уводило к желанию неких абстрактных мук, абстрактных мученических венцов. Нет, настроения эти были крепко связаны с думой о собственном страдающем народе. Но мотив жертвенности, несомненно, был.

Это имело двоякие последствия для истории народовольческого движения. С одной стороны, все виднейшие революционеры были воспитаны в духе самоотвержения, доходящего нередко до героических пределов. Отсюда — небывало крепкая спаянность и высокий дух товарищества («жизнь положить за други своя» [93]). Но, с другой стороны, это же приводило порой к неоправданным жертвам, наговорам на себя (на следствиях) и пр. И получалось так, что «искренняя, но не всегда целесообразная, хотя и эффектная склонность к самопожертвованию» [94] объективно вредила народовольцам. Еще М. Горький, называя среди качеств, свойственных «лучшей революционной интеллигенции», самоограничение, не без заметного неодобрения писал, что оно часто доходило «до самоистязания, самоуродования, до рахметовских гвоздей...» [95]. Горький метко подметил характерную черту, в умона-

строениях народовольцев, несомненно, бывшую. Но «рахметовские гвозди», на наш взгляд, не единственный ее источник.

«У подсудимых народовольцев преувеличенный ригоризм выражался в том, что они ради того, чтобы избежать „снисхождения" и разделить участь товарищей по делу, признавали за собой „преступления", даже не доказанные следствием, протестовали против смягчения приговора и чуть ли не требовали себе смертной казни, хотя бы улик против них для этого явно недоставало. Такое самопожертвование... оказывалось неблагоразумным и вредным, поскольку оно влекло за собой гибель бойцов, сохранявших возможность спастись, а врагам давало повод изображать его как проявление фанатизма дикарей» [96].

В самом деле сохранилось множество свидетельств, показывающих, что всякие просьбы о помиловании, о смягчении приговора негласно считались в этике народовольцев высшим моральным позором. В. Фигнер со свойственным ей прямодушием поведала о мучительных переживаниях, в которые ее повергло прошение о помиловании, написанное ее матерью. Она решила порвать с матерью, которую горячо любила: «Обращением к царской милости мать нарушала мою волю: я не хотела милости; я хотела вместе с товарищами-народовольцами исчерпать до конца свою долю... несчастьем было для меня помилование» [97]. Ее не смущали никакие «смягчающие» обстоятельства: то, что она уже свыше двадцати лет отсидела в тюрьмах; то, что она была чуть ли не единственной женщиной в шлиссельбургском заточении. Просьба матери заставляла совершить ее предательский поступок по отношению к товарищам — это было главное. И только узнав, что мать умирает, она поняла и простила мать.

С другой стороны, выгораживание себя на суде (такие случаи в практике народовольцев крайне редки, но все-таки встречались — М. Арончик [98] и др.) вело к тому, что имя такого человека просто вычеркивалось из памяти.

* * *

Народовольца отличала активная жизненная позиция. В нем и в помине не было той «интеллигентской нерешительности», «склонности к нытью, к мрачному взгляду на жизнь, которые часто бывают уделом интеллигента» [99]. Воспитанные на лучших произведениях русской литературы, народовольцы усвоили ее творческий пафос, нацеленный на пересотворение жизни. Мало быть сторонним наблюдателем жизни; мало понимать, что есть общественное зло,— деятельно бороться с ним — единственно верная позиция. И народовольцы показывали яркий тому пример: горстка храбрецов вступила в борьбу с всесильным правительством, не убоявшись страданий, ссылок и казней.

Но иным они и не могли представить гражданский долг. Этого, в сущности, они требовали и от литературы. Поэтому они не принадлежали к числу поклонников настроений, столь сильно

охвативших русскую словесность в конце века. Существует драматичный рассказ В. Фигнер о знакомстве шлиссельбуржцев с творчеством А. Чехова. Чехова они не знали до самой его смерти; его произведения дали им, только когда он умер. Но предоставим слово В. Фигнер: «Я принялась за чтение и глотала один том за другим, пока, охваченная тоской, не сказала себе: нет, больше не могу... предо мной проходил ряд слабовольных и безвольных людей, ряд неудачников, ряд тоскующих. Страница за страницей тянулись сцены нестроения жизни и выявлялась неспособность людей к устроению ее... Вот люди вместо действенной работы во имя лучших форм жизни, вместо борьбы за нее усаживаются на диванчик и говорят: „Поговорим о том, что будет через 200 лет...“» [100] Здесь явственно различим упрек и автору («Неужели жизнь так тускла, бездейственна и мертва?»).

Эту оценку нетрудно обвинить в узости и односторонности, но, на наш взгляд, здесь есть пища для раздумий.

Человечески отчаяние В. Фигнер и ее сотоварищей по Шлиссельбургу весьма понятно. Если вся современная русская жизнь такова, то где тогда, задавали они себе невольный вопрос, результаты их деятельности? Имели ли в таком случае смысл их героическое самопожертвование и гибель великих революционеров? Стоит ли в таком случае вообще продолжать жизнь? («Зачем же выходить из тюрьмы малой в тюрьму большую?» — скажет об этом В. Фигнер [101].)

Но дело не только в человеческом потрясении.

Поставленные в исключительные условия, они на 20 лет были вырваны из русской жизни (им не давали ничего читать о современной жизни или из современной литературы); шлиссельбуржцы в чистоте сохранили свои прошлые представления, и с позиций этих представлений они и подходят к оценке новых явлений словесности. Историк и социолог литературы имеет здесь крайне редкий, почти лабораторный случай, когда произведения нового периода словесности оцениваются с высоты прежнего идеала. И с высоты гражданских идеалов русской литературы 60—70-х годов новый литературный вождь и сонм его безвольных, расслабленных героев были неприемлемы.

* * *

Злобствующие критики часто изображали героев «Народной воли» как фанатиков, лишенных самых естественных человеческих чувств. Это совсем не так.

Народовольцы в массе своей были выходцы из патриархальных семей, и они совсем не были похожи, например, па Базарова [102] в отношении к родным. О горячей любви В. Фигнер к матери мы уже упоминали; не менее сильна была привязанность к матери С. Перовской, которую недруги революционеров любили изображать неким монстром. Даже царский министр, познакомившись с делом «процесса 20-ти», почувствовал уважение

к Ал. Михайлову и сетовал, что человек таких высоких нравственных достоинств (сыновние чувства) должен погибнуть [103].

Никакой вражды поколений, войны «отцов» и «детей», которую обыкновенно приписывали революционной молодежи, в этом поколении мы не встретим. Напротив. Даже выходцы из самых простых и бедных семей (М. Фроленко, М. Грачевский) сохранили признательность своим матерям (Фроленко был сиротой), воспитавшим их в атмосфере нравственности, достоинства, уважения к себе и другим.

Правда, среди народовольцев и — шире — в среде народнического движения достаточно много было «незаконнорожденных» и сирот [104]. Если же к этому добавить еще и таких, которые, как С. Перовская, довольно рано разорвали с одним из родителей, то кажущееся число семейного неблагополучия вырастет уже до чрезвычайных размеров.

Конечно, не принимать во внимание все эти факты нельзя. Сирота или «незаконнорожденный» рос повышенно чутким, остро переживающим несправедливости и пр. Н. А. Морозов писал, что положение «незаконнорожденного» не только угнетало его, когда он был подростком, но и рано научило видеть факты жестокости, угнетения, несправедливости вокруг него, раскрывало глаза на окружающее. (Нечто подобное, видимо, было и с А. И. Герценом в свое время.)

Раннее сиротство тоже не способствовало благодушеству и бездумному счастью. Все это заставляло быстро взрослеть, задумываться над недетскими вопросами, перенимать на «детские плечики» взрослые заботы. Но мы будем неправы, если истолкуем эти факты однозначно и скажем, что большинство народовольцев вышло из «неблагополучных» семей.

Конечно, смерть одного из родителей делала жизнь семьи труднее, порой значительно труднее, однако не обращала автоматически семью в «неблагополучную». Нередко случалось так, что смерть одного из родителей заставляла второго, оставшегося, с повышенной чуткостью и нежностью, с повышенным вниманием относиться к ребенку, к детям. Об этом осталось множество свидетельств. «Мать,— вспоминал А. В. Прибылев,— я не помнил (она умерла, когда мальчику было 2 года.— *Э. А.*),— но на отце останавливаются мои самые ранние детские воспоминания с нежностью и искренней любовью. Он изливал на меня всю свою доброту и нежность, сохраненную им в обилии, не растраченную за отсутствием горячо любимой, потерянной им жены» [105].

Горе и невзгоды заставляли семью быть крепче, дружнее, спаяннее. В сущности, в детстве каждого народовольца был человек, который являлся воплощением заботы, душевного тепла и любви. Для сестер Оловенниковых, как и для Прибылева, это был отец; для С. Перовской, М. Фроленко, М. Грачевского, Н. Морозова и других это была мать; для В. Фигнер таким человеком была сначала няня, простая русская старушка, а потом мать и т. д.

Примечательно, что среди самых выдающихся народовольцев были выходцы и из счастливых семей (А. Д. Михайлов, А. П. Корба (Мейнгард) и др.). Многие народовольцы не только сохранили теплые родственные чувства к сестрам или братьям (это почти общий признак поколения [106]), но и навсегда сохранили духовную связь со старшими в семье [107]. И если последние порой и не одобряли образа мыслей и действий сына или дочери, то умели уважать их убеждения. Даже тогда, когда народовольца приговаривали к смерти или к каторге. Нередко наряду с непризнанием поступков сына или дочери мы видим не только уважение, но и тайную гордость за них (отец А. Михайлова, отец А. Якимовой и др.). Более того, мы уже встречаем случаи, когда родители не просто поддерживают их перед казнью, но даже вливают в них мужество, вдохновляют их [108].

Поэтому не будет преувеличением сказать, что оба поколения — и «отцы» и «дети» — делали шаги навстречу друг другу, и это взаимное сближение, эта устанавливающаяся связь поколений будет проступать в семьях революционеров и в дальнейшем (вспомним, например, М. А. Ульянову, сын которой Александр тоже был членом партии «Народная воля», но уже образца 1887 г.).

Такое менее напряженное, более спокойное отношение поколений, чем, например, те, которые были у Базарова или даже у Рахметова (разрыв с отцом из-за любовницы), объясняется рядом причин. Дело не только в том, что отцы народовольцев и Базаров принадлежали к одному поколению и в переносном смысле можно сказать, что народовольцы — дети Базаровых. Это, может быть, изящная мысль, но не более того. Народовольцы вышли, как уже не раз говорилось, из простых русских семей, и проповедь нигилизма мало коснулась их родителей. Источник более спокойных отношений — в самих народовольцах.

Базаров был еще на первом, «внешнем» этапе определения себя, когда длинные волосы, эпатаж, задорные речи помогали выделиться, когда нужны были такие внешние отличия, внешние характеристики. Революционеру-народовольцу не нужно было доказывать свое отличие подобным способом. У него уже было настоящее дело, и как только он на него выходил, он обретал внутреннее равновесие и уверенность. Это очень хорошо можно проследить, например на письмах Александра Михайлова. Как только он твердо и с сознанием всей ответственности решил всецело (а иначе он не мог) посвятить себя делу революции, в душе его поселяется великое спокойствие [109]; всякая претензия на особенность, всякие внешние приметы этой «особенности» стали не нужны, они отслужили свой срок. Ибо каждый народоволец теперь знал, что есть дело, великое дело, которому он служит и которое никто не в силах отнять.

* * *

Важным качеством личности народовольца была любовь к России.

Для героев «Народной воли» крайне нехарактерно, на мой взгляд, признание известного революционера Аарона Зунделевича: «В тюрьме я успел влюбиться в Америку, и она для меня теперь то, чем раньше была Германия. К России... у меня никогда нежных симпатий не было» [110]. В этих словах есть известное противоречие, ибо написавший эти строки не раз подвергал риску свою жизнь, участвуя в движении, которое имело целью освободить все народы России, в том числе и русский народ. Однако у абсолютного большинства народовольцев такого противоречия не было: их отличала сознательная любовь именно к России.

Конечно, это была не слепая любовь: они отчетливо видели недостатки, знали и слабости своего народа [111]; не была она и бескрылой — это была деятельная и активная любовь.

Эта любовь обнимала собой многое — страну, ее природу и пр. И народ русский, из которого все народовольцы вышли, они любили не «вообще», не как некую абстракцию (что нередко свойственно интеллигентам): эта любовь распространялась и на конкретных представителей народа, на простого мужика и т. д.

Многие народовольцы прошли через «хождение в народ». Это движение, вопреки нередко бытующим мнениям, имело не только важное «отрицательное» значение, развеяв иллюзии и заставив народников соприкоснуться с реальностью. Народники не только приобрели, как писал А. Квятковский, «истинное представление о его (народа.— *Э. А.*) умственном, нравственном складе... его стремлениях, идеалах, желаниях и потребностях» [112]. Это важный опыт, имевший «великую заслугу в развитии революционного дела»; но он не исчерпывается знанием. Ведь примечательно, что ни один из будущих выдающихся народовольцев, принимавший участие в «хождении в народ», не вынес оттуда разочарования в народе, неверия в него. Напротив, узнав народ не по книгам, а въяве, народовольцы приобрели великую в него веру (может быть, сродни той, что была у Ф. Достоевского или Н. Лескова). «Бродячая жизнь («хождение в народ».— *Э. А.*),— писал в своих следственных показаниях А. Д. Михайлов,— открыла мне мир, о существовании которого не легко составить даже приблизительное понятие, живя в городах жизнью нашего привилегированного класса. Она открыла мне душу народа, ее сокровенные движения и мотивы... эти движения души народной в большинстве случаев удивляли меня глубиной и искренностью» [113].

Политическую неразвитость русского народа заметить было нетрудно даже тургеневскому Нежданову («Новь» [114]), а вот разглядеть великое нравственное богатство народа было не всякому под силу. Будущие народовольцы его разглядели, они пытались увидеть и увидели «носителей неиспорченного народного

идеала», будь то в среде старообрядцев («Мир раскола пленил меня своею самобытностью, сильным развитием духовных интересов и самостоятельно народной организацией»[115]), будь то просто в среде саратовских, тамбовских или ярославских крестьян. Будущих выдающихся народовольцев «сильно манили тайники народно-общинного духа, область истинно народной жизни и народного творчества»[116]. И народ не остался безучастен к самым искренним и глубоким попыткам. Когда мы по привычке говорим, что «хождение в народ» потерпело решительную неудачу, что народ не принял молодых пропагандистов, этот верный общий вывод нуждается в известном уточнении: почти все будущие выдающиеся деятели «Народной воли» пользовались доверием и любовью народа. «Деревня сразу же признала нас за своих друзей»,— вспоминала В. Фигнер[117]. Н. Морозов в слезах прощался с сыном кузнеца, который его полюбил[118]. Саратовские старообрядцы приняли А. Михайлова. Кравчинский и Рогачев прошли пильщиками через целую губернию и везде пользовались уважением. То же можно сказать и о С. Перовской, которая работала на Северном Кавказе, и об А. Якимовой и др. Народ словно сам сделал отбор в этом движении молодежи: все самое чистое, самое решительное, самое нравственное он принял.

За несколько лет народники обошли, пересмотрели множество губерний Европейской России и Урала. Они истинно погрузились в «море народное». Многие были не приняты; но для тех, кого народ принял, это был великий нравственный опыт, окончательно сцементировавший, окончательно определивший их жизненный выбор.

Жизнь революционера оставляла немного времени на любование природой, но тем острее и, можно сказать, вдумчивее было ее восприятие.

Многие выдающиеся народовольцы были необыкновенно чутки к природе. А. Желябов даже в самые лихорадочные месяцы борьбы старался улучить час-другой, чтобы уйти на взморье. О необыкновенно поэтическом, даже восторженном поклонении природе пишет Н. Морозов[119], которого не захватили пейзажи Швейцарии, Франции и Англии и который всем этим неземным красотам предпочитал скромный «ярославский» пейзаж[120].

Народовольцев не коснулся позитивизм, хотя они знали и Ч. Дарвина, и Г. Спенсера, и др. Их отношение к природе скорее сопоставимо со старым, гётевско-гумбольдтовским натурфилософствованием. И действительно, одними из самых важных категорий, упоминаемыми всякий раз, когда народовольцы задумывались о природе, были красота и гармония. Однако всего заметней в этом отношении к природе были ориентиры национальной культуры.

Народовольцы, как правило, выходцы из уездных городков или сел глубинной России. Их воспитывал не только весь строй русской жизни, но и облик русской природы. «Он любил русский народ,— писали соратницы об А. Михайлове,— этот народ-земле-

делец, вырастающий и всю жизнь работающий под непосредственным влиянием природы, которая научает его правильно мыслить, любить и искать правду. Под влиянием же природы образовался его прямой характер, не знающий ни изворотов, ни пагубных и низких страстей» [121]. Очевидно, эти слова вполне приложимы ко многим выдающимся деятелям «Народной воли».

В этом смысле народовольцы — наследники великой земледельческой культуры, ценою многовековых усилий облагородившей лицо континента, очеловечившей пейзаж, внесшей в этот пейзаж спокойные, ясные и гармонические линии [122]. Поэтому, вчитываясь в документы, оставшиеся после народовольцев, нетрудно видеть стародавнее (присущее, как правило, и многим выдающимся творцам русской культуры), нравственное отношение к природе, бережно-хозяйское отношение к земле, к животным, к растениям [123].

Вместе с тем в цельном мироощущении народовольца мир природный и мир человеческий существовали не просто рядом, а слитно, в неразрывном и взаимообогащающем единстве. Оттого наблюдаемая в природе гармония никогда не уводила от человека, его радостей и скорбей, а, напротив, тут же напрямую выводила на мысли о народе. «Любовь к природе,— писал А. Михайлов,— как-то незаметно переходила в любовь к людям; являлось страстное желание видеть человечество столь же гармоничным и прекрасным, как сама природа, являлось желание для этого счастья жертвовать всеми силами и своей жизнью. Здесь, в виде синего неба, ясных вод реки и леса, тянувшегося по берегу, я дал себе (подростком.— *Э. А.*) тайную клятву жить и умереть для народа» [124].

* * *

Народовольцы были убеждены, что участвуют в событиях, выше и значительнее которых нет в современной им истории. Поэтому дело всякого честного русского — принять участие в этой борьбе, а не отсиживаться на Западе, за границей. Именно здесь, «у нас, в России», происходит великое дело освобождения русского народа, поэтому всякий, даже, может быть, крохотно малый реальный практический шаг, считали народовольцы, действеннее и дороже, чем целый ворох теорий, пущенных в оборот эмигрантами. (А напомним, что в Европе в это время жили и П. Лавров, и П. Ткачев, и П. Кропоткин, и др.)

«Мы... просили эмигрантов,— скажет А. Желябов на суде,— не пускаться в суждения о задаче русской социально-революционной партии, пока они за границей, пока они беспочвенники» [125]. Еще резче и определеннее обозначил различие с эмигрантами А. Михайлов. На предложение сделать уехавшего Н. Морозова представителем ИК за границей он ответил: «Эмигрант не может явиться нашим представителем. Это прежде всего дезертир. Кто из революционеров сидит за границей, тот или не может разделять нашу программу, или не хочет разделять наши опас-

ности. Кто хочет с нами работать, тот должен быть в России» [126]. Подобного же мнения были и другие члены ИК.

Этот взгляд на эмиграцию, это горделивое небрежение к ней деятели партии пересмотрели только после 1881 г., когда, в сущности, партия была разбита, а большинство выдающихся революционеров были репрессированы.

Было бы не вполне точным сводить все лишь к каким-либо человеческим причинам, видя в этом известную «ревность» и т. д. Осознание того, что они участвуют в истинно великих событиях истории, гордость за это — важный элемент психологии народовольцев, по-своему отражающий тот первостепенной значимости факт, что центр мирового освободительного движения стал перемещаться в Россию.

* * *

Оценивая революционную деятельность героев «Народной воли», В. И. Ленин писал: «Они проявили величайшее самопожертвование и своим героическим террористическим методом борьбы вызвали удивление всего мира. Несомненно, эти жертвы пали не напрасно, несомненно, они способствовали — прямо или косвенно — последующему революционному воспитанию русского народа» [127].

Опыт народовольцев не пропал втуне, хотя партия была разгромлена, а все наиболее выдающиеся ее члены или погибли, или на целые десятилетия были вырваны из революционной работы. Следующие поколения русских революционеров с величайшим вниманием относились к этому опыту, бережно, по крупицам, собирая, в частности, то, что дали народовольцы в сфере выработки личности. Ио свидетельству близких, В. И. Ленин «жадно впитывал рассказы старых народников о приемах революционной борьбы, о методах конспирации» [128], он «всегда старался взять у них (старых народовольцев.— *Э. А.*) все, что можно было использовать для революционной работы» [129]; В. И. Ленин «весьма ценил» «тип революционера старых времен» [130], его высокие моральные качества, стойкость, упорство, самоотверженность; «глубокое уважение к народовольцам за их героизм и самопожертвование он сохранил на всю жизнь; он впитывал в себя их опыт, их революционную закалку и уже позднее, живя за границей, говорил, что нам надо учиться у Халтурина, народовольцев» [131].

Эта передача опыта осуществлялась в процессе революционной работы, можно сказать, явочным порядком; теоретического же осмысления того, что наследовали пролетарские революционеры у народовольцев, не дали ни Г. Плеханов [132], ни Л. Дейч, ни другие марксисты — бывшие народники.

Заслуга постановки этой проблемы — наследие народовольцев в революционной практике последующих поколений — принадлежит М. С. Ольминскому (Александрову), который посвятил ей статью «Золотой век народничества и марксизм» в своей книге

«Из прошлого» (М., 1919, 1922). М. С. Ольминский начинал как народоволец (1883), впоследствии, как известно, он был одним из влиятельнейших марксистских публицистов.

По мнению Ольминского, «наследство, принятое марксистами от народничества 70-х годов, было значительно и ценно — этого не следует забывать». Народники 70-х годов, «безвозвратно порывавшие со своим привилегированным положением... завещали своим преемникам из интеллигентской среды такой же разрыв... и переход в ряды обездоленных и угнетенных не на словах только, но и на деле». Народовольцы «завещали всем... деятелям демократии безграничное самоотвержение, готовность жертвовать во имя идеи всем так называемым личным счастьем, всей своей личностью, свободой и жизнью» [133]. И в «выработке личности», как и во многом другом, «левое народничество 70-х годов оставило» марксизму богатое наследство». Народовольчество, по словам Ольминского, «проявило максимум доступной человеку энергии. Было сделано все, что вообще могла бы сделать в данном положении человеческая воля». Радикальное народничество вдохновило «своих последователей на редкие в истории подвиги самоотречения и самоотвержения»; и народничество 70-х годов в целом, и его представители как личности, продолжает М. Ольминский, «обаятельны своей цельностью и нравственной красотой». «Тип передового народника семидесятых годов, поскольку речь идет об этической оценке личности,— делает вывод критик-марксист — является одним из наиболее цельных и красивых типов русской истории» [134].

В дальнейшем вопроса о наследовании опыта народовольцев пролетарскими революционерами касался в своих трудах И. А. Теодорович [135], однако в целом этот вопрос исследован еще недостаточно.

Народовольцам давно уже дана надлежащая историческая оценка. Она, правда, устанавливалась не без труда, и в конце 20-х и в начале 30-х годов прошло немало прений, результаты которых были подытожены в книге «Дискуссия о „Народной воле“» (М., 1930).

Эти результаты в основном касались социально-политических характеристик движения; вопросы философии народовольчества (и шире — народничества) затрагивались здесь только попутно и вскользь. Несколько лет назад был восполнен и этот пробел, и с выходом обстоятельной монографии В. А. Малинина дело здесь значительно поправилось.

Однако не следует забывать, что народовольцы в первую очередь были людьми революционной практики и, может быть, самое революционное и действенное было именно в этой области выработано ими. Они сумели поставить множество новых вопросов социальной революции, и если в теории [136] их было много утопических черт, то в сфере выработки нового нравственного сознания народовольцы чрезвычайно много сделали для прояснения и утверждения социалистических нравственных идеалов.

Восприняв эстафету от Чернышевского и других революционных демократов 60-х годов, народовольцы в этом — как и во многом другом — явились прямыми предшественниками пролетарских революционеров.

[1] «Это вещь, которая дает заряд на всю жизнь... Под его влиянием сотни людей делались революционерами... Он меня всего глубоко перепахал» (В. И. Ленин о литературе и искусстве. 6-е изд. М., 1979. С. 647.)

[2] Гранат: Энцикл. словарь. 7-е изд. б. м., б. г.: Т. 40. Стб. 473.

[3] *Морозов Н. А.* Повести моей жизни. М., 1961. Т. 1. С. 56.

[4] Гранат. Т. 40. Стб. 88.

[5] Там же. Стб. 556, 568.

[6] *Фигнер В. Н.* М. Ф. Фроленко. М., 1928. С. 11.

[7] В 1898 г., когда Л. Тихомиров писал свои воспоминания, еще было не ясно, выйдет ли вообще хоть кто-нибудь живым из Шлиссельбурга: а именно там находились крупнейшие деятели партии «Народная воля» В. Н. Фигнер, М. Ф. Фроленко, Н. А. Морозов и др.

[8] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 135.

[9] Для примера скажем, что даже такие замечательные и ныне широкоизвестные революционеры, как Николай Кибальчич и Степан Халтурин, были в партии агентами 1-й степени.

[10] *Прибылева-Корба А. П.* «Народная воля»: Воспоминания о 1870–1880-х гг. М., 1926. С. 41.

[11] *Михайлов А. Д.* Воспоминания. Женева, 1903; *Михайлов А. Д.* Автобиографические заметки. Завещание //Былое. 1906. № 2; Письма народовольца А. Д. Михайлова. М., 1933; *Фигнер В. Н.* Запечатленный труд. М., 1964. Т. 1–2; *Морозов Н. А.* Повести моей жизни. М., 1965. Т. 1–2; *Фроленко М. Ф.* Записки семидесятника. М., 1928; *Фроленко М. Ф.* Собр. соч. М., 1932. Т. 1–2; Воспоминания Льва Тихомирова. М., 1927; *Ошанина (Оловенникова) М. Н.* Воспоминания // Былое. 1907. № 6; *Якимова А. В.* Покушение на Александра II. М., 1927; *Прибылева-Корба А. П.* «Народная воля»: Воспоминания о 1870–1880-х гг. М., 1926; и др.

[12] *Тихомиров Л.* Биография Желябова. Лондон, 1882; *Плеханов Г. В.* Воспоминания об А. Д. Михайлове // Плеханов Г. В. Соч. М.; П., 1923. Т. 1; *Ашешов Н.* А. И. Желябов: Материалы для биографии и характеристики. П., 1919; *Клевенский М. А.* А. Д. Михайлов. М., 1925; *Прибылева-Корба А. П., Фигнер В. Н.* Народоволец А. Д. Михайлов. Л.; М., 1925; *Перовский В. Л.* Воспоминания о сестре. М.; Л. Б. г.; и т. п.

[13] *Левицкий В.* (*Цедербаум В. О.*) Партия «Народная воля»: Возникновение. Борьба. Гибель. М.; Л., 1928. С. 17.

[14] *Богучарский В. Я.* Из истории политической борьбы 70–80-х годов XIX века. М., 1912; *Волк С. С.* «Народная воля» (1879–1882). М.; Л., 1966.

[15] *Малинин В. А.* Философия революционного народничества. М., 1972. С. 23.

[16] Степняк-Кравчинский вообще утверждал, что «поколение семидесятых годов всецело воспиталось на Чернышевском» (см.: *Степняк-Кравчинский С. М.* Царь-чурбан, царь-цапля. Пг., 1921. С. 139–140). Есть свидетельства и других участников движения; Е. Н. Ковальская, напр. писала: «Особенно увлекались Чернышевским, его романом „Что делать?"» (Гранат. Т. 40. Стб. 191).

[17] *Малинин В. А.* Указ. соч. С. 23, примеч.

[18] К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия. М., 1967. С. 346.

[19] *Малинин В. А.* Указ. соч. С. 177.

[20] Напомним, что о многих видных народовольцах остались лишь воспоминания их соратников по борьбе.

[21] Современные биографы Желябова утверждают, что роман Чернышевского «Что делать?» тот знал уже в гимназии. См.: *Клеянкин А. В.* А. Желябов. (М.), 1959. С. 13; *Прокофьев В.* Желябов. М., 1965. С. 8.

[22] *Кропоткин П. А.* Записки революционера. М., 1966. С. 270.

[23] Воспоминания Льва Тихомирова. М., 1927. С. 29–30. В редакции этой фразы видна рука позднего Тихомирова.

[24] Цит. по кн.: *Левицкий В.* Партия «Народная воля». С. 18.

[25] См., напр.,: *Аптекман О. В.* Общество «Земля и воля» 70-х годов по личным воспоминаниям. [М.], 1907. С. 40; *Чарушин М. А.* О далеком прошлом. М., 1926. С. 39; и др.

[26] Гранат. Т. 40. Стб. 152.

[27] Там же. С. 19.

[28] Там же. С. 207.

[29] *Фигнер В. Н.* Запечатленный труд. Т. 1. С. 96.

[30] Для внучки декабриста О. К. Булановой-Трубниковой, напр., «имена тогдашних передовых борцов, как Чернышевский и Михайлов, Герцен и Гарибальди, были знакомы... с детства» (Гранат. Т. 40. С. 30).

[31] Революционное народничество 70-х годов XIX века. М., 1964. Т. 1. С. 345; М., 1965. Т. 2. С. 54.

[32] Гранат. Т. 40. Стб. 7, 27, 210, 213; *Волк С. С.* «Народная воля». М., 1966. С. 301. Программа для чтения 1882 г., напр., включала «все статьи Чернышевского по политической экономии» (*Волк С. С.* Указ. соч. С. 346).

[33] «Борьба партий во Франции при Людовике XVIII» женевского изд. распространялась в России с клеймом «Книжная агентура „Народной воли“». См.: *Никитина Е. Д.* Народовольческие процессы в цифрах // «Народная воля» перед царским судом. М., 1930. Вып. 2. С. 150.

[34] Революционное народничество 70-х годов XIX века. М., 1964. Т. 1. С. 434, 463, 468.

[35] Гранат. Т. 40. С. 106, 134, 152; *Прибылев А. В.* Записки народовольца. М., 1930. С. 11; *Ширяев С.* Автобиографические записки // Красный архив. 1924. Т. 7. С. 75; Адриан Михайлов вспоминает, что сначала он «просидел над „Современником“ и к концу года перечитал Чернышевского и Добролюбова» (Гранат. Т. 40. Стб. 254); М. П. Сажин писал, что, познакомившись с произведениями Чернышевского, он «начал учиться на нем» (Гранат. Т. 40. Стб. 390); Н. А. Чарушин называет Чернышевского «преимущественно нашим учителем жизни, трагическая судьба которого лишь увеличивала обаяние его личности, а вместе с тем и повышала в наших глазах ценность проводимых им идей» (*Чарушин Н. А.* О далеком прошлом. М., 1926. С. 47). «Мы его знали наизусть, его именем клялись»,– вспоминал М. Ю. Ашенбреннер (*Ашенбреннер М. Ю.* Военная организация «Народной воли». М., 1924. С. 5); см. также: Гранат. Т. 40. Вып. 5/6. Стб. 172, 191.

[36] Революционное народничество... Т. 1. С. 218.

[37] *Плеханов Г. В.* Литература и эстетика. М., 1958. Т. 2. С. 175.

[38] *Цитович П. П.* Что делали в романе «Что делать?». 5-е изд. Одесса, 1879. С. V.

[39] Собрание материалов о направлении различных отраслей русской словесности за последнее десятилетие. СПб., 1865, с. 194.

[40] *Писарев Д.* Мотивы русской драмы // Рус. слово. 1864. С. 35.

[41] *Цитович П. П.* Указ. соч. С. IV.

[42] Собрание материалов... С. 194.

[43] Гранат. Т. 40. Стб. 210.

[44] Там же. Стб. 510, 569, 611 и др.

Там же. Стб. 321.

[46] Там же. Стб. 218.

[47] Когда народник попадал в тюрьму, его поручали опекать какой-либо девушке-народнице. Выдавая себя за суженую, она носила ему передачи, вела с ним переписку, заботилась о нем и осуществляла связь с «волей». Это и называлось «тюремным романом». Нередко, однако, молодые люди за время заключения успевали действительно влюбиться друг в друга.

[48] Гранат. Т. 40. С. 208.

[49] *Дебогорий-Мокриевич В.* Воспоминания. СПб., 1906. С. 39.

[50] *Кропоткин П. А.* Записки революционера. М., 1966. С. 266–270.

[51] *Цитович П. П.* Указ. соч. С. 16.

[52] Воспоминания Льва Тихомирова. М.; Л., 1927. С. 79.

[53] «Не в выработке наивернейшей теории, а в совершенно организован-

ном деле — сила»,— писал вождь партии А. Д. Михайлов (*Михайлов А. Д.* Воспомииания. Женева, 1903. С. 9).

[54] Гранат. Т. 40. Стб. 207.

[55] Там же. Стб. 208.

[56] *Морозов Н. А.* Повести моей жизни. М., 1965. Т. 1. С. 43.

[57] Гранат. Т. 40. Стб. 352.

[58] Там же. Стб. 352.

[59] См., напр.: Воспоминания Льва Тихомирова. С. 60.

[60] «Старые (участники движения.— *Э. А.*), вроде Рагозина, решительно отлынивали. „Лео", еще недавно изображавший из себя Рахметова, аскета и фанатика, женившись, ужасно изменился. Трусил он ужасно...» (Там же. С. 60).

[61] Архив «Земли и воли» и «Народной воли». М., 1932. С. 65.

[62] *Михайлов А. Д.* Воспоминания. Женева, 1903. С. 11. (Курсив мой.— *Э. А.*).

[63] Там же. С. 11. Примеч.

[64] Там же. С. 13. Примеч.

[65] Гранат. Т. 40. Стб. 228.

[66] Там же. Стб. 459.

[67] Там же. Стб. 628.

[68] *Перовский В. Л.* Воспоминания о сестре. М.; Л., 1927. С. 57. Валериан Осинский — впоследствии известнейший революционер — погиб на эшафоте в мае 1879 г.

[69] «Честно ли есть мясо, когда народ его не ест?» — гневно восклицал С. Ковалик (*Ковалик С. Ф.* Революционное движение семидесятых годов и процесс «193-х». М., 1928. С. 108, 109).

[70] Гранат. Т. 40. Стб. 74.

[71] *Корнилова-Мороз А. И.* Софья Львовна Перовская. М., 1930. С. 18.

[72] Воспоминания Льва Тихомирова. М.; Л., 1927. С. 53—54. (Курсив автора.— *Э. А.*).

[73] *Корнилова-Мороз А. И.* Указ. соч. С. 19.

[74] «Когда ходили „в народ", Михайлов (Александр.— *Э. А.*) опростился как немногие... не позволял себе никакой роскоши, ни в виде питания сносного, ни в виде одежды удобной и теплой» (Воспоминания Льва Тихомирова. С. 94).

[75] «Перовская согласно идеалам нашей эпохи была великой аскеткой» (*Фигнер В. Н.* Запечатленный труд. Т. 1. С. 278); Перовская «ничуть не тяготилась полным отсутствием удобств, к которым привыкла в детстве. Она была в то время (1872 г.— *Э. А.*) в своем периоде рахметовщины: питалась молоком да кашей, спала на подушке с соломой и т. д.» (Былое. 1906. № 8. С. 118).

[76] См. об этом, напр.: *Троицкий Н. А.* Безумству храбрых. М., 1971.

[77] Красный архив. 1926. № 1. С. 179.

[78] По словам Л. Дейча, Желябов «на вид казался значительно старше» (Цит. по кн.: *Ашешов Н.* Андрей Иванович Желябов. Пг., 1919. С. 128—129).

[79] Красный архив. 1926. № 1. С. 180.

[80] Сознательное приуготовление себя к смерти не следует отождествлять с нежеланием жить. У настоящего народовольца не было легкого или небрежного отношения к жизни. Вместе с тем существуют примеры, когда к руководителю «Народной воли» А. Д. Михайлову приходили юноши, которые говорили: «Не хочу жить!», «Хочу умереть». Так, например, пришел Н. Клеточников, которого впоследствии удалось внедрить в самую сердцевину III отделения и который оказался драгоценнейшим агентом; так пришел А. Соловьев, неудачно покушавшийся на Александра II в 1879 г., и пр.

[81] *Фигнер В. Н.* Запечатленный труд. Т. 1. С. 279.

[82] Вот, напр., что писала в последнем письме к матери С. Л. Перовская: «Я жила так, как подсказывали мне мои убеждения; поступать же против них была не в состоянии, поэтому со спокойной совестью ожидаю все, предстоящее мне» (Былое. 1906. № 8. С. 128). Кредо народовольцев выразил на суде А. Желябов: «Дело всякого убежденного деятеля дороже ему жизни» (Цит. по кн.: *Ашешов Н.* Андрей Иванович Желябов. Пг., 1919. С. 107).

[83] Мы так много говорим об этом, что может показаться, что народовольцы были людьми какими-то угрюмыми, подавленными и даже придавленными этой тяжелой мыслью. Но это вовсе не так. Решив раз и решив бесповоротно, народоволец продолжал жить, быть деятельным, активным жизнерадостным и пр. Когда Анну Корбу однажды в больнице навестили некоторые члены ИК (Желябов, Перовская, Баранников и др.), то неизлечимо больная девушка, соседка по палате, потом со слезами на глазах говорила, какая вы счастливая, у вас такие хорошие знакомые, я никогда не видела таких удивительных людей. Столько задора, силы, здоровья излучали пришедшие... Просто в народовольце что-то менялось, он становился строже, ответственнее, собраннее и т. д., что вовсе не исключало жизнерадостности и молодого задора. Напротив, ежечасный риск предполагал именно мужество и беспредельную отвагу, на что человек придавленный просто не способен.

[84] Цит. по кн.: *Прибылева-Корба А. П.* «Народная воля». М., 1926. С. 47.

[85] Там же. С. 45.

[86] «Публичная казнь Дубровина,– вспоминала Н. М. Салова,– происходила на крепостной стене. Мы, тогдашняя молодежь, считавшие себя обреченными, находили нужным, с целью проверить себя, присутствовать при этой казни» (Гранат. Т. 40. Стб. 399).

[87] «Умрем, ах, как славно умрем!», «Умрем славно за родину!» – восклицал пылкий юноша Александр Одоевский, выражая, конечно, не только собственные свои мысли, но и настроения, бытующие в кругу декабристов (Цит. по ст.: *Бриксман М. А.* А. И. Одоевский // Одоевский А. И. Полн. собр. стихотворений. Л., 1958. С. 17).

[88] Письма народовольца А. Д. Михайлова. М., 1933. С. 121.

[89] *Фроленко М. Ф.* Записки семидесятника. М., 1928. С. 5.

[90] Гранат. Т. 40. Стб. 507.

[91] Там же. С. 508.

[92] Там же. С. 461.

[93] См., напр. Гранат. Т. 40. Стб. 72; «Красный архив». 1926. № 1. С. 179; и др.

[94] *Троицкий Н. А.* Безумству храбрых: Русские революционеры и карательная политика царизма 1866–1882 гг. М., 1978. С. 248.

[95] *Горький М.* В. И. Ленин. М., 1968. С. 63.

[96] *Троицкий Н. А.* Указ. соч. С. 249.

[97] *Фигнер В. Н.* Запечатленный труд. Т. 2. С. 206.

[98] См.: *Фроленко М. Ф.* Собр. соч. М., 1932. Т. 2. С. 20.

[99] *Клевенский М. А.* Д. Михайлов. М., 1925. С. 98.

[100] *Фигнер В. Н.* Запечатленный труд. Т. 2. С. 210–211.

[101] Там же. С. 211.

[102] Петра Кропоткина, напр., Базаров возмущал своею бесцеремонностью и непочтительностью к родителям (см.: *Кропоткин Н. А.* Записки революционера. М., 1966. С. 266–267). Да и не одного его.

[103] См.: *Клевенский М.* А. Д. Михайлов. С. 103.

[104] «Незаконнорожденными» были Н. А. Морозов, И. И. Майнов, Е. Н. Ковальская и др. В раннем детстве потеряли мать А. И. Корнилова-Мороз, А. В. Прибылев, П. С. Ивановская, М. П. Сажин, В. И. Чуйко, Г. Ф. Чернавская-Бохановская, Е. М. Сидоренко, Н. Ф. Цвиленев, С. Ф. Ковалик, М. И. Дрей и др. Полными сиротами были Адриан Ф. Михайлов, С. А. Иванова-Борейшо и пр. Без отцов росли М. Ф. Фроленко, М. Н. Ошанина и Е. Н. Оловенникова, И. И. Попов, Н. М. Салова, В. И. Сухомлин, А. А. Филиппов, Н. А. Чарушин, С. П. Богданов, Н. А. Головиина-Юргенсон и др.

[105] *Прибылев А. В.* Записки народовольца. М., 1930. С. 344.

[106] «Наши прочные симпатии друг к другу мы пронесли через всю жизнь, через все ее невзгоды»,– вспоминала о своей сестре М. Н. Олевенникова (Гранат. Т. 40. Стб. 319.) На этот счет можно привести множество примеров.

[107] «Родительский дом был поистине благословенный мир, в котором царствовало согласие и любовь всех членов между собою; и теперь, в зрелые годы, я (А. Д. Михайлов.– *Э. А.*) так же горячо люблю своих милых, умных стариков» (Цит. по кн.: *Фигнер В. Н.* Александр Михайлов. М., 1926. С. 7).

[108] О последней, напр., встрече Виттенберга с матерью перед казнью см.: Гранат. Т. 40. Стб. 287–288.

[109] См., напр., письма народовольца А. Д. Михайлова (М., 1933), и в частности письмо № 66. Какой уверенностью веет от этого письма!

[110] Архив «Земли и воли» и «Народной воли». М., 1932. С. 249.

[111] «Я,– говорила М. Н. Ошанина-Оловенникова,– люблю и в то же время ненавижу русских крестьян за их покорность и терпение» (*Прибылева-Корба А. П.* «Народная воля». М., 1926. С. 49).

[112] Красный архив. 1926. № 1(14). С. 163.

[113] *Прибылева-Корба А. П., Фигнер В. Н.* Народоволец А. Д. Михайлов. М., 1925. С. 114–119.

[114] На мой взгляд, Тургеневу не удалось в романе «Новь» (1877) художественно запечатлеть образ русского народника. Сам того не желая, Тургенев окарикатурил русских революционеров 70-х годов; поэтому оценка романа в первых критических откликах была суровой. Эту оценку, по-моему, удачнее всего сформулировал Н. К. Михайловский, сказав, что «все наиболее интимное в русской жизни за последнее время» осталось автору «Нови» «и незнакомо, и нравственно чуждо» (Отеч. зап. 1877. № 2. С. 314).

[115] *Михайлов А. Д.* Воспоминания. Женева, 1903. С. 17.

[116] Там же.

[117] Гранат. Т. 40. Стб. 466.

[118] *Морозов Н. А.* Повести моей жизни. Т. 1. С. 67.

[119] Там же. С. 41.

[120] *Твардовская В. А.* Н. А. Морозов в русском освободительном движении. М., 1983. С. 149.

[121] *Прибылева-Корба А. П., Фигнер В. Н.* Народоволец А. Д. Михайлов. С. 7.

[122] Об этом хорошо забытом старом не так давно снова заговорил академик Д. С. Лихачев. См. его «Заметки о русском».

[123] А. Желябов загорался, когда вспоминал выращенных им лошадей; М. Фроленко с мудрым спокойствием крестьянина не замечал насмешек, когда сажал первые яблоневые саженцы на тюремном дворе Шлиссельбурга, и т. д.

[124] *Михайлов А. Д.* Воспоминания. С. 5.

[125] *Ашешов Н.* Андрей Иванович Желябов. Пг., 1919. С. 109.

[126] Цит. по кн.: *Иохельсон В. И.* Первые дни «Народной воли». Пб., 1922, С. 53.

[127] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 23. С. 235.

[128] *Ульянова-Елизарова А. И.* Воспоминания об Ильиче. М., 1934. С. 38.

[129] *Ульянова М. И.* О Ленине. М., 1971. С. 22.

[130] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 33. С. 465.

[131] *Ульянова М. И.* Указ. соч. С. 103.

[132] *Плеханов Г. В.* Собр. соч. М.; П., 1923. Т. 1.

[133] *Ольминский М. С.* Из прошлого. 2-е изд. ⟨М.⟩, 1922. С. 45.

[134] Там же. С. 47, 55, 38.

[135] См., напр.: *Теодорович И. А.* Историческое значение партии «Народной воли». М., 1930; *Он же*: «1 марта 1881 года». М., 1931.

[136] Здесь нелишне напомнить, что основные теоретики народничества – П. Лавров, М. Бакунин, П. Ткачев, а позже и П. Кропоткин – были политические эмигранты, жившие за границей и поддерживавшие с революционным движением внутри России все-таки опосредованные связи.

И. В. Кондаков

«ЧТО ДЕЛАТЬ?» КАК ФИЛОСОФСКО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РОМАН

(к диалектике сознания и самосознания становящегося жанра)

Загадка романа Чернышевского «Что делать?», не разгаданная, пожалуй, до сих пор, заключается в том, что́ лучше всех, наверное, сформулировал Н. С. Лесков — сразу, по горячим впечатлениям — и что затем многократно было с разными вариациями повторено многими поколениями читателей, именитых и совсем неизвестных. Вот что писал под псевдонимом Николай Горохов в газете «Северная пчела» 31 мая 1863 г. Лесков: «Роман г. Чернышевского — явление очень смелое, очень крупное и, в известном отношении, очень полезное. Критики полной и добросовестной на него *здесь* и *теперь* ожидать невозможно, а в будущем он не проживет долго» [1]. Это — как бы вместо комплимента (сомнительного, впрочем, свойства). А в качестве упрека — далее: «Тяжело мне было читать этот роман... просто потому, что роман странно написан и что в нем совершенно пренебрежено то, что называется *художественностью*. От этого в романе очень часто попадаются места, поражающие своей неестественностью и натянутостью; странный, нигде не употребленный тон разговоров дерет непривычное ухо, и роман *тяжело* читается. Автор должен простить это нам, простым смертным, требующим от беллетристов искусства *живописать*» [2]. Итак, с одной стороны, вещь полезная (в известном отношении) и смелая (для своего времени). С другой стороны, полное пренебрежение художественностью, а потому неестественность, натянутость, непривычность, странность и тому подобные качества, обусловливающие то непреложное обстоятельство, что читателю это все «тяжело читать» (а если честно, то еще и скучно).

Вывод вытекает сам собой: «Роман г. Чернышевского со стороны искусства ниже всякой критики; он просто смешон. ...Но г. Чернышевский не беллетрист; на изготовление романа его вызвали обстоятельства, от него не зависящие: потребность деятельности и невозможность ее в другой форме. Г. Чернышевский очень благоразумно оговорился, что он не художник и за художеством не гонится, а потому, кто станет пространно доказывать несостоятельность романа как беллетристического произведения, тот напрасно потратит труды и время. Об этом говорить не стоит. Г. Чернышевский публицист, и публицист известной школы» [3].

Многие бы и сегодня целиком подписались под этими выводами Лескова. В самом деле, здесь и извиняющая «талантливую

© И. В. Кондаков, 1990

бесталанность» обусловленность обстоятельствами, от автора не зависящими, и необходимость подцензурного квазихудожественного «камуфляжа» для проведения прежних идей публициста, и актуальность социальной проблематики, вполне удовлетворяющейся публицистичностью и не гоняющейся за художеством... Все это звучало бы и сегодня убедительно, причем не только для ординарных читателей (вынужденных «изучать» роман Чернышевского в школе, в большинстве случаев с безусловным ущербом для понимания его и читательской репутации — по сравнению со «смежными» — по литературному и учебному процессу — романами Тургенева, Достоевского, Л. Толстого и Гончарова, ежели последний привлекается для сопоставления), но и для исследователей, пренебрегающих художественной стороной романа.

Однако есть в рассуждениях Лескова, по крайней мере, два момента, заставляющие нас — хотя бы отчасти — усомниться в их безупречности. Первый связан с прогнозом: роман в будущем «не проживет долго». Между тем известно, что на протяжении всего XIX в. (со времени публикации в «Современнике» в 1863 г.) к роману сохранялся в широкой читательской среде живой интерес. И этот интерес не могли поколебать ни неудачи народнического движения, ни провалы с попытками утилитаристски использовать опыт романа в практике «коммун», ни поправение многих прежде горячих сторонников учения Чернышевского, разочаровавшихся в идеалах юности. К роману продолжало что-то притягивать. Это *«что-то»*, разумеется, не может быть сведено к отвлеченному идеологическому содержанию (тем более — к небольшой его части преимущественно политического характера — гипотетическому представлению о будущем социальном устройстве общественной жизни).

Здесь-то и вступает в действие второй момент. Если сила воздействия романа заключается не в сумме отвлеченных идей, изложенных в нем, или, во всяком случае, не только в этом, то в чем же тогда она состоит, в чем же тогда она состояла на протяжении весьма длительного времени? Известно, например, высказывание такого незаурядного читателя и почитателя романа Чернышевского, как В. И. Ленин. В споре с Н. Валентиновым (январь 1904 г.) он подчеркнуто резко возразил на пренебрежительный отзыв последнего о романе: «Я заявляю: недопустимо называть примитивным и бездарным „Что делать?“. Под его влиянием сотни людей делались революционерами. Могло ли это быть, если бы Чернышевский писал бездарно и примитивно» [4]. И далее: «Это вещь, которая дает заряд на всю жизнь. Такого влияния бездарные произведения не имеют» [5].

Проблема, таким образом, заключается в том, мог ли роман «Что делать?», будучи произведением нехудожественным, будучи лишь беллетризованным переложением некоторой идеологической концепции, предпринятым, к тому же, в целях обмана бдительности цензуры и маскировки чисто пропагандистских целей, оказывать на своих читателей эмоционально-психологическое воздей-

ствие, подобное тому, которое оказывают признанные художественные произведения. А ежели нет, то какова природа его художественности, не сознаваемая многими в качестве таковой, но в то же время оказывающая на читателей такое сильное воздействие, что оно могло давать им не просто идейную установку, материал для размышления и т. п., но «заряд на всю жизнь»?

1

Проблема поставлена. Если «Что делать?» — произведение не художественное, а какое-то иное, собственно политическое, беллетризованно-научное, публицистическое, что же тогда определяло его воздействие на читателя, совершенно аналогичное воздействию подлинно художественных произведений? Если «Что делать?» — произведение художественное и в силу именно этого оказывающееся способным давать нескольким поколениям читателей «заряд на всю жизнь», то что это за художественность, которую сами же писатели — не то что широкая, профессионально не искушенная публика — не признавали явлением искусства, эстетическим феноменом?

Вернемся к тому же Лескову, отчетливо сформулировавшему похвалу роману Чернышевского за его содержание и осудившему автора за чуть ли не сознательное пренебрежение художественностью, а именно господствующими канонами художественного стиля, натянутость и неестественность ситуаций, сюжетных ходов, «странный» тон разговоров и тому подобные особенности формы. «Роман г. Чернышевского прочитан великим множеством русского люда,— пишет Лесков.— О тех, которым идея романа прямо не понравилась, говорить нечего. (Выполнение романа не может понравиться никому, и дело... вовсе не в выполнении.) Те же, которые приходили от него в восторг, теперь стоят на экзамене» [6]. Итак, Лесков отчетливо различает «выполнение романа» и «идею романа». Однако идея (или идеи) романа для Лескова вовсе не какие-то отвлеченные теоретические тезисы, взятые из статей автора, где они изложены открыто и прямо, в понятийно-логической форме, без образно-ассоциативного антуража (т. е. гораздо более естественно для их существования, нежели в романно-беллетризованной форме). Оказывается, наоборот: идеи, облеченные в романную форму, выглядят гораздо яснее, глубже, полнокровнее, многозначнее и ближе любому читателю, чем теоретические построения, явленные в философских трактатах, в философско-, экономико- и политико-публицистических статьях того же автора. Речь, таким образом, идет не о провале, не о творческом поражении теоретика, выступившего неофитом на поприще художественного творчества, а о *способе художественного воплощения* тех же самых идей, что были представлены прежде автором в собственно философской или социолого-публицистической сфере литературной деятельности.

Заявив, что Чернышевский — публицист, притом «публицист известной школы» (в том смысле известной, что весьма определенного, узкого направления, жесткой тенденциозности), Лесков продолжает: «Он в своем романе (труде для него непривычном) последовательно провел заповедные идеи своей школы. Мало этого, г. Чернышевский доказал, что он не такой заоблачный летатель, не беспардонный теоретик, который, по выражению одного московского публициста, хочет сразу создать новую землю и новое небо. Напротив, автор „Что делать?" доказал, что (и это самое главное) люди, живущие под этим небом, на этой земле, таковы, каковы они есть» [7]. Итак, первый итог, к которому приходит Лесков-критик,— это преодоление Чернышевским прежней сугубой отвлеченности положений, абстрактности идеалов, надуманности характеров — черт, которые, по его мнению, сквозили в чисто теоретических работах автора — публициста и философа. И это преодоление «заоблачного летания», «беспардонности» теоретизирования, желания «сразу создать новую землю и новое небо» (т. е. революционного максимализма и социалистического утопизма) оказалось возможным, по Лескову, именно на почве художественности (пусть, по его мнению, и превратно, «странно» понятой Чернышевским). И это при том, что «в своем романе он (Чернышевский.— *И. К.*) вышел поборником той же самой школы, и эта последовательность есть первая его замечательность» [8].

Более того, получается, что как раз последовательное проведение Чернышевским «заповедных идей» своей школы привело к существенной их корректировке — в сторону большей их реалистичности, конкретной жизненности, непосредственной воплощенности в живых, непридуманных людях, таких, каковы они есть, а значит, и в отношении их большей человечности и действенности. Будучи извлечены из контекста сплошного *теоретизма* [9], философско-социальные идеи Чернышевского в контексте образно-ассоциативного целого, эмоционально переживаемого в процессе читательского восприятия, неожиданно для всех, знакомых уже с идеями автора в их отвлеченном изложении, обретают некую теплоту, пластичность, гибкость и сердечность, совершенно несвойственную прежним теоретическим конструкциям как плоду головного умствования, теоретических ухищрений философа. Научные идеи утрачивают изначально свойственную им линеарность, «сплющенность» и, растворяя в образно-ассоциативном контексте само качество научности, обретают совершенно «ненаучную» многомерность, многозначность, текучесть.

Далее. Те же идеи, но только изложенные в форме философско-публицистических и собственно теоретических статей, по наблюдениям Лескова, снискали Чернышевскому геростратову славу «нигилиста». Вот что пишет по этому поводу Лесков: «А в статьях г. Чернышевского опять продолжалось только отрицание да отрицание, антипатии да антипатии, а симпатий своих ни разу не сказал. Он их не сказывал, конечно, по обстоятельст-

вам, от него не зависящим, а „проницательные читатели" думали, что его симпатии... головорезы, Робеспьер верхом на Пугачеве...

Между тем г. Чернышевский из своего далека прислал нам роман, в котором открыл себя, как никогда еще не открывал ни в одной статье.

Теперь перед нами его симпатии» [10].

Таким образом, в глазах иных читателей идейные воззрения и теоретические искания Чернышевского, до сих пор представавшие в статьях со стороны чистой «отрицательности», негативизма, теперь, преломившись в художественной, так или иначе беллетризованной форме, раскрылись со стороны положительной, утверждающей, возвышающей. Спектр идеологического звучания Чернышевского при обращении к художественной форме как бы исподволь расширился, и теоретик, быть может, неожиданно для самого себя, смог заявить свои идеи во всей возможной их полноте и конкретности, тем более разительной по сравнению с теми же идеями, изложенными половинчато, с оглядкой на цензуру, в жестко ограниченном пространстве легальной свободы, что сами по себе иносказание, эзоповский язык, зашифрованный в образы идейный подтекст и т. п. предполагают в читателе несравненно бо́льшую степень творческой раскованности, свободы, тренированного художественного воображения, развитого метафорического мышления и др. Все эти и подобные им черты (проступавшие у Чернышевского нередко и в его публицистическом творчестве, где отрабатывалась и шлифовалась система соответствующих приемов и выразительных средств) оказались наиболее органичными именно художественному творчеству, искусству — виду творчества, ориентирующемуся на образно-ассоциативное восприятие содержания. Образно говоря, теория Чернышевского начинала в романе «Что делать?» жить *своей художественной жизнью*, настолько самостоятельной, что эта жизнь протекала уже во многом как бы помимо теоретической воли автора, независимо от логики развития теории как таковой.

Предметом эстетического отображения и художественного повествования становилась сама по себе *теория* — явление в художественном творчестве, в эстетике неслыханное! Быть может, первым среди профессиональных читателей почувствовал это и понял Писарев. С замечательной четкостью и ясностью сформулировал он особенности романа Чернышевского как особого рода художественного явления, принципиально отличающегося от внешне аналогичных ему романов и иных беллетристических произведений. Вдумаемся как следует в эту далеко не тривиальную характеристику романа «Что делать?».

«Оставаясь верным всем особенностям своего критического таланта и проводя в свой роман все свои теоретические убеждения, г. Чернышевский создал произведение в высшей степени оригинальное и чрезвычайно замечательное. Достоинства и недостатки этого романа принадлежат ему одному; на остальные русские романы он похож только внешнею своею формою: он похож на

них тем, что сюжет его очень прост и что в нем мало действующих лиц. На этом и заканчивается всякое сходство». И далее, еще более определенно, даже категорично: «Роман „Что делать?“ не принадлежит к числу сырых продуктов нашей умственной жизни. Он создан работою сильного ума; на нем лежит печать глубокой мысли. Умея вглядываться в явления жизни, автор умеет обобщать и осмысливать их. Его неотразимая логика прямым путем ведет его от отдельных явлений к высшим теоретическим комбинациям, которые приводят в отчаяние жалких рутинеров, отвечающих жалкими словами на всякую новую и сильную мысль» [11].

Что же следует из этой замечательной характеристики романа, если писаревскую мысль аккумулировать в некоторые теоретические выводы (при том, что писаревская мысль в данном случае сама по себе теоретична). Итак, оригинальность и «замечательность» романа «Что делать?» на фоне остальных явлений романного жанра, его принципиальное несходство с ними — со всеми вытекающими отсюда достоинствами и недостатками данного произведения — заключается прежде всего в том, что автор его и в художественном творчестве *остался верен всем особенностям* своего критического метода, перенеся их в художественное творчество как совершенно специфические приемы обращения с материалом искусства изнутри него, в нем самом (а не извне его, как это бывает в литературной критике). Далее, автор ставит своей целью *проведение в роман всех* своих *теоретических убеждений* в их системе; при этом отражение явлений жизни происходит не в «сырых», непосредственных формах, но в их глубоком осмыслении и обобщении, генерализации — вплоть до построения «высших теоретических комбинаций» (которые, будучи естественным порождением научной и философской мысли, в контексте художественного произведения приобретают особый смысл — и эстетический, и философский). Эта черта художественного метода Чернышевского также коренится в особенностях его критической деятельности, по своему типу тяготевшей к научно-аналитической ее разновидности.

К этим выводам Писарева нам предстоит еще вернуться, обратившись к специальному анализу этой проблематики. Сейчас же задумаемся только о том, к каким следствиям ведет само допущение справедливости писаревского объяснения феномена «Что делать?». Итак, по Писареву, роман Чернышевского отнюдь не укладывается в русло традиций отечественной романистики (прежде всего романов Тургенева, Гончарова, Писемского, Помяловского и т. д.), да и, собственно, не ориентировался на нее, кроме чисто внешних, поверхностных аналогий, необходимых для принадлежности к жанру романа. Неудивительно поэтому, что роман Чернышевского просто *должен выпадать* — в традиционном читательском восприятии — из контекста текущего литературного процесса, а по сути дела, и создавался автором в оппозиции к ближайшему литературному окружению, как некая ху-

дожественная альтернатива ему. Само появление романа Чернышевского в русской литературе означало возникновение в отечественном литературном процессе сознательно заостренной автором контроверзы по всем мыслимым вопросам — философским, политическим, этическим, правовым, художественно-эстетическим и т. п., что и предопределяло «выделенность», обособленность произведения Чернышевского в развитии русской культуры, всячески подчеркивавшуюся самим писателем в тексте романа.

«У меня нет ни тени художественного таланта. Я даже и языком-то владею плохо. Но это все-таки ничего: читай, добрейшая публика! прочтешь не без пользы. Истина — хорошая вещь: она вознаграждает недостатки писателя, который служит ей. Поэтому я скажу тебе: если б я не предупредил тебя, тебе, пожалуй, показалось бы, что повесть написана художественно, что у автора много поэтического таланта. Но я предупредил тебя, что таланта у меня нет,— ты и будешь знать теперь, что все достоинства повести даны ей только ее истинностью» [12]. «Ерничество» Чернышевского идет не от самоуничижения, не ради доказательства полного, с его точки зрения, тождества истинности и художественности применительно к его произведению, да и не для того, чтобы оправдать некоторый релятивизм в понимании феномена художественности. Речь в данном случае идет о том, что, будучи поставлено в разный культурный контекст, одно и то же литературное произведение может прочитываться различно — как художественное или как нехудожественное (и даже антихудожественное). В разном контексте не только художественность произведения, но и его истинность будут восприниматься по-разному. Ведь в системе, где выше всего ценится художественный вымысел, и цена верности истине второстепенна.

Обращаясь к пресловутой публике, «разношерстной», а потому неопределенной в своих привязанностях и литературных симпатиях, аморфной в своих суждениях и оценках, автор романа «Что делать?» с явным вызовом заявляет: «Когда я говорю, что у меня нет ни тени художественного таланта и что моя повесть очень слаба по исполнению, ты не вздумай заключить, будто я объясняю тебе, что я хуже тех твоих повествователей, которых ты считаешь великими, а мой роман хуже их сочинений. Я говорю не то. Я говорю, что мой рассказ очень слаб по исполнению сравнительно с произведениями людей, действительно одаренных талантом; с прославленными же сочинениями твоих знаменитых писателей ты смело ставь наряду мой рассказ по достоинству исполнения, ставь даже выше их — не ошибешься! В нем все-таки больше художественности, чем в них; можешь быть спокойна на этот счет» (14).

В черновой редакции романа Чернышевский было указал, кого он причисляет к людям, «действительно одаренным сильным талантом». К их произведениям он отнес «Мещанское счастье», «Молотова», «Маленькие пьески г. Успенского» (356—357), сочинения

же «прославленных художников» остаются неназванными. Нужно думать, не случайно Чернышевский отказался в окончательном тексте романа от какой-либо конкретизации относительно истинных и мнимых художников, с которыми было бы возможно сопоставлять его роман. Причем объяснение здесь не только в стремлении автора апеллировать к «недосказанному» (14), хотя это его сознательный прием, расширяющий область читательских ассоциаций, гипотез, аллюзий, но и в том, что в данном случае любая литературно-художественная конкретика неизбежно обеднила бы представление о «достоинстве исполнения» романа «Что делать?»; о специфических, принципиально новых критериях художественности, исповедуемых автором и предлагаемых для освоения читателям; сузила бы направление художественных поисков автора до отдельных, уже введенных в литературный обиход аналогов (что существенным образом преуменьшило бы его новаторство).

Между тем художественной сверхзадачей романа «Что делать?» был вовсе не один эпатаж «проницательных читателей» и «доброй публики», страдающей, по выражению автора, от собственной «умственной немощности» (14). Такой сверхзадачей романа и его автора было создание для широкого круга читателей особого рода «учебника» — «учебника жизни» (*учебника* и *жизни*, как их понимал с высоты своих убеждений автор). И идейно-эстетическая концепция романа, и лаконичная, почти графичная система образов, и композиционное построение романа, оцененное Луначарским как «великолепное» [13],— все подчинено у Чернышевского этой сверхзадаче — именно художественной, а не просветительской или пропагандистской.

Прочтение романа Чернышевского возможно в системе традиционных представлений о художественности, сформировавшихся в русле по преимуществу «пушкинской» традиции, куда естественным образом укладывались (с той или иной степенью приближения) и романы Тургенева, и Гончарова, и проза Лермонтова, и Л. Толстого... Чернышевский же как литературный критик и теоретик искусства ориентировался (вместе с Добролюбовым и другими своими единомышленниками) на иные представления о путях художественного прогресса; в этой художественной системе, во многом альтернативной традиционным воззрениям на пути русской литературы после Пушкина, рассматривал Чернышевский и свое художественное творчество, и прежде всего «Что делать?» как своего рода художественно-практический манифест нового искусства. Вряд ли неожиданным следует считать то обстоятельство, что прочтение произведения Чернышевского в русле традиционных представлений о художественности, в ряду романов, органично укладывавшихся в парадигму «классического» канона, не только уводит от авторского замысла, но и в значительной степени оказывается неадекватным самой идейно-эстетической концепции романа «Что делать?». Можно даже сказать, что расхожие обвинения Чернышевского и его романа в нехудо-

жественности, даже антихудожественности (предвиденные автором «Что делать?» уже при разработке замысла романа) происходят от восприятия произведения в неорганичном, даже чужеродном ему литературном контексте (от которого автор скорее отталкивался, нежели в котором стремился оказаться), в устоявшейся системе художественно-эстетических ценностей и оценок (которую роман скорее отрицал, нежели утверждал), с точки зрения тех критериев художественности, которые, как считал Чернышевский, принадлежат уже лишь историческому прошлому. Однако именно такое прочтение романа «Что делать?», именно такое его восприятие читателями (включая критику и многих писателей — современников Чернышевского) оказались господствующими на протяжении длительного времени.

Если бы роман «Что делать?» не оказался под запретом, все ужесточавшимся с середины 50-х годов и до самого кануна первой русской революции, возможно, в ходе его обсуждения в критике и выработались бы критерии его оценки как произведения пусть и специфически, но художественного; выяснился бы оптимальный контекст, в который адекватно вписался бы роман Чернышевского; определился бы ряд типологически родственных ему произведений в русской литературе. Цензурное же положение романа в современной ему литературе, сама его «нелегальность» как бы предопределяли его чисто тематическую «выделенность» и, соответственно, чисто тематическое его прочтение, предполагавшее не столько концептуальное осмысление актуальной общественной проблематики, сколько эмпирическое преднахождение различных деталей — бытовых, социально-психологических, даже подчас политических и экономических подробностей. Философско-идеологическая структура романа исподволь растворялась в чрезмерной детализированности повествования и размывалась в читательском восприятии, приобретая в конце концов смутный образ запрещенного политического произведения.

М. Е. Салтыков-Щедрин, сразу же оценивший подлинное новаторство романа Чернышевского как философско-идеологического произведения (и здесь он во многом совпадал в своей оценке «Что делать?» с Писаревым, с которым расходился в ситуации «раскола в нигилистах» по большинству позиций), писал в цикле обозрений «Наша общественная жизнь», публиковавшихся в «Современнике» (в мартовском разделе за 1864 г.): «В прошлом году вышел роман „Что делать?“ — роман серьезный, проводящий мысль о необходимости новых жизненных основ и даже указывающий на эти основы. Автор этого романа, без сомнения, обладал своею мыслью вполне, но именно потому-то, что он страстно относился к ней, что он представлял ее себе живою и воплощенною, он и не мог избежать некоторой произвольной регламентации подробностей, и именно тех подробностей, для предугадания и изображения которых действительность не представляет еще достаточных данных. Для всякого разумного человека это факт совершенно ясный, и всякий разумный человек, читая упомяну-

тый выше роман, сумеет отличить живую и разумную его идею от сочиненных и только портящих дело подробностей» [14].

Щедрин, как мы видим, возлагал определенную ответственность за чрезмерную детализацию картины мира, воссозданной в романе Чернышевского, на самого автора, объясняя этот недостаток его увлеченностью (прежде всего как мыслителя и лишь вслед за тем — как писателя), его торопливостью политика и философа, который в своем стремлении «приблизить будущее» слишком многое, вплоть до мелочей, хотел «перенести» в настоящее из будущего (290) и, таким образом, оказывался слишком утопистом по сравнению с реальностью и ее животрепещущими вопросами. И хотя Щедрин и полагал, что «для всякого разумного человека», читающего роман, «живая и разумная идея» будет стоять на первом плане по сравнению с «сочиненными» и во многом «произвольными» подробностями, «портящими дело» (т. е. идейную концепцию того, *что делать*), а потому неизбежно возобладает над ними, история читательского восприятия показала, что увлечение романом среди массы неискушенных читателей шло именно на уровне не идеи, а подробностей, казавшихся наглядным подтверждением идеи, чуть ли не более важным, нежели она сама.

Даже с какой-то гордостью замечал А. Скабичевский (1910), что значение романа в его *конкретике*, приближавшей высокие, отвлеченные идеи к практике повседневной жизни и тем самым делавшей эти идеи доступными и понятными широким массам на уровне здравого смысла, на уровне житейских представлений и бытовых навыков. «Влияние романа было колоссально на все наше общество. Он сыграл великую роль в русской жизни, всю передовую интеллигенцию направив на путь социализма, низведя его из заоблачных мечтаний к современной злобе дня, указав на него, как на главную цель, к которой обязан стремиться каждый. Социализм делался, таким образом, обязательным в повседневной будничной жизни, не исключая пищи, одежды, жилищ и пр.» [15] Писавшая почти в то же самое время со Скабичевским свои воспоминания Е. Водовозова (1911) отнюдь не разделяла его восторгов по поводу «низведения» высоких идей до уровня «повседневной будничной жизни». «Роман „Что делать?“,— писала она,— породил множество подражаний и попыток устроить свою жизнь, избрать деятельность точь-в-точь такую, какою она является у действующих лиц названного произведения. Уже само по себе рабское подражание кому бы то ни было в общественной деятельности, семейной жизни, в поступках или словах говорит о людях весьма юных, мало думающих, незнакомых с жизнью, не научившихся еще углубляться в ту или другую идею, проникаться ее духом и сущностью, а не формою. И действительно, многие в то время, получив жалкое образование, не могли разобраться в слишком большом грузе идей, сразу пущенных в оборот. Особенно нелепым выходило подражание лицам, выведенным в романе, преследующем свои особые цели и задачи» [16].

Особые цели, преследовавшиеся Чернышевским в романе «Что делать?», заключались в приобщении широкого круга читателей, в том числе тех, которые не приучены к систематическому чтению и изучению серьезной теоретической — научной и философской — литературы, к важнейшим общественно-социальным идеям, выношенным автором в период его критической и теоретической деятельности. Одним из действенных путей такого приобщения являлось (и является до сих пор) переживание идей и концептуальных построений в качестве особых художественно-эстетических предметов литературного произведения. Сегодня нас, читателей XX в., уже не удивишь подобной художественностью, весьма специфического, философско-интеллектуального свойства. Не только Толстой и Достоевский, но и Т. Манн, Г. Гессе, Ф. Кафка, Р. Роллан, Ж.-П. Сартр и А. Камю, Х. Л. Борхес и Г. Гарсия Маркес, Х. Кортасар и Ж. Амаду, Лу Синь и Кобо Абэ, а в советской литературе — М. Горький, Е. Замятин, М. Булгаков, А. Платонов, Л. Леонов, С. Залыгин — все это далеко не полный список писательских имен, очерчивающий область интеллектуально-философских поисков «новой художественности». Одна из особых целей творчества каждого из названных здесь художников — гипотетическое моделирование будущего и тем самым приближение его в формах утопии или антиутопии.

Один из главнейших принципов литературной деятельности, сознательно исповедуемый Чернышевским и даже декларируемый в качестве принципа — вначале одной критики, а затем и других литературных форм творчества, продиктован почти целиком *журнализмом* автора, пронизывавшим все без исключения формы его литературной деятельности — от философских до художественных. В «Очерках гоголевского периода русской литературы» Чернышевский сформулировал этот принцип наиболее определенно. «Для распространения в публике каких бы то ни было, хотя бы самых простых и справедливых мнений необходимо высказывать их очень настойчиво, упорно, с энтузиазмом страстного увлечения, не утомляющегося скучными для самого критика, но нужными для массы повторениями, не пренебрегающего подробным разбором книг и суждений, которые важны только по своему внешнему значению — по влиянию на публику, а не по внутреннему интересу для искусства, наконец, не отвращающегося, ради интересов публики, даже от споров с людьми, вступать в спор с которыми вовсе не приятно и не почетно» [17] (вроде споров с «проницательным читателем» и Марьей Алексеевной в романе «Что делать?»). В этом свете и детализация, и изобилие подробностей различного толка, равно как и повторения одних и тех же выводов, и споры с собеседниками, находящимися по своему уровню заведомо ниже автора,— особенности литературной деятельности, важные в пропагандистских целях,— кажутся автору приемлемыми средствами для достижения необходимого общественного эффекта, влияния на публику и ее мнение.

Прагматика, апелляция к общественной пользе — критерии, прилагаемые Чернышевским в равной степени и к науке, и к искусству (при том, что наиболее адекватны эти критерии и органичны публицистике, а науке и искусству — лишь в той мере, в какой они сближаются с ней). Даже систематизация понятий и принципов, столь характерная для самосознания и развития науки как таковой, признается Чернышевским лишь в качестве средства, облегчающего использование научных знаний массами, приведение их в действие, включение в человеческую практику. «Не приведенными в одно стройное целое истинами неудобно пользоваться: кто составил систему науки, тот один сделал науку общедоступною, и его понятия разольются в массе, хотя бы у других были понятия гораздо глубже, нежели у него; что́ не формулировано, то остается бездейственным» (II, 266). Так, приоритетность в культуре науки, научного знания (по сравнению, например, с искусством), постоянно отстаиваемая Чернышевским, то и дело оспаривается в системе его теоретических взглядов практической полезностью, социально-политической, общественной направленностью, публицистичностью. Недаром представители идеализма в философии и эстетизма в искусстве видели даже в сугубо теоретических произведениях Чернышевского (в его диссертации) обоснование журнализма как действенного фактора развития отечественной культуры. Так, А. Волынский писал, что «Эстетические отношения искусства к действительности» — это «программа, имевшая огромное влияние на ход нашего дальнейшего журнального развития» [18]. И это наблюдение было истинным.

Чернышевский в своей деятельности стремился к своеобразному синтезу трех аспектов культуры — познавательного (научности), эстетического (художественности) и политического (полезности). Этот синтез мог осуществляться более органично в публицистике, где прагматика (соображения общественной пользы) «снимает» противоположности научности и художественности, делая их в едином контексте публицистической действенности нерелевантными, несоотносимыми, а также в литературной критике, где критерии научности и художественности (применительно к содержанию анализа) дополнялись требованиями публицистичности(применительно к журналистской форме соответствующих критических статей; в этом отношении особенно показательными были критические статьи не столько самого Чернышевского, сколько Добролюбова, а затем Писарева). Однако на почве художественного творчества подобный синтез не мог осуществиться без серьезных противоречий, и это было замечено при оценке «Что делать?» как идейными сторонниками Чернышевского, так и его идейными противниками.

В самом деле, публицистичность требовала иллюстративности, наглядной детализации при обосновании тех или иных отвлеченных тезисов. С точки зрения художественности, иллюстративность вела к заданности, нормативности образов, лишая их пла-

стичности и органичности; а чрезмерная детализация выглядела слишком назойливой, размывая стройность идейно-эстетической концепции произведения, заслоняя логику художественного саморазвития идей, идеологем, призванных в системе интеллектуально-философского романа находиться на первом плане повествования в качестве полноправных «героев» произведения. Две самостоятельные «системы координат» в «Что делать?» вступили в явное противоречие: законы публицистического жанра диктовали преобладание агитационно-пропагандистского пафоса политической прокламации в беллетризованной форме; требования же философско-аналитического жанра склоняли к превалированию теоретических исканий истины, логическому «выстраиванию» художественной структуры романа, внедрению обобщенной символики и понятий, приобретающих в образно-ассоциативном контексте целого художественно-эстетический смысл [19].

Сам Чернышевский, отвергая обвинения в невежестве, адресованные «Современнику» и лично ему публицистами «Русского вестника» и «Отечественных записок», полемически заострял различие между «чистой наукой» и ее публицистической популяризацией, отдавая в конечном счете предпочтение последней, как общественно более ценной деятельности. «Неужели я вам должен объяснять разницу между начитанностью и специализмом, между специальным ученым, который двигает вперед одну науку или одну отрасль науки, и между журналистом, которому довольно быть образованным человеком, который только популяризирует выводы, сделанные учеными, только осмеивает грубые предрассудки и отсталость?» (VII, 764—765).

Вообще элитарная замкнутость как науки, так и искусства, по Чернышевскому, сродни сословно-кастовому высокомерию, отмежевавшемуся под тем или иным благородным предлогом от требований общественной пользы. В первоначальном варианте статьи четвертой из «Очерков гоголевского периода русской литературы» Чернышевский так формулирует упрек в элитаризме и общественной пассивности, обращенный к критике пушкинского времени: «Критик, который хочет сохранить в своей деятельности столько же внутреннего довольства предметом своих рассуждений, сколько может сохранить его ученый, столько же гордого спокойствия, сколько может сохранить его поэт или беллетрист,— такой критик пишет для немногих» [20]. В окончательном тексте упрек обозначен еще более жестко и однолинейно. Теперь уже и само различие науки и искусства перед лицом общественной пользы теряет какой бы то ни было смысл, да и общественный индифферентизм мотивируется чистым эгоизмом критика, лелеющего личное спокойствие и субъективные интересы: «Критик, который хочет говорить только о том, о чем интересно говорить для него самого, который хочет сохранить в своей деятельности столько же гордого спокойствия и достоинства, сколько сохраняет поэт или ученый,— такой критик пишет для немногих» [21].

Литературная критика как некое связующее звено между нау-

кой и искусством, опосредующее содержание и возможности этих двух явлений культуры, оказывается — при всей основательности и истинности своих суждений — общественно бесполезной (как и наука, и искусство), обращаясь к узкому кругу истинных ценителей (того и другого), утрачивая, таким образом, свой смысл как деятельности. Определяя критику как «вообще суждение о явлениях жизни, произносимое на основании понятий, до которых достигло человечество, и чувств, возбуждаемых этими явлениями при сличении их с требованиями разума» [22], Чернышевский отводил понимаемой таким образом критике исключительное место в культуре и культурно-историческом развитии общества (в последнем критика выступала как главный движущий фактор социального и культурного прогресса, как универсальный регулятивный механизм культуры). «...Нам кажется, что необходимо обратиться к изучению высоких стремлений, одушевлявших критику прежнего времени [23]; без того, пока мы не вспомним их, не проникнемся ими, от нашей критики нельзя ожидать никакого влияния на умственное движение общества, никакой пользы для публики и литературы; и не только не будет она приносить никакой пользы, но и не будет возбуждать никакого сочувствия, даже никакого интереса... А критика должна играть важную роль в литературе, пора ей вспомнить об этом» [24].

Роман «Что делать?» отразил верность его автора «всем особенностям своего критического таланта» (Писарев) прежде всего потому, что роман Чернышевского ставил своей целью, как и любая его прежняя собственно критическая работа (но в то же время не только в теоретической, но и в художественно-пластической форме), судить о явлениях жизни с высоты тех социально-философских и нравственных понятий, «до которых достигло человечество», сличить явления действительности «с требованиями разума». Тем самым роман Чернышевского, апеллируя к широкому читателю, к русскому обществу в целом, выступал в качестве *Критики*, не прибегая в то же время к подчеркнутым формам непосредственного отрицания, обличения, ниспровержения.

С искренним удивлением писали в своей не опубликованной при жизни рецензии на роман Чернышевского А. Фет и В. Боткин: «Роман *Что делать* дорог для нас уже потому, что автор его еще в то время понял всю бесплодность одних вечных отрицаний и невозможность остановиться на них. ...Он вывел по крайней мере дело из области бесплодных, перед целым образованным и порядочным светом опозорившихся свистков и ругательств, на стезю положения. Он ясно указал *что делать* должно в интересах известной пропаганды. Он выставил перед нами идеал распространяемого им учения» [25]. Это мнение очень сильно перекликается с суждениями о романе Лескова, Страхова, сопоставление с которыми выявляет типологическую общность высказанных оппонентами Чернышевского положительных оценок его произведения.

«„Новые люди“ г. Чернышевского,— пишет Н. Лесков,— которых, по моему мнению, лучше бы назвать „хорошие люди“, не несут ни огня, ни меча. Они несут собою образчик внутренней независимости и настоящей *гармонии* взаимных отношений... Стало быть, *что же делать?* По идее г. Чернышевского, освободиться от природного еписиерства [торгашества.— *И. К.*], откинуть узкие теории, не дающие никому счастья, и посвятить себя труду на основаниях, представляющих возможно более гармонии, в ровном интересе всех лиц трудящихся. Г. Чернышевский, как *нигилист*, и, судя по его роману, *нигилист-постепеновец*, не навязывает здесь ни одной из теорий..., но заставляет пробовать: как лучше, как удобнее?» [26]

«Источником этого воодушевления [с которым написано «Что делать?».— *И. К.*], главною его пружиною был известный взгляд на мир, известное учение. Этот роман представляет наилучшее выражение того направления, в котором он писан; он выражает это направление гораздо полнее, яснее, отчетливее, чем все бесчисленные стихотворения, политико-экономические, философские, критические и всякие другие статьи, писанные в том же духе»,— заявляет в то же время (1863) Н. Страхов. И далее: «...автор фанатически увлечен своей мыслью... он верит в нее вполне, безусловно. Какая же это мысль? В чем состоит эта господствующая идея? Она состоит в мысли *о счастье,* в представлении *благополучной жизни.* Роман учит, как быть счастливым» [27]. Страхов и статью свою назвал «Счастливые люди».

Еще Лесков: «Кто же настоящие нигилисты? Верно, люди из романа г. Чернышевского. Их мало в натуре (*совершенно таких людей,* как у г. Чернышевского, мы даже вовсе не видали), они в натуре не ведут дел так счастливо, проваливаются, даже бывают посмешищем для экономических весельчаков... Они могут провалиться? Да, очень могут, но другие обойдут провал, пойдут, узнают, чего должно избегать и чего бояться. Тут нет беды, ибо все это вперед, вперед толкает. Люди растут» [28].

И еще Страхов: «Роман, конечно, написан сказочно, написан для прославления своих героев, которым все удается, но самая концепция характеров, проведенная до многих тонких подробностей, очевидно, была бы невозможна, если бы не было в действительности чего-нибудь соответствующего» [29].

Вдумаемся в смысл и пафос высказанных здесь представителями антинигилистического лагеря похвал произведению, в известном смысле наиболее характерному и яркому в направлении «нигилистическом», более всего, по признанию самих критиков романа, выражающему соответствующие идеи, целое мировоззренческое учение. Итог выглядит довольно парадоксально, что делает его еще более значительным.

Итак, самое значительное, выразительное, глубокое и яркое произведение «отрицательного» направления, выражающее его суть наиболее полно и отчетливо (более отчетливо, нежели специальные теоретические трактаты и статьи),— роман, вышед-

ший на «стезю положения», утверждающий *идеалы* направления и автора как его представителя. Более того, полноценными героями романа становятся *положительные идеи,* составляющие — порознь и в своей совокупности — основания «понятий, до которых достигло человечество», воплощающие «высокие стремления» лучших мыслителей прошлого и настоящего, служащие людям мерой «требований разума», с которыми должно сверять явления и процессы окружающей действительности, далекой от совершенства. Вместо ожидаемых публикой «отрицаний», обличений, *критики* всего и вся (как это было бы и положено для «нигилизма») читателям демонстративно предлагаются модели «идеального общества», «идеальных отношений», «идеальных (или близких к ним) героев», «идеально» благоприятных обстоятельств жизни, «идеальных» поступков, «идеально» разрешающих все возможные противоречия (даже такие неразрешимые, как «любовный треугольник») — сознательно культивируемый, даже нагнетаемый мир художественно преломленных *абсолютов*, предельных образцов возможного и должного, нового и особенного. Само погружение читателя в этот нарочито идеальный, теоретизированный мир, мир художественно преломленных идеалов и нравственных императивов, было призвано превратить любое его отношение к окружающей действительности в резко критическое — без непосредственного побуждения со стороны автора.

И тут сразу выявляется еще одно противоречие (а по сути — все то же, то же!). Если перед нами заведомо условное, «сказочное» повествование (учебник «счастливой жизни»), то к чему, казалось бы, верность деталей, многие «тонкие подробности», соответствующие действительности, правдоподобие характеров и поступков? Если перед нами не столько *характеры* героев, сколько обнаженные *концепции* их характеров, к чему доводить их «до многих тонких подробностей», добиваться ощущения их определенного *соответствия* действительности (хотя в то же время остается несомненным, что «совершенно таких» людей, пожалуй, и нет в действительности, и обстоятельств таких, и поступков, и мыслей, и переживаний, и споров — тоже нет)? С другой стороны, если перед читателем раскрыт действительно «учебник жизни», пусть и специфической жизни — идеальной, счастливой, то на одних отвлеченностях — идеалах, абсолютах, теоретических сентенциях и философских умозаключениях, концептуальных построениях и понятиях — невозможно построить «учебник», тем более книгу, по которой предстоит целым поколениям учиться *жизни* (а не математике или, скажем, политэкономии). Здесь уже без подробностей и наглядных примеров не обойтись, как не обойтись без прямых авторских обращений к читателям, воззваний и призывов, т. е. без публицистики. Интеллектуальность, открытая философичность романа Чернышевского как бы «уравновешивается» столь же открытой и подчеркнутой его публицистичностью; но в той же мере эти два начала вступают в противоречия друг с другом. Высокий интеллектуализм кажется чрезмер-

ной абстракцией в контексте «приземленной», сугубо практичной публицистики; публицистичность мешает философским построениям своей «мелочностью», детальной социальностью, контрастирующей с моделированием действительности на уровне конструктов-идеалов, философских «предельных» обобщений.

Сторонник интеллектуализма, философского аналитизма в искусстве, Щедрин очень остро отреагировал на отмеченное впервые им же противоречие философского и публицистического подходов в романе Чернышевского. Много спустя после первой публикации романа, когда давно улегся шум критических дискуссий, он вернулся к осмыслению этой проблемы в частном письме к Е. И. Утину (1881): «Мне кажется, что писатель, имеющий в виду не одни интересы минуты, не обязывается выставлять новых идеалов, кроме тех, которые исстари волнуют человечество. А именно: свобода, равноправность и справедливость. Что же касается до практических идеалов, то они так разнообразны, начиная с конституционализма и кончая коммунизмом, что останавливаться на этих стадиях — значит добровольно стеснять себя» [30]. И далее, называя примеры «практических идеалов» (по существу, перестающих быть идеалами в полном смысле этого слова, если они действительно практичны, и, напротив, не являющихся практическими, если это идеалы) идеалы семьи, собственности, государства, выступающие в качестве предмета идеализации у Чернышевского, он останавливается на противоречиях романа «Что делать?». «Ведь семья, собственность, государство — тоже были в свое время идеалами, однако ж они, видимо, исчерпываются. Устраиваться в этих подробностях, отстаивать одни и разрушать другие — дело публицистов. Читая роман Чернышевского „Что делать?“, я пришел к заключению, что ошибка его заключалась именно в том, что он чересчур задался практическими идеалами. Кто знает, будет ли оно так! И можно ли назвать указываемые в романе формы жизни окончательными? Ведь и Фурье был великий мыслитель [из контекста: как и Чернышевский.— *И. К.*], а вся прикладная часть его теории оказывается более или менее несостоятельною, и остаются только неумирающие общие положения» [31]. Так, отстаивая приоритет «вечных» общечеловеческих ценностей (в том числе идеалов свободы, равноправия, справедливости, которые также присутствуют в романе Чернышевского, но поневоле отодвигаются на второй план практическими подробностями будущего общественного устройства семьи, собственности и государства, волновавших социалиста-утописта Чернышевского не в пример более, нежели «вечные» вопросы), Щедрин хотел своим творчеством «спасти идеал свободного исследования, как неотъемлемого права всякого человека, и обратиться к тем современным „основам“, во имя которых эта свобода исследования попирается» [32], ссылаясь в качестве образца на такие свои произведения, как «Благонамеренные речи», «Господа Головлевы», «Круглый год». Избирая среди социалистических учений «линию Сен-Симона» и отвергая «линию

Фурье», Щедрин поистине оставлял себе единственный идеал в неприкосновенности — «идеал свободного исследования» общества, разоблачая при этом мнимость различного рода «практических идеалов», давно переставших на практике быть «идеальными», выступать в сознании и деятельности людей в качестве идеалов. Воссоздавая трагический образ «безыдеальной» реальности, не дающей никаких возможностей для возникновения или существования каких-либо идеалов, Щедрин явился главным оппонентом «идеальной» поэтики романа «Что делать?» с позиций революционно-демократических же, но при этом не допускающих ни тени утопизма, ни грана иллюзий. «Интеллектуальная поэтика», созданная Щедриным, при всей своей политической заостренности и социальной направленности не сбивалась на публицистику и не злоупотребляла подробностями. Щедрин создал иной художественный вариант политического интеллектуализма — по сравнению с Чернышевским,— альтернативный к поэтике «Что делать?». Но для самого возникновения такой альтернативы было нужно появление романа о «новых людях».

2

Противоречивая установка автора романа «Что делать?» не могла не сказаться соответствующим образом на месте романа в литературном процессе. Самым непосредственным следствием особого положения романа «Что делать?» в литературном процессе было, конечно, явное выпадение его из ближайшего историко-литературного контекста, причем сразу в нескольких (если не сказать — во всех) аспектах. Перенос основных принципов своей литературно-критической деятельности в область художественного творчества, экстраполяция самого критического метода вовнутрь литературного произведения привели к тому, что прочтение романа в контексте текущего литературного процесса (наиболее естественное при всех обычных условиях) стало гибельным или, сказать точнее, роковым для художественной репутации романа. Казалось, лишь одна дискредитация художественности как ложной оценочной категории или само кощунственное «разрушение эстетики» могут спасти знаменитый запрещенный роман от титла «смелого и практически полезного», но в то же время «художественно бездарного и претенциозного» произведения. Так сказать, с одной стороны, политико-идеологическое (позитив); с другой — художественно-эстетическое (негатив).

Однако существовала и другая возможность прочтения романа, подсказанная Д. Писаревым: он мог быть прочитан (и прочитывался тем же Писаревым) в контексте развития литературно-критической мысли (прежде всего самого Чернышевского, затем — его предшественника и духовного учителя Белинского и его соратника по критике и журналу Добролюбова). В этой возможности прочтения есть своя простая логика. Единство мыслительного материала и мировоззренческой позиции, преемствен-

ность основных идей, обоснование критериев оценки художественных произведений и, быть может, главное: единство личности автора, уже успевшего сделаться для читателей определенного направления признанным идейным вождем, по каким бы конкретным вопросам, в какой области знания и в какой бы литературной форме он ни выступал,— все это естественно наталкивало публику, неравнодушную к направлению «Современника» (как в отрицательном, так и в положительном смысле), именно к такому методу чтения романа — в контексте предшествующей роману литературной критики (и публицистики) журнала «Современник».

Такой опыт прочтения и сегодня может оказаться поучительным. Ведь в его ходе выявятся те эстетико-идеологические тенденции, которые проводил сам Чернышевский, а затем, когда он практически оставил критическую деятельность и передал критический отдел журнала Н. Добролюбову, и Добролюбов. Мы сможем узнать из уст самого автора романа «Что делать?», что́ не устраивает в предшествующем и текущем литературном процессе его и его единомышленников; каковы критерии художественности, полагаемые для своего времени Чернышевским, а какие ее параметры устарели; в каком направлении движется, по мнению критиков революционеров-демократов, художественный прогресс и т. п. Одним из главных вопросов историко-литературного развития для Чернышевского и его товарищей по «Современнику» был, как это ни покажется странно, вопрос, связанный с отношением к предшествующей литературной эпохе, осененной именем Пушкина. Ведь даже важнейший для Чернышевского в исследовательском отношении «гоголевский период русской литературы» должен *отталкиваться* от периода, в главном принципиально отличного от литературной современности (для критиков «Современника»), а потому призван быть определенным через *противопоставление* «пушкинскому периоду».

Ссылаясь на мнение Белинского, высказанное в первой из цикла статей о Пушкине [33] и развивая его, усиливая, Чернышевский с особой силой и упорством отстаивал тезис: «...Пушкин принадлежит уже прошедшей эпохе... он не может быть признан корифеем и современной литературы» [34].

Чем же мотивировал Чернышевский свой столь определенный вывод о преходящем значении творчества Пушкина и вместе с ним всей пушкинской эпохи? Значение Пушкина в истории русской литературы критик определял так: «Он первый возвел у нас литературу в достоинство национального дела, между тем как прежде она была, по удачному заглавию одного из старинных журналов, „Приятным и полезным препровождением времени“ для тесного кружка дилетантов» [35]. И в этом (и только в этом) смысле «вся возможность дальнейшего развития русской литературы была приготовлена и отчасти еще приготовляется Пушкиным» [36]. Таким образом, вклад Пушкина в развитие отечественной словесности был, условно говоря, низведен до превращения литературы в вид искусства — не более, но и не менее того,—

становясь тем самым лишь эпизодом (пусть и значительным) в предыстории русской литературы и культуры. История же как одной, так и другой, с точки зрения Чернышевского, лишь еще предстояла — в лице хотя бы Лермонтова и Гоголя, а точнее — всего будущего литературного развития русского общества.

Впрочем, Чернышевский не устает повторять (в своем цикле статей «Сочинения А. С. Пушкина. Изд. П. В. Анненкова», как бы нарочито продолжающем почти одноименный цикл Белинского), что отмеченное значение Пушкина для русского общества не так уж и мало. Но, утверждая и обосновывая эту мысль, Чернышевский с каждым разом находит все новые аргументы, показывающие недостаточность дела Пушкина, его чуть ли не исходную ограниченность — своими задачами и целями, своими возможностями и наличными средствами. Отрыв от жизни, замыкание в чистые и холодные сферы художественной формы, совершенной в себе самой и, к сожалению, для себя самой. «Торжество художественной формы над живым содержанием было следствием самой натуры великого поэта, который был по преимуществу художником. Великое дело свое — ввести в русскую литературу поэзию, как прекрасную художественную форму, Пушкин совершил вполне, и, узнав поэзию, как форму, русское общество могло уже идти далее и искать в этой форме содержания. Тогда началась для русской литературы новая эпоха...» И далее: «...эпоха безусловного удовлетворения чистою формою для нас миновалась...» [37]

Но не одно только доминирование формы над содержанием у Пушкина вызывает у Чернышевского безусловное неудовлетворение. В более поздней — по сравнению с циклом «Сочинения А. С. Пушкина» — статье «А. С. Пушкин. Его жизнь и сочинения» критик под видом популярного изложения для детей биографии и творческого пути великого классика русской литературы, с деланной наивностью и простодушием изложения, казалось бы, общеизвестных жизненных фактов формулирует весьма радикальные оценки Пушкина и его творчества, бросающие резкий свет на точку зрения автора в отношении предшествующей эпохи литературного развития: «В произведениях Пушкина мы находим доказательства того, что он был человек с большой начитанностью; но если бы он вместе с этой начитанностью обладал большей основательностью в своих понятиях о многих важных вопросах человеческой жизни, то, без сомнения, достоинство его творений было бы еще выше» (III, 327). Это не слишком лестное суждение об основоположнике новой русской литературы не было неожиданным для читателей «Современника». Уже в «Сочинениях А. С. Пушкина» Чернышевский, повторяя — уже в который раз,— что «Пушкин был по преимуществу поэт формы», что «существеннейшее значение произведений Пушкина — то, что они прекрасны или, как любят ныне выражаться, художественны» [38], далее объясняет, почему «художественность» — недостаточное основание для подлинного величия писателя.

«Пушкин,— пишет он,— не был поэтом какого-нибудь определенного воззрения на жизнь, как Байрон, не был даже поэтом мысли вообще, как, например, Гёте и Шиллер. Художественная форма „Фауста“, „Валленштейна“, „Чайльд-Гарольда“ возникла для того, чтобы в ней выразилось глубокое воззрение на жизнь; в произведениях Пушкина мы не найдем этого. У него художественность составляет не одну оболочку, а зерно и оболочку вместе[39]. В построенной здесь ценностной иерархии художественности Чернышевский на нижней ступени совершенства помещает те художественные ценности, в которых форма и содержание слиты неразрывно — чуть ли не в первоначально-синкретическом единстве: художественность проникает и «оболочку», и «зерно» произведения искусства. Выше, по Чернышевскому, располагаются *художники мысли* («мысли вообще»), для которых художественность выражается в примате содержания, саморазвивающейся мысли, которая, будучи соответствующим образом художественно «оформлена», является прекрасной, эстетически совершенной сама по себе, именно как ищущая, творческая, саморазвивающаяся мысль, и в этом качестве поэтизируется и культурно возвышается ее творцом. Наконец, на высшей ступени располагается то воплощение художественности, где эстетическим предметом искусства оказывается не просто «мысль вообще», но «*определенные воззрения на жизнь*», отличающиеся, как явствует из контекста рассуждений Чернышевского, не только своеобычностью, независимостью, неординарностью, но и выношенностью (может быть, даже выстраданностью), глубиной, способностью «прозрения» в изображаемых событиях и явлениях их внутреннего смысла[40]. В этом, последнем случае художественно-эстетическая, а вместе с ней и познавательная ценность воззрения на мир, в известной мере самоценная, «снимает» в себе художественно-эстетические достоинства ее «внешности» — красоту формы, «обработки стиха» и т. п.— той «оболочки», в которую заключено «зерно» содержания. Сама *определенность* воззрения на жизнь, художественно преломленная в соответствующей ей форме, по мнению критика, настолько эстетически довлеет в себе, что в конце концов преодолевает зависимость от своей «тленной», преходящей оболочки (если последняя, конечно, не вступает с ней в смысловое противоречие).

С сожалением признает Чернышевский, что остаются недооцененными мысли, высказанные Белинским в его цикле статей «Сочинения Александра Пушкина», для которых пушкинские произведения послужили лишь «поводом» к развитию критиком своего собственного взгляда на предмет — взгляда самобытного и самоценного, а этого-то как раз «не всегда понимают и не всегда отличают мысли критика от понятий, высказанных в разбираемом произведении, считая критика только простым комментатором автора»[41]. Более того, Чернышевский считает своим особым долгом перед памятью Белинского подчеркнуть его мыслительное превосходство над предметом его критического анали-

за — Пушкиным и его творчеством. «Какие удивительные страницы написаны на русском языке о „Цыганах", о характере Онегина, о Татьяне, о русском обществе и русской женщине! Мы очень ошиблись бы,— заявляет Чернышевский, если бы, начав яснее понимать все эти вещи, о которых они говорят, предположили, что узнали их от Пушкина, а не от его критика» [42].

Именно отсюда проистекает то искреннее прискорбие, с которым Чернышевский сообщает, что «Пушкин не был рожден критиком» и что его «суждения о современных ему русских писателях» обнаруживают, что «Пушкин смотрел на хвалимые произведения очень наивно»; что, поскольку Пушкин не был «по преимуществу ни мыслителем, ни ученым», «в его произведениях не должно искать главнейшим образом глубокого содержания, ясно сознанного и последовательного» [43]. Мало этого, касаясь проблемы восприятия пушкинского творчества читательской массой (в той мере, разумеется, в какой можно было в пушкинское время говорить о читателях Пушкина как о массе), Чернышевский совершенно серьезно констатирует: «Если б читатели по преимуществу искали в нем [Пушкине.— *И. К.*] содержания, они бы, вероятно, потребовали большего; но они не искали, не требовали, и содержание давалось им невзначай, без просьбы с их стороны, и для них это содержание было так обильно и глубоко, что они едва могли выносить это тяжелое для непривычного человека богатство» [44].

Новая литературная (и общественно-политическая) эпоха, интересы которой выражал и отстаивал в борьбе Чернышевский, нуждалась, по мысли критика, в иной, неизмеримо большей степени интеллектуального богатства — как писателей, так и читателей. *Мысль* призвана стать предметом эстетического освоения художниками, героиней художественных произведений, главным движущим началом художественного творчества и стимулом читательской активности. *Мыслитель* должен господствовать в политике и естествознании, философии и публицистике, литературной критике и самом искусстве слова. В этом смысле пример Пушкина для Чернышевского не является вдохновляющим: «Пушкин по преимуществу поэт-художник, не поэт-мыслитель; то есть существенный смысл его произведений — художественная их красота» [45].

Чернышевский постоянно обращается к своему читателю с увещеванием: «Говоря все это, мы повторяем мысли, высказанные давно» [46]. И намеки его более чем прозрачны. Хотя и описательно (по цензурным условиям 1855 г.), Чернышевский то и дело называет своего предшественника. Это — В. Г. Белинский. Впрочем, и без авторских аллюзий отсылка критика к первоисточникам своих мыслей очевидна. Каждому читателю, следящему за движением критической мысли в его отечестве, типология «поэта-художника» и «поэта-мыслителя» напомнит сопоставление Герцена и Гончарова в одной из последних критических статей Белинского — «Взгляд на русскую литературу 1847 года». Не про-

сто напомнит, но приведет мысли Чернышевского и Белинского в прямое взаимосоответствие.

Идеал Чернышевского (в качестве писателя, художника, творца литературы) — поэт-мыслитель, коим у Белинского предстает А. И. Герцен (Искандер). Все сказанное у Белинского об этом типе художника — это целая программа литературного творчества, под каждым пунктом которой несомненно подписывается и Чернышевский — беллетрист, художник. Так, мы, во-первых, восстанавливаем *контекст прочтения* художественных произведений Чернышевского (прежде всего романа «Что делать?») в том виде, как его оптимально видел автор, как он его моделировал самой тканью своего романа в восприятии читателей-единомышленников. Далее, мы выстраиваем тот *литературный ряд* в историко-литературном процессе, в котором типологически стоит роман «Что делать?» (это — во-вторых). И наконец, в-третьих,— здесь мы находим разрешение парадокса «Что делать?», связанного с определением *природы* его *художественности*.

Литературная ретроспектива, к которой прямо апеллирует роман Чернышевского «Что делать?» (в свою очередь, определяющая и контекст прочтения романа, и его типологический ряд, и тип художественного обобщения, к которому сознательно прибегнул Чернышевский) — это роман Герцена «Кто виноват?». Не случайны здесь и перекличка отдельных сюжетных ситуаций двух романов, и общность поэтики и стилистики этих произведений, и характерный способ создания характеров — не типизация, а *типологизация*[47]. Еще в большей степени закономерно совпадение пафоса философских исканий, борений творческой мысли, художественного преломления принципа теоретизма в обоих романах, выстраивающих в истории русской литературы традицию интеллектуализма, органически связанную со становлением жанра *философско-интеллектуального романа*, или же — по терминологии великого нашего современника М. М. Бахтина — *социально-идеологического романа*[48]. Но что свидетельствует еще более прямо, непосредственно о тесной преемственной связи, существующей между романом «Кто виноват?» и романом «Что делать?», так это *глобальность* общественно-исторических *вопросов*, вынесенных в заглавия того и другого произведений,— закономерность, впервые отмеченная столь отчетливо М. Горьким[49].

Но, взывая к памяти читателя, к опыту его своеобразного восприятия герценовского «Кто виноват?» — и в плане сходства, и в плане различий, как это всегда и бывает при сравнении несходного и сходного,— Чернышевский одновременно апеллировал и к оценкам поэта-мыслителя в лице Герцена-Искандера, данным в конце жизни Белинским, обладавшим в глазах Чернышевского и его единомышленников непререкаемым авторитетом (в огромной мере бо́льшим, нежели, скажем, авторитет поэта-художника Пушкина). Эти оценки-выводы, будучи экстраполированы на роман Чернышевского «Что делать?», были не только лестными для автора — неофита в художественном творчестве, но и давали чи-

тателям прошлого и будущего *ключ* к интеллектуальной поэтике того и другого романов. Существующие до сих пор многочисленные попытки представить роман Чернышевского в качестве традиционного социально-психологического романа, а литературный процесс в середине XIX в. в России как однолинейную последовательность творческих индивидуальностей всех знаменитых русских писателей — больших и малых — выдают нам актуальность и вместе с тем непреходящее значение этого ключа, данного нам Белинским.

Напомним некоторые выводы Белинского, впервые открывшего закономерности зарождающегося в искусстве интеллектуализма, философского аналитизма. Первым делом Белинский напоминает читателям, что Герцен «давно уже известен публике как автор разных статей, отличающихся замечательным умом, талантом, остроумием, оригинальностию взгляда на предметы и оригинальностию выражения. Но как романист, он талант новый...» [50]. Как видим, путь автора «Былого и дум» от критики, публицистики, философии к собственно искусству слова, к художественной литературе почти полностью аналогичен приходу в литературу Чернышевского. В этом, несомненно, заключена — пусть и не единственно возможная, но отчетливая — *логика художественного преломления теоретизма.*

Попытаемся приложить важнейшие мысли Белинского, высказанные по поводу «Кто виноват?», к творчеству Чернышевского как автора «Что делать?».

Видеть в авторе «Кто виноват?» необыкновенного художника — значит вовсе не понимать его таланта. Правда, он обладает замечательною способностию верно передавать явления действительности, очерки его определенны и резки, картины его ярки и сразу бросаются в глаза. Но даже и эти самые качества доказывают, что главная сила его не в творчестве, не в художественности, а в мысли, глубоко прочувствованной, вполне сознанной и развитой. Могущество этой мысли — главная сила его таланта; художественная манера схватывать верно явления действительности — второстепенная, вспомогательная сила его таланта [51].

...Разряд поэтов, о котором мы начали говорить и к которому принадлежит автор романа «Кто виноват?», может изображать верно только те стороны жизни, которые особенно почему бы то ни было поразили их мысль и особенно знакомы им. Они не понимают наслаждения представить верно явление действительности для того только, чтобы верно представить его. У них недостанет ни охоты, ни терпения на такой, по их мнению, бесполезный труд. Для них важен не предмет, а смысл предмета, и их вдохновение вспыхивает только для того, чтобы через верное представление предмета сделать в глазах всех очевидным и осязательным смысл его. У них, стало быть, определенная и ясно сознанная цель впереди всего, а поэзия — только средство к достижению этой цели. Поэтому доступный их таланту мир жизни определяется их задушевною мыслию, их взглядом на жизнь...[52]

...Роман этот — ряд биографий, связанных между собою одною мыслию, но бесконечно разнообразных, глубоко правдивых и богатых философским значением. Здесь автор вполне в своей сфере... Он — философ по преимуществу, а между тем немножко и поэт, и воспользовался этим, чтобы изложить свои понятия о жизни притчами [53].

У Искандера мысль всегда впереди, он вперед знает, что и для чего пишет; он изображает с поразительною верностию сцену действительности для

того только, чтобы сказать о ней свое слово, произнести суд... Картины Искандера отличаются не столько верностию рисунка и тонкостию кисти, сколько глубоким знанием изображаемой им действительности, они отличаются больше фактическою, нежели поэтическою истиною, увлекательны словом не столько поэтическим, сколько исполненным ума, мысли, юмора и остроумия,— всегда поражающими оригинальностию и новостию [54].

Быть может, за исключением нескольких частностей, все приведенные здесь выводы Белинского о своеобразии творчества «поэта-мыслителя» вполне приложимы к творчеству Чернышевского-художника, и главным образом — к его роману «Что делать?». Могущество мысли, опережающей описание и являющейся сама по себе целью; преобладание фактической истины над поэтической; притчеобразность повествования; произнесение суда над окружающей действительностью; превалирующее над изображением того или иного предмета выявление, исследование его смысла; составление картины мира, определяемой по преимуществу ракурсом авторского взгляда на жизнь; развитие авторской мысли как движущий механизм сюжета (развивающейся идеи) — все это черты, в равной мере свойственные интеллектуальной поэтике двух знаменитых «романов вопросов».

Но Белинский не останавливается на одном лишь анализе своеобразия романа «Кто виноват?» (в сравнении с «Обыкновенной историей» Гончарова). Он идет дальше. Он формулирует вывод о существовании «особенной сферы искусства, в которой фантазия является на втором месте, а ум — на первом». Отвергая элитарные стремления искусственно, лабораторным путем отделить раз и навсегда искусство от неискусства, художественное от нехудожественного и т. п., Белинский продолжал: «Хотят видеть в искусстве своего рода умственный Китай, резко отделенный точными границами от всего, что не искусство в строгом смысле слова. А между тем эти пограничные линии существуют больше предположительно, нежели действительно; по крайней мере их не укажешь пальцем, как на карте государства. Искусство, по мере приближения к той или другой своей границе, постепенно теряет нечто от своей сущности и принимает в себя от сущности того, с чем граничит, так что вместо разграничивающей черты является область, примиряющая обе стороны» [55].

В такой области, пролегающей между философией и литературой как искусством слова, создавались интеллектуально-философские романы Герцена и Чернышевского, а следом за ними — произведения этого же специфического жанра, создававшиеся Достоевским и Л. Толстым, Щедриным и Горьким, А. Белым и Замятиным, Булгаковым и Платоновым, Зощенко и Пастернаком, Гроссманом и В. Быковым, Тендряковым и Айтматовым, Залыгиным и А. Битовым. Исходные же принципы пограничного жанра формировались впервые в процессе создания первого и второго «романа вопросов». Первый дал Белинскому материал для теоретического обобщения и постановки вопроса о *сфере интеллектуального искусства*. Второй — породил острую *коллизию* в литературном процессе 60-х годов, вызвав самим своим появлением

не только дискуссию о художественности, традициях и новаторстве и др., но и — как результат литературной и критической полемики — «*разветвление*» *литературного процесса.* Достаточно напомнить творческий путь Достоевского и Щедрина, которые после появления романа «Что делать?» и под его непосредственным влиянием — как правило, «от противного» — сменили традиционно социально-психологическую манеру письма на социально-идеологическую, интеллектуально-философскую. Уже после «Что делать?», в острой полемике с ним писал Достоевский свои знаменитые «Записки из подполья» и «Преступление и наказание», «Идиот» и «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы». В ином контексте, но также в определенной связи с «Что делать?» рождались такие «странные» — интеллектуальные — повествования романного масштаба, как «Обыкновенная идиллия», «История одного города», «Господа Головлевы», «Убежище Монрепо» и другие фантасмагорические антиутопии Щедрина. Концептуализировались и произведения Л. Толстого (философский эпилог «Войны и мира», «Воскресение» и другие, менее масштабные внешне произведения, проникнутые философским аналитизмом).

Впрочем, и другая, традиционная «ветвь» литературного процесса — социально-психологическая — развивалась не без сознания своей интеллектуально-философской «альтернативы». Пример тому — позднее творчество Тургенева (начиная с не понятого читателями и критикой его романа «Дым»). Все более утверждалось понимание того, что литературное развитие впредь не может не осуществляться многомерно, в единстве нескольких противоречащих друг другу, полемически заостренных друг против друга стилевых «ветвей», в широком контексте отечественной и мировой культуры.

3

Становление новой художественной парадигмы, утверждающейся первоначально в сознании художников, а затем и широкой читающей публики, происходит, как мы можем убедиться на примере «Что делать?», отнюдь не с первым произведением, открывающим начало стилевой «ветви» в историко-литературном процессе, а со вторым. Именно наличие по крайней мере двух точек на оси времени позволяет мысленно провести между ними некоторую линию, представить последовательность явлений культуры как культурно-исторический *процесс.*

Сопоставляя между собой два «романа вопросов», критика далеко не сразу осознала их стилевое единство и идейно-эстетическую преемственность. На первый план, естественно, выступали скорее внутренняя полемичность второго романа по отношению к первому, отталкивание «Что делать?» от «Кто виноват?» — черты, вполне выражающие отличие эпохи 60-х годов от эпохи 40-х. Один из первых критиков, обратившихся специально к сравнению двух романов, А. М. Скабический (кстати, до сих пор во многом недооцененный нами) тщательно подчеркивал глубокие,

принципиальные различия этих произведений. В статье «Три человека сороковых годов», принадлежащей началу 70-х, Скабичевский замечает «в одном из новейших и наиболее выдающихся романов» сюжет, во многом подобный роману «Кто виноват?» Характеризуя в общих словах основу сюжета в романе «Что делать?», по цензурным условиям не называемом, критик вместе с тем добавляет: «Совершенно иного рода представляется отношение к тому же вопросу [об эмансипации женщины — по отношению к свободе чувства.— *И. К.*] в романе «Кто виноват?», и смешивать его с вышеприведенным современным романом с таким же сюжетом отнюдь не следует. Самое заглавие романа Герцена показывает, что это вовсе не пропаганда сознанных убеждений [как «Что делать?»,— и критик ставит это в заслугу Чернышевскому.— *И. К.*], а вопрос, рефлексия» [56].

По мысли Скабичевского, заглавие романа Чернышевского представляет собой вовсе не вопрос, подобно герценовскому, а вопрос косвенный, по существу даже ответ, как оно и положено в патентованном «учебнике жизни» (по эстетической теории самого Чернышевского). Что касается произведения Герцена, то критик с видимым сожалением констатирует, что «роман вовсе не имеет целью показать вам, как нужно поступать в случае, если ваша жена полюбит другого или сами вы ей измените: цель его — исследовать причины, вследствие которых происходят подобные явления, и показать вам, что, как бы мораль ни относилась к этим изменам и сколько бы мучений они ни причиняли людям, они неизбежны в том случае, если нарушается правильный ход диалектического развития жизни» [57]. Подобная, чрезмерно абстрактная задача художественного произведения представляется Скабичевскому до известной степени даже противоестественной, неправомерной, чуть ли не художественным просчетом Герцена (особенно заметным во второй части романа «Кто виноват?»). «Во второй же части [в отличие от первой, более удачной, по мысли Скабичевского.— *И. К.*] из простого рассказчика Герцен делается философом. Ко всем своим типам он подходит с отвлеченной точки зрения; из живых людей он преображает их в философские категории. Поэтому и Круциферский, и Бельтов являются совершенно иными. Подобное превращение является искусственным и условным в той же степени, как условны выражения различных реальных величин алгебраическими буквами X или Y» [58].

Не оценив по достоинству творческий метод Герцена как художника-мыслителя, А. М. Скабичевский тем не менее точно почувствовал его суть. Современный исследователь, А. В. Гулыга, отнюдь не в связи с произведениями Герцена или Чернышевского (к которым он вовсе не апеллирует), определяет содержание метода типологизации в науке и искусстве: «Типология как способ абстрагирования широко применяется в научном познании, когда задача состоит не в нахождении, а в конструировании общего. Если даны три явления abc^1, ab^1c, a^1bc, то abc будет

их общим типом... Типологизация в науке означает конструирование логических форм, отражающих реальные процессы, которые не существуют в чистом виде (это имеет место не только в органическом, но еще чаще — в социально-культурном мире). Типологизация в искусстве — конструирование художественных форм, воспроизводящих жизнь схематичнее, чем это делает типический образ. В обоих случаях мы имеем дело с духовными конструкциями. Применяя метод художественной типологизации, искусство сближается с наукой (гуманитарным знанием)» [59].

С духовными конструкциями особого рода — на стыке философии (в чем-то даже науки), с одной стороны, и искусства, художественной литературы — с другой,— имеем мы дело и в «Кто виноват?» (особенно явно во второй части), и в «Что делать?». Логика возникновения подобных духовных конструкций, во всяком случае применительно к роману Герцена, представляется прозрачной уже для А. Скабичевского. Он замечает, что Герцен осуществляет анализ деятельности людей с точки зрения не зависящих от них общих законов диалектического развития жизни [60]. Для этого Герцен сначала обращается к исследованию причин падений и несчастий людей, лежащих в общих законах жизни, в статье «По поводу одной драмы» (и в остальных философско-публицистических эссе из цикла «Капризы и раздумье»); далее, статья эта «служит основой, так сказать, темой» романа «Кто виноват?». «Роман,— по словам Скабичевского,— представляет более полное развитие и художественное воспроизведение тех самых идей, которые мы встречаем в этой статье» [61]. Концептуальность романа Герцена, как это стремится продемонстрировать Скабичевский, довлеет себе; именно «философское развитие сюжета,— по мнению Скабичевского,— ...составляет сущность романа, его силу, его главное достоинство... Совпадая со статьей „По поводу одной драмы", роман гораздо шире развил ту же философскую идею. Это философское развитие идеи, так сказать, спасло роман, выручило все его художественные недостатки, заставило забыть с них» [62]. К числу таких недостатков критик относил то, что Герцен, по его мнению, «для своих философских категорий взял из действительности не вполне соответствующие типы» [63]; однако с точки зрения превалирования философского саморазвития сюжет-идеи над непосредственным отражением социальной действительности в ее подробностях и конкретных деталях эта «ошибка Герцена» [64] даже самому Скабичевскому представлялась не слишком существенной.

Другое дело, считает Скабичевский, что степень идеологичности романа «Кто виноват?» уступает аналогичному качеству «Что делать?» Развивая этот вывод, критик ставит меру идеологичности художественного произведения в прямую зависимость от времени его создания. «Такая постановка вопроса прямо зависит от того рефлективного переходного периода, в который написан роман («Кто виноват?» — *И. К.*). В этот период,— продолжает Скабичевский,— людей занимал не столько вопрос о том, как устраи-

вать жизнь на каких-нибудь новых основаниях [что было свойственно шестидесятникам, включая Чернышевского с его «Что делать?», по мнению автора.— *И. К.*], сколько разочарование во всех старых основах, убийственная, разлагающая критика всех противоречий, которые впервые представлялись людям в их жизненных отношениях» [65].

Однако задумаемся, что́ за явления «критического таланта» Чернышевского получили, по мысли Писарева, свое продолжение и развитие в художественно-беллетристической форме его романа? Какая именно статья (если это действительно одна статья) теоретически предварила роман, служа ему в качестве своеобразного концептуального конспекта, понятийно-логической преамбулы, в качестве философско-публицистических «лесов» романного целого (наподобие того, как герценовский цикл «Капризы и раздумье» предварял и «сопровождал» его роман «Кто виноват?»)? Ведь если такая закономерность подтвердится в отношении романа «Что делать?», можно предположить, что создание интеллектуально-философского романа как особого жанра органически связано с порождением некоего *интеллектуального контекста,* складывающегося из критических, философских, публицистических и тому подобных статей автора, в котором и развивается его художественное творчество, приобретая, таким образом, специфическое качество *интеллектуализма.*

Намеки ответа на этот вопрос встречаем в самой писаревской статье «Мыслящий пролетариат». Выясняя «новизну» «нового человека» как типа личности, характера, Писарев сопоставляет «нового человека» с «ветхим человеком» — представителем недавнего еще, привычного прошлого. «Когда ветхие люди влюбляются, они выдают своему уму бессрочный отпуск и благодаря его отсутствию д е л а ю т разные глупости, которые очень часто превращаются в гадости вовсе не шуточного размера. Девушку или женщину заставляют с д е л а т ь решительный шаг, а к этому времени возвращается из своей отлучки рассудок — и ветхий человек, испугавшись последствий своей н е в и н н о й шутки, обращается в расчетливое бегство и потом оправдывается тем, что он сам себя не помнил, что был как сумасшедший. Ветхие люди т о л ь к о и д е л а ю т, что грешат и каются, и неизвестно, когда они бывают подлее: когда грешат или когда каются» [66].

Нетрудно заметить, что Писарев в обычной своей уничижительно-резкой манере излагает основные идеи статьи Чернышевского «Русский человек на rendez-vous», еще более усугубляя гротескное изложение типовой фабульной ситуации, становящейся пробным камнем чуть ли не для каждого «лишнего человека». Мысль о том, что и далее в своей статье Писарев постоянно имеет в виду контекст этой статьи Чернышевского, не покидает читателя.

В самом деле, внимательное прочтение статьи Чернышевского «Русский человек на rendez—vous» [67] (1858) под углом зрения внутреннего соотнесения проблематики статьи и написанного

спустя пять лет романа того же автора «Что делать?» убеждает в том, что аллюзии между двумя произведениями не случайны.

Начнем с того, что вопрос «что делать?» буквально не сходит со страниц этой статьи Чернышевского. Обращаясь к герою повести Тургенева «Ася», критик патетически вопрошает: «И что же делает этот человек?» И тут же сам отвечает: «Он делает сцену, какой устыдился бы последний взяточник» (191). А немного погодя снова: «И что же делает наш Ромео... явившись на свидание с Джульеттой?» «Вы предо мною виноваты,— говорит он ей...» (191). Так, рядом с вопросом «*что делать*?» возникает и вопрос «*кто* (и в чем) *виноват*?», и сопряженность этих двух вопросов отныне сохранится до конца данной статьи Чернышевского. «Чем *она* виновата? Разве тем, что считала его порядочным человеком? Компрометировала его репутацию тем, что пришла на свидание с ним? Это изумительно!.. И он ей делает выговоры за то, что она его компрометирует! Что это за нелепая жестокость? Что это за низкая грубость? И этот человек, поступающий так подло, выставлялся благородным до сих пор!.. Этот человек дряннее отъявленного негодяя» (192).

Таков же герой тургеневского «Фауста», для которого отношения с любимой женщиной строятся так, что «сидеть с ней, мечтать о ней — это его дело, но по части решительности, даже в словах, он держит себя так, что Вера сама должна сказать ему, что любит его...» (193). Когда же она «спрашивает, что он теперь намерен делать? Он... он „смутился“» (193). В «Рудине», романе того же Тургенева, герой после ответного признания Натальи «действует так хорошо, то есть до такой степени труслив и вял, что Наталья принуждена сама пригласить его на свидание для решения, что же им делать» (193). Она «вновь спрашивает Рудина, что он теперь намерен делать? Рудин отвечает по-прежнему: „Боже мой, боже мой“, и прибавляет еще наивнее: „так скоро! что я намерен делать? у меня голова кругом идет, я ничего сообразить не могу“. Но потом соображает, что следует „покориться“» (194). И критик ссылается на пример Некрасова и Герцена, по типу своего творчества весьма далеких от тургеневского: «Что ж делает герой в его (Некрасова.— *И. К.*) поэме „Саша“? Натолковал он Саше... что надобно действовать для осуществления своих стремлений; а потом, когда Саша принимается за дело, он говорит, что все это напрасно и ни к чему не поведет, что он „болтал пустое“. То же у Герцена: „Припомним, как поступает Бельтов,— и он точно так же предпочитает всякому решительному шагу отступление“» (194). Именно отсылка к центральному герою романа «Кто виноват?» становится у Чернышевского решающей, переломной в повествовании о типе «русского человека», очутившегося волею судеб на требующем ответственных решений свидании.

Следует обобщающая характеристика бездействующего героя. «...Пока о деле нет речи, а надобно только занять праздное

время, наполнить праздную голову или праздное сердце разговорами и мечтами, герой очень боек; подходит д е л о к тому, чтобы прямо и точно выразить свои чувства и желания,— большая часть героев начинает уже колебаться и чувствовать неповоротливость в языке» (194—195). «...Но вздумай кто-нибудь схватиться за их желания, сказать: „Вы хотите того-то и того-то; мы очень рады; начинайте же д е й с т в о в а т ь, а мы вас поддержим“,— при такой реплике одна половина храбрейших героев падает в обморок, другие начинают очень грубо упрекать вас за то, что вы поставили их в неловкое положение <...>» (195). Вместо действий возникает и обвинение окружающих, и самооправдание, и представление о неприятном стечении обстоятельств как о беде, нагрянувшей помимо воли героя: «...и кто о с у д и т меня, если вырвется у меня даже грубое слово, когда меня, н и в ч е м н е в и н о в а т о г о, запутают в неприятное д е л о, да еще пристают ко мне, чтоб я радовался б е д е, в которую меня втянули?» (197).

В последнем рассуждении, произнесенном критиком как бы от имени безымянного героя тургеневской повести и в его оправдание, но имеющем совсем иной смысл, если представить его в широком общественном контексте (в котором, по идее, должны мыслиться и вековечные вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?»), появляется новое понятие, соотносимое с понятием в и н ы, а именно *беда*, которое вскоре становится ключевым для статьи. Не случайно Ромео из повести «Ася» назван несколько раз «бедным молодым человеком» (196, 203), а один раз (иронически) — «б е д н я ж к а!» (204). С понятием *беды* связано одно из важнейших рассуждений об Асе и ее судьбе. «Много ли б е д ы для Аси в том, что г. Н. никак не знал, ч т о ему с нею д е л а т ь, и решительно прогневался, когда от него потребовалась отважная решимость; много ли б е д ы в этом для Аси, мы не знаем. Первою мысль приходит, что б е д ы от этого ей очень мало; напротив, и слава богу... Так, но в том-то и б е д а, что едва ли встретится ей человек более достойный...» (195). Брат Аси — Гагин — тоже «б е д н ы й» (196). Постепенно на первый план размышлений критика выходит проблема соотношения в жизни людей *вины* и *беды* как двух сходных, близких по семантике, но внутренне противоположных явлений.

Размышления Чернышевского о *вине* и *беде* в связи с оценкой тех или иных действий, поступков, а также целого образа мыслей и даже образа жизни людей поистине замечательны. За ними стоит развернутая концепция общественной жизни и роли в ней объективных и субъективных факторов, позднее детально развернутая в романе автора «Что делать?». За ними стоит полемическое неприятие самой постановки вопроса «Кто виноват?», задается ли он применительно к отдельным лицам, целым классам и сословиям или обращен к обществу в целом. «Вы в и н и т е человека,— пишет Чернышевский,— всмотритесь прежде, он ли в том в и н о в а т, за что́ вы его в и н и т е, или в и н о в а т ы обстоятельства и привычки общества, всмотритесь хорошенько, быть

может, тут вовсе не в и н а его, а только б е д а его. Рассуждая о других, мы слишком наклонны всякую б е д у считать в и н о ю,— а в этом истинная б е д а для практической жизни, потому что в и н а и б е д а — вещи совершенно различные и требуют обращения с собою одна вовсе не такого, как другая. В и н а вызывает порицание или даже наказание против лица. Б е д а требует помощи лицу через устранение обстоятельств более сильных, нежели его воля» (201). И далее: «...в и н а — это редкость, это исключение из правила; б е д а — это эпидемия» (201). «Б е д а обрушивается на том самом человеке, который исполняет условие, ведущее к б е д е; вина обрушивается на других, принося в и н о в а т о м у пользу» (202). Наконец следует вывод, кажущийся несколько неожиданным даже в контексте рассуждений Чернышевского: «Признак верен, но если применять его с некоторой проницательностью, с внимательным разбором фактов, то окажется, что в и н а почти никогда не бывает на свете, а бывает только б е д а» (202).

И вот, наряду с бедой Аси, совершенно отчетливо вырисовывается, что и ее Ромео «попал не в вину, а в беду» (202). Так, в его неспособности понимать Асю, разобраться в своих чувствах по отношению к ней, по словам критика, «в и н о в а т ы два обстоятельства, из которых, впрочем, одно проистекает из другого, так что все сводится к одному. Он не привык понимать ничего великого и живого, потому что слишком мелка и бездушна была его жизнь, мелки и бездушны были все отношения и дела, к которым он привык. Это первое. Второе — он робеет, он бессильно отступает от всего, на что нужна широкая решимость и благородный риск, опять-таки потому, что жизнь приучила его только к бледной мелочности во всем» (204). Вообще же, постулирует критик исходное положение своих суждений о беде и вине, «не следует п о р и ц а т ь людей ни за что и ни в чем, потому что, сколько я видел, в самом умном человеке есть своя доля ограниченности, достаточная для того, чтобы он в своем образе мыслей не мог далеко уйти от общества, в котором воспитался и живет, и в самом энергичном человеке есть своя доза апатии, достаточная для того, чтобы он в своих поступках не удалялся много от рутины и, как говорится, плыл по течению реки, куда несет вода» (198).

Рассказав притчу о некоем заезжем здоровом человеке, оказавшемся в царстве хромых и кривых и вынужденном притворяться, что он сам такой же, Чернышевский в своей статье о «русском человеке» предвидит ситуации, в которых искривленная нарочно нога уже на сможет распрямиться, а прищуренный глаз — открыться. «Прикасающийся к смоле зачернится — в н а к а з а н и е себе, если прикасался добровольно, на б е д у себе, если не добровольно» (207). Смысл своей статьи автор видит в том, чтобы, обращаясь к подобным погрязшим в привычках и обстоятельствах своей среды людям, «дать им указание, как им избавиться от б е д, неизбежных для людей, не умеющих вовремя

сообразить своего положения и воспользоваться выгодами, которые представляет мимолетный час» (209).

И вот уже, размышляя как бы от имени героя, пытающегося «сообразить свое положение», автор статьи патетически указывает на то, как избавиться от неизбежных *бед*, последующих из разбирательства в суде затянувшегося *дела*. «Положим, например, что у меня есть тяжба, в которой я кругом в и н о в а т» (210). Председатель суда констатирует, что «судебным порядком» процесс в связи с этой тяжбой не может завершиться в пользу ответчика (при том, что противник его, истец, является в этом деле «совершенно правым» — 210): самое меньшее, к чему может быть приговорен ответчик,— это к «лишению прав состояния» (не говоря уже о «потере имущества»),— а можно ждать «еще гораздо худшего» (210—211). «Ч т о мне теперь д е л а т ь...?» — патетически вопрошает от имени обобщенного своего героя, «русского человека на rendez-vous», автор статьи. Затем, после трех возможных вариантов поведения героя (один из которых — совершенно в духе Обломова, а другой — в стиле Ноздрева), следует увещевание — словами из Евангелия от Матфея — в пользу единственно разумного в данной ситуации поведения — примирения с противником — и мрачные пророчества избирающему иной путь, но при этом не избегающему Страшного суда.

Диалектика *вины* и *беды*, ставшая столь важной по смыслу формулой социально-исторического анализа для Чернышевского, была в 40-е годы (когда Герцен писал свой роман «Кто виноват?») недоступна еще Герцену. Недаром В. И. Ленин, сопоставляя Герцена 40-х годов с Герценом 60-х, а более того — с Чернышевским и Добролюбивым, имевшими моральное и политическое право упрекать Герцена за отступление от демократизма к либерализму уже в конце 50-х, прибегал к этой же формуле Чернышевского: «Не в и н а Герцена, а б е д а его, что он не мог видеть революционного народа в самой России в 40-х годах. Когда он увидал его *в 60-х* — он безбоязненно встал на сторону революционной демократии против либерализма» [68].

Впоследствии, как мы помним, В. И. Ленин замечал, что «Чернышевский, развивший вслед за Герценом народнические взгляды, сделал громадный шаг вперед против Герцена» [69] как идеолог, мыслитель и, конечно, как политик. Это историческое обстоятельство (принадлежность Герцена и Чернышевского двум различным, следующим друг за другом поколениям общественно-освободительного движения в России) не могло не наложить отпечатка на отстаивавшиеся ими (в том числе в художественном творчестве) концептуальные модели: в центре внимания Герцена — вопрос по преимуществу моральный — об *ответственности* за то или иное состояние мира, характер человеческих (и социальных) отношений, последствия определенных поступков; для Чернышевского на первом плане — программа практических действий, осмысляемая в ходе теоретического спора, вопрос о *деятельности*, ее целях, средствах, возможных результатах, о путях

преобразования мира, преодоления его несовершенства и т. д. Отсюда различие двух заглавных вопросов: «Кто виноват?» и «Что делать?», представляющих собой как бы *две стадии рефлексирования* окружающей жизни — первоначальную, предварительную (в первом случае) и основную, переводящую *осознание жизни* в ее переустройство (во втором случае).

* * *

Так, за выбором понятий, предстающих в «обнаженном», прямолинейном виде в ткани критической или публицистической статьи, философского эссе и обрастающих «плотью» художественной образности в романной структуре, встает диалектика самой истории, выявляются первоочередные задачи, стоящие перед обществом, раскрывается драматизм взаимоотношений сменяющих друг друга социокультурных эпох. Одна из этих эпох, сменяемая другой, выдвигала на первый план проблему нравственной, идейной ответственности за поступок или его замысел, и в ее содержании рефлексия действительной или возможной деятельности не могла не преобладать над самим действием, каким бы оно ни было. Другая эпоха, ее сменившая, несла в себе проблему самого действия и обсуждала лишь степень его решительности, радикальности, революционности, время его свершения («сейчас» или «потом») и его направленность. Однако сама *необходимость свершения* ДЕЛА, в конечном счете отвергающего и переворачивающего эту эпоху, критически пересматривающего самые ее основания, в теоретическом и художественном сознании эпохи (и тем более в практическом поведении ее важнейших представителей) возобладала над *рефлексией обстоятельств и последствий* этого дела, над осмыслением ответственности человека за непосредственные результаты и за весьма отдаленные плоды совершаемого «здесь» и «теперь».

Казалось, рефлексировать все это можно будет и когда-нибудь потом... Но эта проблематика, принадлежавшая, собственно, будущей эпохе, выросла уже в 60-е годы XIX в., на почве полемики не с романом «Кто виноват?», а с романом «Что делать?», отразившись в «Записках из подполья» и в «Преступлении и наказании» Достоевского, где художник-мыслитель попытался взглянуть на свою эпоху из XX в.

[1] *Лесков Н. С.* Николай Гаврилович Чернышевский в его романе «Что делать?»: (Письмо к издателю «Северной пчелы») // Н. С. Лесков о литературе и искусстве. Л., 1984. С. 49.
[2] Там же. С. 49–50.
[3] Там же. С. 50.
[4] В. И. Ленин о литературе и искусстве. 6-е изд. М., 1979. С. 647.
[5] Там же. С. 648.
[6] *Лесков Н. С.* Указ. соч. С. 56.
[7] Там же. С. 50.
[8] Там же.
[9] Имеется в виду один из терминов М. М. Бахтина, составляющих вместе с понятиями *этизм* и *эстетизм* своеобразную триаду. См., напр. *Бах-*

тин М. М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники: Ежегодник 1984–1985. М., 1986. С. 89–90, 102 и др.

[10] *Лесков Н. С.* Указ. соч. С. 53–54.

[11] *Писарев Д. И.* Соч.: В 4 т. М., 1955–1956. Т. 4. С. 9.

[12] *Чернышевский Н. Г.* Что делать?: Из рассказов о новых людях. Л., 1965. С. 14. В дальнейшем текст романа «Что делать?» и его вариантов цитируется по этому первому научному изданию, подготовленному Т. И. Орнатской и С. А. Рейсером для серии «Литературные памятники», с указанием страниц в тексте статьи.

[13] *Луначарский А. В.* Собр. соч.: В 8 т. М., 1963–1968. Т. 1. С. 248.

[14] *Салтыков-Щедрин М. Е.* Собр. соч.: В 20 т. М., 1965–1977. Т. 6. С. 324.

[15] *Скабичевский А. М.* Литературные воспоминания. М.; Л., 1928. С. 249.

[16] *Водовозова Е. Н.* На заре жизни. Т. 2. С. 197.

[17] *Чернышевский Н. Г.* Очерки гоголевского периода русской литературы. М., 1984. С. 181.

[18] *Волынский А. Л.* Русские критики. СПб., 1896. С. 765.

[19] Появление «художественных понятий» в структуре произведений философско-аналитического, интеллектуального жанра вполне естественно. Отвлеченные понятия, внедряемые в художественное произведение вследствие преобладания пафоса теоретизма – философского или научного,– в образном контексте художественного целого «обрастают» ассоциативным ореолом и превращаются в специфический «понятийный образ», или образ-понятие (ср. «война» и «мир» у Толстого).

[20] *Чернышевский Н. Г.* Очерки гоголевского периода русской литературы. С. 388.

[21] Там же. С. 181.

[22] Там же. С. 46.

[23] Чернышевский имеет в виду Белинского.

[24] *Чернышевский Н. Г.* Очерки гоголевского периода русской литературы. С. 35.

[25] Лит. наследство. М., 1936. Т. 25/26. С. 486, 488.

[26] *Лесков Н. С.* Указ. соч. С. 55.

[27] *Страхов Н. Н.* Из истории литературного нигилизма 1861–1865. СПб., 1890. С. 314–315.

[28] *Лесков Н. С.* Указ. соч. С. 55.

[29] *Страхов Н. Н.* Указ. соч. С. 316.

[30] *Щедрин Н.* (Салтыков М. Е.) Полн. собр. соч. М., 1933–1941. Т. 19. С. 185.

[31] Там же.

[32] Там же.

[33] См.: *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1953–1959. Т. 7. С. 100–101.

[34] *Чернышевский Н. Г.* Литературная критика: В 2 т. М., 1981. Т. 1. С. 227.

[35] Там же. С. 187.

[36] Там же. С. 188.

[37] Там же. С. 240–241.

[38] Там же. С. 185.

[39] Там же.

[40] См. (на примере Гёте): Там же. С. 186.

[41] Там же. С. 222.

[42] Там же.

[43] Там же. С. 188.

[44] Там же.

[45] Там же. С. 186.

[46] Там же.

[47] См. подробнее: *Гулыга А. В.* Искусство в век науки. М., 1978. С. 17–49. Здесь, однако, пример с Чернышевским отсутствует.

[48] *Бахтин М. М.* Литературно-критические статьи. М., 1986. С. 106.

[49] *Горький М.* История русской литературы. М., 1939. С. 4–5.

[50] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. Т. 10. С. 317.

[51] Там же. С. 318.
[52] Там же. С. 319.
[53] Там же. С. 325–326.
[54] Там же. С. 343–344.
[55] Там же. С. 318.
[56] *Скабичевский А. М.* Соч. 3-е изд. СПб., 1903. Т. 1. С. 535.
[57] Там же. С. 535.
[58] Там же. С. 539.
[59] *Гулыга А. В.* Искусство в век науки. С. 20–21.
[60] *Скабичевский А. М.* Соч. Т. 1. С. 534.
[61] Там же. С. 535.
[62] Там же. С. 539.
[63] Там же.
[64] Там же.
[65] Там же. С. 525.
[66] *Писарев Д. И.* Соч. Т. 4. С. 24. Разрядка моя.– *И. К.*
[67] Далее эта статья цитируется по изд.: *Чернышевский И. Г* Литературная критика. М., 1981. Т. 2, с указанием страниц в тексте настоящей работы. Разрядка моя.– *И. К.*
[68] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 21. С. 261. Разрядка моя.– *И. К.*
[69] Там же. Т. 25. С. 94.

У. А. Гуральник, Ю. У. Гуральник

РОМАН «ЧТО ДЕЛАТЬ?» СЕГОДНЯ. ОПЫТ СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

1

«Роман „Что делать?“... один из загадочных в русской литературе... по-прежнему вызывают споры многие страницы, смысл которых очень часто оказывался упрятанным в эзоповское слово»,– было заявлено в преддверии 150-летия со дня рождения писателя автором обзора новейшей литературы о великом социалисте домарксова периода [1].

У этого классического романа действительно необычная судьба. Написанный в декабре 1862 — апреле 1863 г. в стенах Петропавловской крепости, он по странному недосмотру цензуры, особенно придирчивой к сочинениям политических узников, появился на страницах «Современника», и хотя вскоре номера журнала были изъяты, а во многом именно поэтому, «Что делать?» приобретает широкую популярность.

Многие пытались с разных позиций разобраться в причинах поистине ошеломляющего успеха произведения Н. Г. Чернышевского у его современников. Сошлемся на один — по сути, не учтенный нашим литературоведением — пример.

Во второй половине 1920-х годов в Берлине был издан роман «Дар» [2], центральная часть которого — «роман в романе» — посвящена жизни и деятельности Чернышевского.

© У. А. Гуральник, Ю. У. Гуральник, 1990

Автором книги был Владимир Набоков. О характере этого сочинения можно судить хотя бы по тому, что даже редактор эмигрантского издательства, прочитав рукопись, по признанию автора, отказал ему в содействии публикации романа: «Нет, милостивый государь! Есть традиции русской общественности, над которыми честный писатель не смеет глумиться. Мне решительно все равно, талантливы вы или нет, я только знаю, что писать пасквиль на человека, страданиями и трудами которого питались миллионы русских интеллигентов, недостойно никакого таланта» [3]. (Как мы понимаем сегодня, этот отзыв оказывается не менее спорным, нежели сам набоковский роман.)

В. Набоков по-своему пытается объяснить загадочные обстоятельства появления «Что делать?» в печати и не менее трудно объяснимую популярность «рассказов о новых людях», которые с точки зрения эстетической, на его взгляд, не выдерживают никакой критики.

«Вообще история появления этого романа,— по словам В. Набокова,— исключительно любопытна. Цензура разрешила печатание его в „Современнике“, рассчитывая на то, что вещь, представляющая собой „нечто в высшей степени антихудожественное“, наверное уронит авторитет Чернышевского, что его просто высмеют за нее... Но никто не смеялся... Вместо ожидаемых насмешек вокруг „Что делать?“ сразу создалась атмосфера всеобщего благочестивого поклонения. Его читали, как читают богослужебные книги,— ни одна вещь Тургенева или Толстого не произвела такого могучего впечатления. Гениальный русский читатель понял то доброе, что тщетно хотел выразить бездарный беллетрист» [4].

Отбросим имевшее широкое хождение — и не только среди оппонентов Чернышевского — утверждение об антихудожественности романа и отсутствии у его автора беллетристического дарования. Этот вопрос, полагаем, достаточно убедительно рассмотрен в недавней статье В. Сердюченко, специально посвященной этому вопросу [5]. В данном случае гораздо важнее, что В. Набоков, чей «Дар» полон желчного сарказма и отличается безоговорочным неприятием Чернышевского — идеолога, общественного деятеля, литератора, был вынужден признать феноменальный успех его произведения.

Но, естественно, наибольшую ценность представляют свидетельства читателей — современников Чернышевского. Так, Петр Кропоткин утверждал, что для русской молодежи 60—80-х годов роман был своего рода откровением и превратился в программу [6].

Г. В. Плеханов, посвятивший Чернышевскому первое глубокое исследование, писал о «Что делать?»: «Кто не читал и не перечитывал этого значительного произведения? Кто не увлекался им, кто не становился под его благотворным влиянием чище, лучше, бодрее и смелее? Кого не поражала нравственная чистота главных действующих лиц? Кто после чтения этого романа не задумывался над собственной жизнью, не подвергал строгой проверке

своих собственных стремлений и наклонностей? Все мы черпали из него и нравственную силу, и веру в лучшее будущее... пусть укажут нам хоть одно из самых замечательных, истинно художественных произведений русской литературы, которое по своему влиянию на нравственное и умственное развитие страны могло бы поспорить с романом „Что делать?“» [7].

А ведь книга долгие годы оставалась труднодоступной: русские читатели более сорока лет вынуждены были пользоваться зарубежными изданиями либо же нелегальными рукописными копиями романа. Только первая русская революция 1905—1907 гг. сняла цензурный запрет с «Что делать?». До Октябрьской революции 1917 г. в России вышли в свет четыре издания, подготовленные сыном писателя.

Однако ни одно из этих обстоятельств не ослабило силу воздействия книги, которая для нескольких поколений русских читателей явилась своего рода путеводной звездой. Она сыграла заметную роль в формировании тех сил, которые свершили в России 1917 г. всемирно-исторического значения переворот. Это признано не только последователями Чернышевского, но и непримиримыми его идейными противниками. Впрочем, за рубежом до сих пор находятся «интерпретаторы» «Что делать?», которые, пытаясь дискредитировать это произведение, называют его «великим плохим романом», «забытым романом», автору которого, мол, присвоили на родине титул Иоанна Крестителя — великого предтечи [8].

По призыву автора «Что делать?» — об этом многократно свидетельствует жизненный путь участников трех русских революций — люди становились в ряды тех, кто не только мечтал о «светлом и прекрасном будущем», не только стремился к нему, но своими делами, поступками, подвигами это будущее приближал.

2

Размышления о судьбе романа Чернышевского в пооктябрьскую эпоху, нелишне предварить хотя бы беглым экскурсом в прошлое, пунктирно обозначив основные вехи «бытования» этой книги до 1917 г. История восприятия «Что делать?» в дооктябрьское полустолетие изучена, можно сказать, разносторонне. Существует обширная, солидно документированная литература, посвященная роли и месту этой книги в революционно-освободительном движении второй половины XIX — начала XX в.

У истоков историко-функционального изучения «Что делать?» стоял Н. Л. Бродский, автор опубликованного незадолго до Октябрьской революции исследования о читателях романа в 60-е годы минувшего века [9].

Собран обширный мемуарный фонд: сохранились заслуживающие доверия воспоминания современников — первых читателей романа, обнародованы суждения общественных деятелей раз-

личной ориентации, опубликованы высказывания и оценки литераторов — как соратников, единомышленников и преемников, так и идейных противников, недругов, недоброжелателей лидера российской революционной демократии.

Фонд этот кажется неисчерпаемым: он продолжает пополняться. Наибольший вклад вносят земляки Чернышевского — филологи, историки, социологи Саратовского университета. Назовем помимо сборников исследований и материалов указатели литературы о Чернышевском, издаваемые ими (последние два выпуска охватывают 1960—1981 гг., в них зарегистрировано 2217 публикаций).

Фундамент саратовской школы заложил А. П. Скафтымов, чья работа «Роман „Что делать?“: Его идеологический состав и общественное воздействие»[10] открыла серию публикаций подобного рода. Из работ недавних лет назовем успешно завершенную А. А. Демченко научную биографию писателя в 3 томах, вышедшую в Саратове. Много сделал для выявления зарубежных иноязычных (переводных) изданий романа Н. С. Травушкин[11].

Как это ни парадоксально, но бытование классического романа Чернышевского в советские годы, история его восприятия в годы строительства социализма, реальное воздействие идейно-образного мира великой книги на наших современников до сих пор остается, по сути дела, «белым пятном».

Чем жив роман сегодня? Какие идейно-нравственные богатства, в нем содержащиеся, сохраняют — и в какой мере — свою первоначальную ценность? *Что меняется* в понимании его проблематики? И если верно, что «Чернышевский продолжается», то *как* это «продолжение» реализуется и *в чем* именно?

Время беспощадно, оно корректирует восприятие величайших созданий человеческого духа. «Что делать?» не исключение из этого правила.

Однако за редким исключением названная проблематика еще не привлекла достаточного исследовательского внимания. Правда, в соответствующих декларациях дефицита не ощущается. Напротив, не найти, пожалуй, ни одной современной — особенно журнальной — публикации, посвященной Чернышевскому, в которой не было бы с приличествующим поводу пафосом заявлено, что роман «Что делать?» оказывает «самое благотворное» воздействие на современную мыслящую молодежь. Как правило, это заявление подкрепляется ходульными цитатами из сочинений девятиклассников, готовых следовать примеру Рахметова, равняться на Веру Павловну...

Особенно много громкозвучащих фраз на сей счет было произнесено в юбилейные дни 1978 г., когда отмечалось 150-летие со дня рождения Чернышевского. Едва ли не каждая газетно-журнальная юбилейная публикация в заглавии или подзаголовке содержала, как заклинание, слова «и наша современность».

Но так ли уж блистательно складывается судьба прославленной книги в наши дни? И не постигла ли и ее участь многих прекрасных книг, по меткому наблюдению современного писателя, «парализованных казенным литературоведческим словом»? А ведь действительно, «облитые слоем безудержного восхваления, глухо огражденные от всякой дискуссионности, книги эти оказались заживо погребенными в хрестоматийном саркофаге» [12].

Библиотечная статистика дает малоутешительный ответ на вопрос, действительно ли входит сегодня роман «Что делать?» в круг массового чтения. Исключение составляет та добросовестная часть старшеклассников, которая обращается к этому произведению в обязательном, а нередко и принудительном порядке. Заметим, что объем изучения романа Чернышевского школьной программой по русской литературе постоянно сужается, более того, находится под угрозой дальнейшего сокращения. Вполне может случиться, что, отдавая дань этому памятнику словесного искусства, составители школьных программ ограничатся одним эпизодом — скорее всего, четвертым сном Веры Павловны и беглым пересказом всего остального «содержания» романа.

Чтение литературы о Чернышевском-писателе, о специфике художественной стилистики его прозы убеждает в том, что, по сути, мало кто занимается углубленным изучением этого круга вопросов, а без ответа на них не разобраться в том, как воспринимается «Что делать?» сегодня; что в нем вызывает наибольший интерес; *к чему* следует привлечь внимание нынешнего юного читателя романа? И это, в первую очередь, наша забота, литературоведов, а не методистов, регулирующих в соответствии с предписаниями урезаемых программ по словесности читательский интерес миллионов школьников.

За романом «Что делать?» издавна и по праву прочно утвердилась слава «учебника жизни». Но за прошедший после рождения этого «путеводителя по жизни» век с лишним сама жизнь круто изменилась. Не все в знаменитой книге Чернышевского выдержало испытание временем, а что-то безвозвратно ушло в историю. Какие общечеловеческие ценности, утверждаемые романистом, объективно приобретают именно в наше тревожное время, в свете накопленного нами опыта, особую ценность? Какие идеи Чернышевского подлежат активной пропаганде сегодня?

В изданной в Киеве скромной брошюре — пособии для учителя автор, опираясь на логику «Что делать», пытается ответить на вопрос: что такое личное счастье? [13] Подобных вопросов при чтении «Что делать?» возникает немало. Однако ответить на такие вопросы непросто: ведь наука (в том числе и литературоведение) до недавнего времени и не пыталась выяснить, как и в какую сторону эволюционировало в советских условиях (на разных этапах развития нашего общества, в том числе — в дни мира и в дни войны) представление людей о личном счастье, отношение читателей к воссозданной различными писателями утопиче-

ской картине будущего, к утверждаемым ими социально-политическим идеалам, моральным нормам, различным духовным образованиям.

Земляки писателя, саратовцы, не только в связи с юбилейными датами занимаются пропагандой наследия Чернышевского. Так, Приволжское книжное издательство в 1980 г. выпустило миниатюрный томик «Из книги памяти народной». Это поучительный документ: о «Российском Прометее» высказываются люди разных профессий, представители разных народов СССР и зарубежные гости Дома-музея Н. Г. Чернышевского, рабочие и колхозники, писатели и ученые, воины и космонавты. Есть среди этих записей такие, которые, казалось бы, впрямую работают на нашу тему. Например, студент МГУ летом 1946 г. пишет: «Я счастлив, что мне удалось осуществить мою давнишнюю мечту — посетить этот музей. Из всех русских писателей и революционеров я особенно люблю Николая Гавриловича Чернышевского. Моя любимая книга — его роман „Что делать?“ На этом и других его произведениях я вырабатываю взгляд на многие вопросы. Я не только изучаю то, что написано Чернышевским, но и хочу знать как можно больше о нем самом, о его жизни» [14].

Однако «жанр» подобных записей специфичен (равно как и сочинений старшеклассников или университетских абитуриентов). Преобладают пафосные, стереотипные, официозные отклики: «Мы любим будущее, стремимся к нему, работаем для него, приближаем его» [15]. Судить по этим заученным, а подчас — откровенно конъюнктурным фразам о том, насколько глубок след, оставляемый в сознании читателя книгой, довольно затруднительно.

Характерно, что записи разных лет по сути мало чем отличаются одна от другой, будь это первая запись в книге посетителей музея крестьянина Покидаева (1926) или одна из тех, что оставлена членами делегации трудящихся Днепропетровщины (1977). Между тем «жизнь во времени» классического произведения, тем более такого уникального, каким является «Что делать?», не может не претерпевать качественных изменений.

Разумеется, классика безгранично, неиссякаемо богата, она — «на все времена». Вместе с тем она чутко «откликается», резонирует на заботы, потребности, интересы, устремления каждого нового поколения, раскрываясь, случается, самым неожиданным образом, новой своей гранью, по-новому прочитывается. Беллетристическая поделка, напротив, умирает вместе с породившей ее ситуацией.

Наше быстро меняющееся время вносит коррективы в восприятие и трактовку идейно-образного содержания и всего художественного мира романа «Что делать?». Примечательно в этом отношении обращение к Чернышевскому итальянского телевидения, экранизировавшего роман в нескольких сериях. «Мы остановили свой выбор на этом романе,— сказал режиссер Дж. Серра корреспонденту еженедельника „Джорни“,— потому что под-

нятые в нем вопросы, казавшиеся во времена Чернышевского чуть ли не утопическими, поразительно актуальны в наши дни. Роман этот чрезвычайно современен, так как в нем автор говорит о необходимости активного участия в борьбе за лучшую жизнь, о преимуществах кооперации, о свободе личности и эмансипации женщин» [16].

Газета итальянских коммунистов «Унита» (7 февраля 1979 г.) положительно оценила эту экранизацию, хотя, судя по печатным откликам, речь шла о телевизионном сериале, созданном «по мотивам» русского романа. Действие перенесено в современную Италию с ее социальными противоречиями и острыми морально-этическими проблемами.

Но сам факт обращения в поисках ответа на вопрос «что делать?» к роману Чернышевского знаменателен. Роман не покрывается архивной пылью. Что-то в нем отмирает, но многое, напротив, приобретает ранее столь остро не ощущавшуюся актуальность, долговечность.

Раскрыть сегодня во всем богатстве содержание романа, его непреходящее и современное значение невозможно вне связи с авторской философией общечеловеческого развития, его концепцией революционного преобразования мира и духовного облика человека. По верному наблюдению П. А. Николаева, художественный строй «Что делать?», равно как и других беллетристических произведений его автора, является дальнейшим развитием основных мировоззренческих позиций Чернышевского, в том числе и эстетических принципов, реализуемых великим теоретиком, так сказать, на практике [17].

Проиллюстрируем сказанное на характерном примере.

Тема свободного труда как важнейшего условия возрождения личности — один из лейтмотивов романа. Недаром М. С. Шагинян отнесла «Что делать?» к первым в мировой литературе так называемым «производственным романам» [18].

Естественно, что сегодня, спустя сто с лишним лет после написания «Что делать?», в условиях кардинальных экономических реформ и нарастающих противоречий научно-технического прогресса, эксперимент Веры Павловны, созданная ею на кооперативных началах мастерская, и надежды, которые она и ее соратницы возлагают на этот «экономический опыт», представляются читателю весьма скромными и не производят того эмоционального воздействия, на которое в свое время рассчитывал автор. Однако принципы, утверждаемые Чернышевским, выдающимся политико-экономом и утопистом-просветителем, сохраняют свою поразительную актуальность в наши дни. Сохраняет свою формирующую сознание силу и его утверждение: «...главное дело в том, чтобы работники приобрели искусство сами управлять предприятиями, в которых работают: цель новых форм та, чтобы работники сделались из наемных людей хозяевами...» (XIX, 424).

Эта фундаментальная идея сегодня как никогда жива. И грешно в эпоху революционной перестройки пренебрегать вос-

питательным зарядом, содержащимся в наследии Чернышевского — художника и мыслителя.

3

Неисторизм губителен для любого литературоведческого или искусствоведческого исследования. Но в историко-функциональном труде он просто немыслим [19].

Роман Чернышевского «Что делать?» (как и его роман «Пролог») по-разному воспринимался в первые пооктябрьские годы, на высокой волне революционной романтики; в пору первых пятилеток, когда трудящиеся жили будущим («Время, вперед!»); в военное лихолетье и героические дни восстановления разрушенного войной.

Знаменательной вехой в пропаганде наследия Чернышевского явилось широко отмеченное в 1923 г. столетие со дня рождения писателя. Был переиздан в двух томах труд Ю. Стеклова «Н. Г. Чернышевский. Его жизнь и деятельность. 1828—1889». Напомним, что первое, дореволюционное издание этой книги положительно оценил В. И. Ленин. Однако собственно беллетристическому наследию Чернышевского в этом фундаментальном исследовании было уделено сравнительно скромное внимание, да и трактовалось оно преимущественно как иллюстрация к воззрениям Чернышевского-идеолога.

В 1928—1930 гг. Гослитиздат выпустил трехтомник «Литературного наследства» Н. Г. Чернышевского. На рубеже 20—30-х годов представления об авторе «Что делать?», до сих пор не потерявшие убедительности, выразил А. В. Луначарский, опубликовав статьи «Н. Чернышевский и Л. Толстой», «Чернышевский как писатель», «Романы Н. Г. Чернышевского».

Характерно, что первое печатное выступление Луначарского перед юбилеем (в ленинградской «Красной газете») появилось под заглавием «Великий мертвец или живой соратник? (К 100-летию со дня рождения Н. Г. Чернышевского)». На этот вопрос был дан безоговорочный ответ: живой современник и верный союзник. «Юбилей Николая Гавриловича Чернышевского,— по словам Луначарского,— не может пройти бесследно для нас. Дело здесь не только в официальной чести, которую воздаст ему Советская власть; необходимо, чтобы население — пролетариат и крестьянство — почувствовали, каким родным для них был этот великий человек, крупнейший из предтеч коммунизма в нашей стране» [20].

Не касаясь других аспектов статей Луначарского о Чернышевском, в сочинениях которого «мы находим очень много идей, неприемлемых для нас, с нашей точки зрения, отсталых» [21], обратим внимание на повторяемый в разных вариациях тезис: «Облик Чернышевского предстает перед нами в таком изумительном благородстве, в такой законченности, что мы и сейчас можем личность Чернышевского ставить в образец нашей молодежи, ищущей, между прочим, и путей для своей личной этики, для своего индивидуального облика» [22]. Здесь речь идет

о Чернышевском не только как идеологе, коллективисте, пламенно преданном революции, но и как человеке, трогательно нежном по отношению к друзьям. Говорится о его горячей, поэтической любви к женщине, о поразительном отсутствии личного честолюбия, глубоком понимании тончайших форм искусства...

Споря с Плехановым, Луначарский поддерживает и развивает тезис Чернышевского о том, что искусство должно способствовать нравственному развитию общества, развитию тех сторон общественной жизни людей, для перевоспитания которых не нужно обращаться непосредственно к их уму. «Вы можете доказывать сколько угодно, что такое добро и зло и почему добро выше зла, и от этого человек не сделается лучшим; нужно воспитывать его чувства. Чернышевский правильно понял, что искусство отличается прежде всего тем, что действует непосредственно на чувства» [23].

В этом утверждении Луначарского — ключ к пониманию целеустремленности «Что делать?», характерологии его героев, специфики его поэтики.

Между тем в центре внимания многих исследователей и пропагандистов Чернышевского оставались лишь сухие, наукообразные атрибуты — историография, творческая лаборатория, прототипы, реалии. При этом, по сути, игнорировался эмоциональный мир героев, накал их межличностных отношений, поиски ими новых, достойных поколения «новых людей» решений этических проблем. Об этом если и говорится в предисловиях к разным изданиям романа, в соответствующих главах учебных пособий, то вполголоса, чуть ли не «стыдливо». Упор делается на революционно-просветительскую программу автора в ее, так сказать, прагматической трактовке. Это приводит к «оскушнению» романа, упрощению его пафоса, к схематизации освещаемого в нем основного человековедческого конфликта.

Заметное выхолащивание идеальной стороны романа происходило на наших глазах в «застойные десятилетия». Лишь немногие исследователи русской общественной мысли отважились выступать против «смазывания» объективных противоречий, присущих идеологии разночинной демократии, исторической концепции Чернышевского.

Преклоняясь перед великим прошлым книги Чернышевского, говоря о ее бессмертии, интерпретаторы меньше всего думали о ее *сегодня* и того менее — о ее *завтра*. Не потому ли и молодежь не очень-то склонна искать в официально прославляемом «учебнике жизни», до предела сжатом школьной программой, правдоподобные ответы на животрепещущие вопросы, которые их волнуют в наше время.

Представления Веры Павловны о коммунистическом обществе конечно же утопичны. Наивно-идиллические интонации четвертого сна, несомненно, сказываются на уровне восприятия его пафоса современным читателем, обремененным нелегким опытом истории XX в.

Упомянутое выше скромное киевское учебное пособие для учителей, написанное М. В. Теплинским, едва ли не единственное рассчитанное на школу научно-популярное сочинение, в котором этическая проблематика «Что делать?» рассматривается с учетом психологии современного старшеклассника.

М. В. Теплинский не обошел некоторых острых проблем морали, волнующих современного человека, вступающего в большую жизнь в наше отнюдь не располагающее к благодушию время. Но действенность этого пособия, равно как и других «путеводителей» по «Что делать?», незначительна, главным образом потому, что идеалы Чернышевского, дела и думы его героев не впрямую соотносятся с реалиями XX в., а трактуются умозрительно и с опорой опять-таки охотнее на литературные источники, нежели на жизнь. Так, сказано немало дельного о кодексе поведения «новых людей». Действительно, «высший этический закон для Чернышевского и его любимых героев прост: надо делать так, чтобы счастливы и свободны были все люди»[24]. Признается, что может показаться необычным и непривычным употребление в романе таких слов, как «эгоизм», «выгода», «расчет» и т. д. Но объективно-исторический смысл концепции Чернышевского расшифровывается преимущественно на литературном материале, на книжных параллелях — от пушкинской Татьяны и тургеневской Аси до некрасовского Гриши Добросклонова. Все это, разумеется, небесполезно, но недостаточно.

С другой стороны, очевидна недостаточность и собственно литературоведческого подхода при разработке современных трактовок концепции Чернышевского-мыслителя, его представлений об историческом процессе в целом, о стратегии и тактике революции. Это отчетливо обнаруживается при обращении к новейшим исследованиям историков. Сошлемся хотя бы на книгу А. И. Володина, Ю. Ф. Карякина, Е. Г. Плимака «Чернышевский или Нечаев» (1976), на статьи Е. Плимака «Нерешенные вопросы» (1977), «Испытание временем» (1978), «Традиции борьбы и исканий. Радищев, Чернышевский, Ленин» (1987), В. Туниманова «Неюбилейные размышления» (1988).

Тщательный анализ исторических воззрений Чернышевского, выводов, к которым он пришел в итоге осмысления и оценки буржуазных революций и реальной ситуации в России эпохи «великих реформ», позволяет по-новому, более точно прочитать многие страницы романа «Что делать?», и в этом несомненная заслуга названных ученых.

По убедительному заключению Плимака, «принцип цикличности» исторического прогресса Чернышевский закладывает в основу своего знаменитого подцензурного романа «Что делать?». «Для читателя поверхностного,— пишет Е. Плимак,— все дело „новых“ и „особенных“ людей венчалось светлым праздником революции, радостной переменой декорации», которая описывается в финале. Для читателя вдумчивого и знающего концепции «Современника» было предназначено запрятанное в толще стра-

ниц романа трагическое пророчество о ближайшей и более отдаленной судьбе героев: не раз и не два они «будут согнаны со сцены, ошиканные, срамимые», но все же с каждым циклом жизнь будет улучшаться, «после них будет лучше, чем до них». «Та же история» будет повторяться в «новом виде» постоянно — до тех пор, пока «особенный тип» (вроде полностью отдавшегося делу общества Рахметова) не станет «общею натурою всех людей» [25].

Мы еще вернемся к этой концепции, в свете которой школярско-благостные толкования пафоса «Что делать?» сильно теряют в цене. Здесь же обратим заодно внимание на те надежды, которые Чернышевский — политик и экономист возлагал на рост промышленности в России и вместе с нею — на рост пролетариата. В «Что делать?» речь шла о важности именно «заводских» людей — «да и для предстоящих перемен декораций в России,— говорит Лопухов,— занятие в заводской конторе важно... дает влияние на народ целого завода» (XI, 193).

К сожалению, не часто встречаются в печати отклики современного рабочего человека, читателя, на роман «Что делать?». Тем ценнее попытка разобраться в том, какую роль в процессе духовного созревания молодого читателя в наше время могут и должны сыграть книги, подобные роману Чернышевского, предпринятая в письме слесаря-электрика из Тольятти, опубликованном в «Комсомольской правде».

«Почему, например,— спрашивает автор письма,— книга Чернышевского „Что делать?“ читается в разные периоды жизни поразному: в школьно-иждивенческие годы скучновато, несмотря на внушаемое учителем почтение к авторитету, а когда стоишь на жизненном распутье,— с жадностью изголодавшегося?» И отвечает: Потому что нас радует: мы уже не маленькие, нас радует чувство собственного роста, осознанного благодаря книге и писателю... Читайте книги — и делайте жизнь по самым высоким образцам: они того стоят» [26].

Напомним в этой связи: Ленин, подчеркивая сложность «Что делать?», богатство романа мыслями, сказал: «Его бесполезно читать, если молоко на губах не обсохло» [27].

Сказанное, думается, приближает к пониманию задачи, стоящей сегодня перед литературоведением, если оно хочет стать действенной силой общественного развития: надо помочь читателю «делать жизнь» по самым высоким образцам классической литературы. Утверждаемые ею общечеловеческие духовные ценности возрастают в цене именно в наше время революционного обновления общества, а ее нравственный потенциал обретает значение материального фактора.

Кстати сказать, привычно повторяя, что роман — это книга о «новых людях», мы недооцениваем созданную писателем с поразительной объективностью галерею образов пошлых, ненавистных ему людей. Причем с исключительной чуткостью Чернышевским характеризуется питательная среда, порождающая людей

подобного рода,— откуда они происходят и почему они таковы? Этот аспект заслуживает особого внимания, ибо еще не вывелись антиподы «новых людей».

Плеханов, недооценивавший талант Чернышевского-художника, упрекавший его в схематизме, делал исключение для образа матери Веры Павловны — Розальской, воссозданного с большим мастерством и психологически достоверно. Луначарский в свою очередь заявил, что галерея пошлых людей из «Что делать?» может занять по праву место «рядом с лучшими объективно сатирическими образами в нашей литературе: мать и отец Веры Павловны, квартирная хозяйка, чванная барыня-дура, которая боится бунта своего остолопа сына; остолоп сын, который думает, что всякую женщину можно купить за деньги, чудесное описание его среды и кутежей офицеров, француженка-кокотка, которая советует сегодня: „Никогда не давай поцелуя не любя", а на другой день дает мудрый совет, как можно выгодно продаться. Это все сухие очерки. Но посмотрите: как это сделано! Это не уступает мастерству ни одного из бытописателей нашего мещанства или барской среды. Это только очерки, только маленькая часть романа, но она — трамплин, который позволяет сделать дальнейший прыжок» [28].

4

Надо отдать должное советским издателям — они едва ли не с первых пооктябрьских дней сделали все возможное, чтобы книга Чернышевского дошла до нового читателя. Так, уже в 1918 г.— в самых неблагоприятных условиях — издательский отдел Наркомпроса предпринимает десятитомное издание сочинений Чернышевского. В 1923 г. Государственное издательство (ГИЗ) второй по счету книгой в серии «Библиотека русского романа» под редакцией Н. Л. Мещерякова выпускает «Что делать?». В последующие десятилетия роман на русском языке переиздавался без малого сто раз, в том числе не считая избранных и собрания сочинений, в таких престижных сериях, как «Литературные памятники» (1975), «Библиотека всемирной литературы» (1969), «Классики и современность» (в 1978 и 1984 гг. общим тиражом свыше миллиона экз.). Многократно роман входил в состав «школьной библиотеки». Переводился он на языки других народов Советского Союза.

Массовый читатель, начав приобщаться к высокой культуре после Октября, получил, таким образом, доступ и к «Что делать?». Этот читатель прежде всего, естественно, нуждается в точном, четком, доходчивом и доказательном разборе книги. Книги сложной, созданной, по словам Ленина, не для праздного чтения. Роман не только полон мыслей, многие из них по необходимости были автором зашифрованы. Чернышевский рассчитывал на читателя-друга, единомышленника, читателя, которому известны многие реалии, ситуации, прототипы отдельных действующих лиц и которому достаточно намека, чтобы разобраться

в затаенной сути эпизода, сюжетного хода, иронического рассуждения автора.

Естественно, что интерпретаторы романа, понимая все это, поначалу выступали главным образом в роли комментаторов. Более того, даже потребовались специальные издания, призванные стать «путеводителем» по книге. Им явился «Комментарий к роману „Что делать?“ Н. Г. Чернышевского» Н. Бродского и Н. Сидорова (1933). После Великой Отечественной войны появится аналогичный расширенный и обогащенный новыми фактами комментарий, составленный М. Т. Пинаевым.

Каждое новое издание романа непременно снабжалось вступительной статьей или послесловием, авторами которых выступали, как правило, известные литературоведы. Назовем среди них В. Кирпотина, Н. Водовозова, Н. Богословского, М. Николаева, П. Николаева, Н. Наумову, Б. Рюрикова.

Чем же тогда объяснить слабеющий интерес современного читателя, особенно молодого, к книге, призванной идейно его укрепить, обогатить его духовный и эмоциональный мир? Почему «прохождение» романа в школе чаще всего не оставляет заметного следа в сознании подрастающего поколения?

Но только ли в школе дело? Ведь и недавняя отечественная телепостановка по книге оставила безучастной обычно снисходительную к художественному качеству «сериалов» многомиллионную аудиторию. Именно потому, что телеспектакль, нудный и серый, воспринимался как бледная иллюстрация к роману, не задевал в зрителе ни одной живой струны. По экрану бродили тени изрядно поднадоевших старшеклассникам «новых людей», рассуждавших о высоких материях, изрекавших истины «в последней инстанции».

Вина все-таки в конечном счете ложится на литературоведение. За очень редким исключением (назовем в этой связи изданную в 1962 г. талантливую, хотя и не бесспорную, книгу А. А. Лебедева «Герои Чернышевского», ориентированную на нашу современность) работы о «Что делать?» носили сугубо профессиональный характер и были адресованы сравнительно узкому кругу специалистов. Сам роман был целиком «опрокинут» в прошлое. Интерпретаторы старались не касаться страниц романа, которые содержали какие-то намеки на злободневные социально-политические, морально-этические проблемы. Обходили стороной суть неоднозначных ответов, которые объективно вытекали из логики суждений романиста о революции, социализме, о путях и возможностях в исторически обозримые сроки добиться коренного переустройства общественной жизни и перевоспитания человека.

«Годы застоя» приучили литературоведов обходить острые углы, ограничиваться обкатанными рассуждениями, на поверку подчас пустопорожними. В итоге Чернышевский представал... полуслепым оптимистом, который не только не видел, но и знать не хотел о подлинном драматизме исторического развития. «Свет-

лое будущее», за которое он ратовал, любить и стремиться к которому, приближая его, призывал, в конечном счете представало не только романтико-утопическим, но и, будем откровенны, упрощенным [29]. В итоге и автор, и его книга невольно дискредитировались.

Чтобы в этом убедиться, достаточно сослаться на иные разновременные, но перепевающие друг друга предисловия или послесловия к роману, авторы которых, отнюдь не прибегая к плагиату, попросту пытались нас убедить в том, что узловые проблемы, поставленные Чернышевским в «Что делать?», уже решены нами окончательно, и не то что пересмотру, но и уточнению, коррекции не подлежат.

Надо ли удивляться тому, что иные вступительные статьи к роману перепечатывались из года в год без малейших изменений при жизни и после кончины их авторов (скажем, Н. Богословского, Н. Водовозова, Б. Рюрикова).

Казалось, время остановилось и происходящее вокруг нас и с нами не отражается на нашем восприятии романа. На самом деле накапливаемый исторический опыт побуждал, освободившись от цитатомании, сменить угол зрения на некоторые существенные аспекты наследия Чернышевского в целом, его романа — в частности. Это позволило бы приблизиться к объективно-историческому пониманию учения лидера русской революционной демократии во всей его неоднозначности, отказаться от упрощенных представлений и толкований ряда выдвинутых шестидесятниками важных постулатов, которые отличались гораздо большей диалектичностью, нежели представлялось иным их интерпретаторам. Касается это и более трезвых, нежели трактовалось в учебниках, представлений писателя о реальных возможностях и возможных сроках крестьянской революции в России, еще шире — понимания путей коренного социального переустройства страны.

На это с нарастающей энергией сегодня указывают историки общественной мысли. Полагаем, что концепция, выдвинутая в упомянутой публикации Е. Плимака, перспективна, она позволяет отказаться от догматических представлений, весьма распространенных в литературе о «Что делать?». Вероятно, эта концепция применительно к этому произведению (речь идет о цикличности исторического процесса) еще нуждается в дополнительной аргументации: историки общественной мысли не всегда учитывают то немаловажное обстоятельство, что художественный мир романа подчиняется своим законам и не всегда без остатка входит в авторский идейный замысел. Чернышевский-историк и Чернышевский-беллетрист неравнозначны.

Итак, сказанное, думается, убеждает в том, что современная интерпретация художественного произведения — особенно такого, как «Что делать?»,— неполноценна вне широкого контекста, и не только социально-исторического, но и культурного. Необходим также учет логики формирования и развития воззрений автора — историко-философских, социальных, этических. В отрыве от все-

го творчества писателя в целом, как предшествовавшего написанию романа, так и последовавшего за ним, любая интерпретация отдельно взятого произведения однозначна и в конечном счете вступает в противоречие с основной его мыслью, с его пафосом.

Созданные за последние годы работы, авторы которых изучают литературу в историко-функциональном аспекте, свидетельствуют, что подлинно современна лишь такая интерпретация классического произведения, которая раскрывает его живые связи с днем нынешним, делая это ненасильственно, не актуализируя искусственно его проблематику, не приноравливая к преходящим конъюнктурным обстоятельствам, а исходя из логики его художественного мира.

Опыт пропаганды классической литературы среди молодежи убеждает, что художественное произведение даже самой высокой эстетической пробы зачастую оставляет читателя конца XX в. безучастным, если не затрагивает сокровенных сторон его внутреннего мира, а словесная интерпретация шедевра искусства живописи не раскрывает органической связи его идейно-образного содержания с острейшей социально-политической, духовно-нравственной, психологической проблематикой дня текущего.

О жизненной потребности таких образцов сегодня и говорить не приходится. Достаточно напомнить эпизод, о котором взволнованно рассказано на страницах газеты «Советская Россия» (5 апреля 1988 г.). В телепередаче для юношества о фильме, посвященном гражданской войне, «комиссар своими призывами не пожалеть ничего ради революции» по меньшей мере вызывал удивление «у молодых участников обсуждения картины». А потом встала десятиклассница и сказала, что она не видит «вокруг ничего такого, за что можно было бы отдать свою жизнь».

А ведь за год до этого, «проходя» в девятом классе роман Чернышевского, она, ублажая учительницу литературы, восторгалась Рахметовым и жизненным подвигом самого Чернышевского.

Духовный потенциал классики поистине неисчерпаем, а судьба конкретных произведений зачастую непредсказуема. Неожиданный, казалось бы, успех в 60-е годы гончаровской «Обыкновенной истории» на сцене «Современника», а затем ее телевизионной версии, не менее громкий успех в начале 80-х кинопрочтения «Обломова» и нескончаемые споры, вызванные фильмом Никиты Михалкова, подтверждают это. Попытки «нетрадиционно» прочитать на сцене или экране хрестоматийно известные произведения довольно часто приводят к невосполнимым потерям, но вместе с тем нередко по-своему и обогащают литературную первооснову, если служат живым потребностям своего времени. Такая интерпретация классического романа, повести, рассказа законна.

Впрочем, при одном важном условии: необходимо в любом случае сохранять чувство меры, не превращать классическое произведение художественной литературы в своего рода Священное писание, но и не обращаться с ним как с вторичным сырьем.

В фильме Ленинградского ТВ «Открытый урок», демонстрировавшемся 12 ноября 1987 г., его герой, известный словесник-новатор Е. Н. Ильин, обращаясь к своим питомцам, старшеклассникам, советует им, занятым поиском смысла жизни, ищущим, чем ее заполнить, обратиться к роману Чернышевского «Что делать?». Это, говорит он, книга на все времена, и на все вопросы в ней даны ответы.

К сожалению, и Е. Н. Ильин, как мало кто из пропагандистов русской классики умеющий выявить неразрывную связь времен, в данном случае ограничивается заклинанием. Но если отказаться от громко звучащих, не подкрепленных конкретным анализом произведения призывов, можно убедить современного читателя в том, что ответы на вопросы, поставленные перед своими соотечественниками Чернышевским 125 лет тому назад, содержательны и выдерживают «испытание временем». Вопросы эти остаются во многом и сегодня нерешенными, а иные из ответов нуждаются в коррекции.

Вопросы, поставленные русской классикой, затрагивают судьбы не одной России, но всего человечества, его прошлое, настоящее и будущее. В них сформулированы нравственные идеалы на века, аккумулирован «всесветный» опыт. Каждое столетие, по словам Льва Толстого, имеет свою проблему в истории человечества. Но есть проблемы, уходящие своими корнями в далекое прошлое и бросающие свет далеко вперед. Наша литература бессмертна, потому что давала свои ответы на вопросы о смысле человеческого существования, добре и зле, правде и лжи. Кто виноват в бедах и горестях, преследующих человечество, и что делать, чтобы в мире утвердились мир, социальная справедливость, совестливость, добросердечие, взаимопонимание и взаимопомощь людей и народов? Классика наша учит быть твердыми и непреклонными в утверждении подлинно общечеловеческих ценностей, предостерегает от вульгаризаторских трактовок сложных явлений жизни, легкомысленных, торопливых решений. Она противостоит скепсису и цинизму, издавна разъедающим, точно ядовитая кислота, веру в здравый смысл, в этические принципы, выработанные человечеством за долгие тысячелетия и долженствующие занять свое место в фундаменте современной цивилизации. Сегодня, в частности, особенно тревожно звучит мысль о том, что всякого рода попытки «поучать историю» волюнтаристски, скоропалительно вводить готовые, искусственно создаваемые общественные модели неминуемо ведут, независимо от намерений и целей, к таким трагедиям, которые еще Достоевский пытался осмыслить в их общечеловеческой исторической значимости. Это те «проклятые вопросы», которые так мучили Ивана Карамазова и других ищущих смысл жизни его героев.

Из сказанного следует, что лишь в широком культурно-историческом контексте, с достаточно крупными масштабами должно

подходить к ответам, данным Чернышевским на вопрос «что делать?». Трезво признать, что движение времени, зигзаги исторического развития отсеяли просветительски-утопические решения, предложенные писателем не только в художественном творчестве, но и в его теоретических трудах. Они не подлежат канонизации. Так, наивно-восторженными предстают конкретно очерченные реалии светлого будущего, предсказанного и нарисованного Чернышевским в «Что делать?». Именно они, как известно, в первую очередь служили мишенью, подвергавшейся сосредоточенному обстрелу со стороны недоброжелателей романа, поводом для грубых спекуляций и утонченного снобистского сарказма, циничных нападок.

Впрочем, напомним, что и соратник Чернышевского М. Е. Салтыков-Щедрин, выступая против откровенных врагов и невольных вульгаризаторов его идей, пафоса, усматривал слабую сторону романа, его уязвимость в особом пристрастии автора к деталям и подробностям в картинах будущего. Однако он же дал «Что делать?» высокую оценку как произведению серьезному, проводящему мысль о необходимости новых жизненных основ и указавшему на эти основы. «...Всякий разумный человек,— писал М. Е. Салтыков-Щедрин,— читая упомянутый выше роман, сумеет отличить живую и разумную его идею от сочиненных и только портящих дело подробностей. Но вислоухие понимают дело иначе; они обходят существенное содержание романа и приударяют насчет подробностей, а из этих подробностей всего более соблазняет их перспектива работать с песнями и плясками» [30]

Отличить живую и разумную идею романа от сочиненных подробностей — в этом и мы усматриваем одну из важнейших задач современной интерпретации романа. Во многих сочинениях о Чернышевском, за редкими исключениями (еще раз сошлемся на труды Володина, Карякина, Плимака), авторы от этой задачи стыдливо отворачивались, чем наносился в конечном счете вред престижу великой книги и от нее отваживался современный читатель. Притом, по сути, игнорировалась «тайнопись», подтекст романа, упрощалась концепция книги в целом, которую негоже сводить к монтажу произвольно выдергиваемых цитат.

Недопустимо упрощать концепцию будущего, выдвинутую Чернышевским, тем более что уже в романе «Пролог» она существенно скорректирована им с учетом крушения надежд на взрыв массового протеста против обманных реформ 60-х годов.

Представления выдающегося мыслителя об идеальном завтра не сводимы к снам Веры Павловны. Да и достижение идеала он себе мыслил нелегким и непростым. Чернышевский отдавал себе отчет в том, что «исторический путь — не тротуар Невского проспекта; он идет целиком через поля, то пыльные, то грязные, то через болота, то через дебри. Кто боится быть покрыт пылью и выпачкать сапоги, тот не принимайся за общественную деятельность» (VII, 923). Ленин на крутых поворотах революционной истории обращался к этой глубокой мысли Чернышевского.

Уже самые ранние его дневниковые записи и эпистолярные обращения к близким доказывают, что с юных лет Чернышевский отдавал себе отчет в том, что процесс революционного обновления России сопряжен с гигантскими трудностями и опасностями для каждого, кто намерен посвятить себя этому святому делу. Суждения Чернышевского по этому поводу широко известны. Сошлемся хотя бы на несколько из них. «Вот мой образ мысли о России: неодолимое ожидание близкой революции и жажда ее...» (I, 356—357). «...Если бы мне теперь власть в руки, тотчас провозгласил бы освобождение крестьян... ограничил бы как можно более власть административную и вообще правительственную... как можно более просвещения, учения, школ. Едва ли бы не постарался дать политические права женщинам» (I, 297). «Мне кажется, что я стал по убеждениям в конечной цели человечества решительным партизаном социалистов и коммунистов и крайних республиканцев, монтаньяр решительно» (I, 122). «... У меня такой образ мыслей, что я должен с минуты на минуту ждать, что вот явятся жандармы, отвезут меня в Петербург и посадят меня в крепость, бог знает на сколько времени. Я делаю здесь такие вещи, которые пахнут каторгой...» (I, 418). Наконец, звучит как клятва: «... я нисколько не подорожу жизнью для торжества своих убеждений, для торжества свободы, равенства, братства и довольства, уничтожения нищеты и порока... и если уверен буду, что восторжествуют они, даже не пожалею, что не увижу день торжества и царства их, и сладко будет умереть, а не горько» (I, 193—194).

Но можно ли пренебречь тем, что роман этот, едва ли не самое оптимистическое произведение в русской литературе XIX в., преисполнен высокого трагизма? Между тем интерпретаторы «Что делать?», равно, впрочем, как и философских, исторических, социально-политических сочинений Чернышевского, до недавнего времени упорно и безоглядно ориентировали читателя на фанфарно-торжественное восприятие главной идеи романа, его основной коллизии и крайне неохотно, робко обращали внимание на мудрые предостережения автора, игнорировали его призыв быть готовыми к испытаниям, к длительной и суровой борьбе.

Поверхностное прочтение романа, присущее многим пред- и послесловиям к «Что делать?», объективно настраивало читателя на благостный лад, вело к демобилизации, «шапкозакидательству» и в итоге — к разочарованию в «уроках Чернышевского» при первом же столкновении с реальными трудностями, с необходимостью преодолевать их ценой жертв, самоограничения, упорного труда. Более того, такое однобокое «прочтение» не только данного «учебника жизни», но и других шедевров классической литературы — наряду с другими обстоятельствами — дорого обошлось народу на разных этапах развития общества, в том числе и в пооктябрьские десятилетия.

Что бы в свое время ни говорили противники Чернышевского (отзвуки полемики, случается, звучат по сей день — и не только в сочинениях идейных оппонентов, но и некоторых наших отечественных критиков), «Что делать?» — не кабинетное, умозрительно выстроенное произведение теоретика-рационалиста, а произведение, не случайно выросшее именно на русской национальной почве и русской действительностью воодушевленное. Роман зиждется на традиционном для русской классической литературы отрицании тех социальных условий, которые подавляли личность, равно как и тех средств достижения благоденствия немногих, которые подавляют «маленького человека», навязывают ему мнимое довольство сущим.

Выдвинув на авансцену «особенного человека», способного возглавить движение за истинную социальную справедливость, приближая к нему пока еще немногочисленных «новых людей», в известном смысле «эталонных», Чернышевский нигде не низводит рядового человека к «винтику». Роману органически присущ демократизм высокой пробы. Достаточно сослаться на историю мастерской, созданной по инициативе Веры Павловны, на взаимоотношения положительных действующих лиц романа, принадлежащих к разным слоям общества.

Живя в эпоху, когда над миром нависла угроза глобальной катастрофы, грешно не обратить внимание на то, что главный герой «Что делать?» Рахметов в минуты отдыха от повседневных подпольных дел озабочен еще неким «всемирно-историческим вопросом» — «вопросом о смешении безумия с умом» во всех исторических делах людей. Едва ли не первым всерьез обратился к этой теме историк Е. Плимак, рассуждая о стремлении Чернышевского разобраться в глубинных причинах пережитых людьми и грозящих людям катастроф. В статье этого историка «Традиции борьбы и исканий (Радищев, Чернышевский, Ленин)», в частности, сказано: «Рахметовские занятия приобретают особый смысл в наши дни, когда в мире развернулась гигантская борьба сил мира и войны, когда отражающая реальности этой борьбы политическая наука начинает все больше двигаться именно в категориях „безумия“ и „ума“». И далее: «Совершенно бесспорно: Чернышевский на ограниченном в его время историческом материале, в парадоксальной форме пришел к постановке вполне современных проблем: нависшей над людьми всемирной катастрофы, убийственному для людей злоупотреблению научно-техническим прогрессом, необходимости изменить в связи с этим сам тип мышления людей» [31].

Речь идет, разумеется, не о наличии в сочинениях Чернышевского каких-либо апокалиптических предвидений, хотя «Знамение на кровле», сказка, написанная в Сибири и переданная в 1871 г. с оказией в Петербург, при завершении Полного собрания сочинений Чернышевского в конце 40-х — начале 50-х годов бдитель-

ными чиновниками по издательской линии воспринималась как предсказание гибели мира от атомной бомбы и в состав тринадцатого тома издания не была включена [32].

В названной выше статье Е. Плимака весьма точно определяется позиция Чернышевского, ее непреходящее значение: «Чернышевский прекрасно знал, что пока еще не разум, а большей частью неразумие и недомыслие правят в окружающем его мире. Но он надеялся на то, что разум победит в исторических делах: «... люди довольно скоро умнеют, когда замечают, что им выгодно стало поумнеть, в чем прежде не замечалась им надобность». Факты сухой и точной военной науки (как и науки политической) позволяют по-новому оценить все эти раздумья Чернышевского.

Самая прямая „выгода", „надобность" поумнеть возникла у всех людей, без всяких исключений. Возможный ядерный катаклизм касается судеб самого человеческого рода. Человек должен оправдать свое родовое название — Homo sapiens — человек разумный! — иначе он вообще сойдет с лица планеты. Именно эту альтернативу сформулировал впервые обращенный к человечеству Манифест Рассела—Эйнштейна. Именно так оборачивается для конца XX века вопрос, поставленный в книге Чернышевского с неумирающим — пока живы люди — заглавием — „Что делать?"» [33].

Итак, заново перечитывая роман Чернышевского, обнаруживаешь поразительные созвучия его проблематики с заботами нашего времени.

Главный пафос «Что делать?» — в утверждении способности человека влиять на среду. Процесс формирования героев романа как личностей происходит не только и даже не столько под влиянием внешних обстоятельств, сколько в преодолении их. Говоря современным языком, они занимают активную позицию в жизни. Прежде всего это люди труда. Отличный врач Кирсанов, опытный инженер Лопухов. Отношение человека к труду характеризует героев Чернышевского в первую очередь. Подчеркивается их знание дела, профессионализм.

7

Ныне на первый план, наряду с другими вопросами, встал вопрос об общечеловеческих ценностях, о «человеческом факторе», одном из решающих в революционной перестройке нашего общества.

В эпоху преодоления рецидивов культа личности, коррупции, засилья бюрократизма, чиновничьего пренебрежения интересами масс, вещизма, бездуховности «новые люди» Чернышевского являются образцом бескорыстия, самоотверженности, подлинной интеллигентности, демократизма.

Интерпретаторы «Что делать?» чаще всего приглушали суждения Чернышевского о нравственных обязанностях тех, кому дается власть над людьми. Сколь благороден в этом отношении «особенный человек» Рахметов, готовящийся возглавить народную

революцию и задумывающийся над тем, каким должен быть стоящий во главе масс руководитель. Недаром выдающиеся деятели русского и мирового революционно-освободительного движения, в том числе большевики ленинской гвардии, равнялись на Рахметова.

В этой связи своевременно вспомнить некоторые суждения на сей счет автора «Что делать?», высказанные им в разное время и в разной связи, но во многом определившие пафос романа, написанного, можно сказать, на исходе активной общественной деятельности лидера революционеров-шестидесятников.

«...Всякое, даже самое лучшее, общество людей, тесно связанных одинаковым родом деятельности, подвергается опасности впадать в односторонность и исключительность, если его мнения не будут освежаться постоянным приливом свежих мыслей от массы всей нации» (III, 777).

«Важнейший капитал нации — нравственные качества народа» (IV, 475).

«Каждое человеческое дело успешно идет только тогда, когда руководится умом и знанием...» (V, 695).

«...Решительно ни один из элементов успешности производства не имеет такого громадного значения, как степень умственного развития в работнике» (IX, 197).

«...Каждое общественное положение, давая человеку известные права, вместе с тем налагает на него и известные обязанности. Кто не хочет или не может исполнять обязанностей, возлагаемых на него положением, в которое он поставлен, тот должен лишиться и занятого им положения» (IV, 270).

Этический идеал Чернышевского, художественно воплощенный им в образе Рахметова, оказал, как известно, заметное воздействие на русскую литературу второй половины прошлого века. Достаточно сослаться на творчество Достоевского, в частности на его роман «Идиот», в образе главного героя которого — князя Льва Николаевича Мышкина — писатель предпринял полемическую попытку противопоставить Чернышевскому свою положительную этическую программу.

Признано, что некоторые идеи и принципы Ленина-марксиста были навеяны Чернышевским, в том числе сама идея создания организации профессиональных революционеров (см. ленинскую работу «Что делать?»), само понимание человеческих качеств, какими профессиональный революционер должен обладать. Можно со всем основанием утверждать, что именно образ Рахметова привел В. И. Ленина, внимательнейшего читателя романа «Что делать?», к заключению: «Величайшая заслуга Чернышевского в том, что он не только показал, что всякий правильно думающий и действующий порядочный человек должен быть революционером, но и другое, еще более важное: каким должен быть революционер, каковы должны быть его правила, как к своей цели он должен идти, какими способами и средствами добиваться его осуществления» [34].

Рассматривая галерею «новых людей» Чернышевского и не принимая при этом в расчет эволюцию «новых людей» в «Прологе» и других беллетристических сочинениях, написанных автором «Что делать?» в годы изгнания, мы упрощаем концепцию человека у Чернышевского, представляем ее одномерной.

Человек — мера всего. «Нет ничего выше человека» (XI, 275). Этому убеждению Чернышевский остается верен всегда. Критерий этот лежит в основе его эстетической теории. Еще в своей магистерской диссертации он заявил, что идеал — это то простое и естественное, что в результате нелепых общественных условий искажено в человеке. Высочайшая красота — форма, развившаяся совершенно здоровым образом. Прекрасно то существо, в котором мы видим жизнь такой, какова одна должна быть по нашим представлениям. Примечателен вывод, заключение, к которому приходит диссертант: «Если хотите, красоте и гению не нужно удивляться; скорее надобно было бы дивиться только тому, что совершенная красота и гений так редко встречаются между людьми: ведь для этого человеку нужно было только развиться, как бы ему всегда следовало развиваться» (III, 139).

Эта идея спустя несколько лет была Чернышевским воплощена в художественной ткани «Что делать?», в образах «новых людей», в истории Веры Павловны.

Много писано о перенятом у Л. Фейербаха антропологизме Чернышевского. Гораздо существеннее, на наш взгляд, сегодня подчеркнуть, что гуманизм лидера русских революционеров-демократов близок основным чертам марксистско-ленинского учения о человеке и обществе. Сошлемся, к примеру, на ряд хронологически разновременных высказываний Чернышевского, пафос которых впоследствии был им воплощен в романе «Что делать?».

Вот одна из сравнительно ранних записей: «...деспотизм и тогда, когда употребляется для бескорыстных, благих видов... есть орудие дурное, прививающее зло к добру, которое вредит» (I, 91). Спустя годы вилюйский пленник напишет сыну: «Да, мой милый, историки и вслед за ними всякие другие люди, ученые и неученые, слишком часто ошибаются самым глупым и гадким образом, воображая, будто когда-нибудь бывало или может быть, что дурные средства — средства, пригодные для достижения хорошей цели». Называя подобные мысли глупыми, Чернышевский говорит, что «они годятся лишь для негодяев, желающих туманить ум людей и обворовывать одураченных. Средства должны быть таковы же, как цели».

Чернышевский решительно отвергал демагогически используемую человеконенавистнической философией ложную мудрость, согласно которой щепки летят, когда лес рубят... Нелишне напомнить, что современник Чернышевского Достоевский, работая над «Бесами», в материалах к своему роману-памфлету писал о лжесоциалистах: «Это мошенники очень хитрые и изучившие именно великодушную сторону души человеческой, всего чаще

юной души, чтоб уметь играть на ней как на музыкальном инструменте» [35].

Примечательно, что сказанное как Чернышевским, так и Достоевским впрямую перекликается с мыслью классиков марксизма: «Теперь мы уже знаем, какую роль играет глупость и как негодяи умеют ее эксплуатировать» [36].

В каких только грехах не обвиняли героев «Что делать?», ниспровергателей господствовавшей морали. Однако история показала, что чистота и благородство помыслов «новых людей», их готовность к самопожертвованию, вера в силу разума оградили их от потоков грязной лжи. Это о них, прообразах будущего человечества, Чернышевский писал: «Честь и слава людям, которые для пользы человечества и для поддержания справедливых убеждений не страшатся ярости и нареканий людей с узкими и отсталыми понятиями и алчных эгоистов» (V, 818).

Сегодня эти слова звучат, пожалуй, громче и убедительнее, чем когда-либо.

Так Чернышевский спустя столетие вмешивается в нынешние споры о «чистой цели» и средствах, которые она якобы оправдывает.

Время нас возвращает к истокам, к живым традициям.

[1] *Демченко А.* Чернышевский продолжается // Лит. обозрение. 1978. № 6. С. 11.

[2] Одна из последних публикаций романа: Урал. 1988. № 2–4.

[3] *Набоков В.* Дар. 2-е испр. изд. Мичиган, 1975. С. 233.

[4] Там же. С. 308, 309.

[5] См.: Вопр. лит. 1988. № 9.

[6] См.: *Кропоткин П.* Идеалы и действительность в русской литературе. СПб., 1907. С. 307.

[7] ***Плеханов Г. В.*** **Соч.: В 24 т. М.; Л., 1923–1927. Т. 5. С. 114, 115.**

[8] Убедительную критику подобных «интерпретаций» см.: *Сигрист А.* Фальсифицированный Чернышевский: стереотипы и новации // Вопр. лит. 1971. № 1; *Якушева Г.* Осторожно: фальсификация!: Н. Г. Чернышевский и его западные интерпретаторы // Лит. газ. 1978. 14 июня.

[9] *Бродский Н. Л.* Н. Г. Чернышевский и читатель 60-х годов // Народное просвещение. М., 1914.

[10] В кн.: Н. Г. Чернышевский: Неизданные тексты, статьи, материалы, воспоминания. Саратов, 1926.

[11] См.: *Травушкин Н. С.* Чернышевский в США: Прижизненные издания и материалы в печати // **Н. Г. Чернышевский: Статьи, исследования**, материалы. Саратов, 1978. Вып. 8.

[12] *Киреев Р.* Держать душу в строгости. // Лит. газ. 1987. 1 окт.

[13] *Теплинский М. В.* Изучение творчества Н. Г. Чернышевского Киев. 1981. С. 102–114.

[14] Из книги памяти народной. Саратов, 1980. С. 81–82.

[15] Там же.

[16] См.: Лит. газ. 1977. 19 окт.

[17] См.: *Николаев П. А.* Эстетические принципы Чернышевского и его роман «Что делать?» // Лит. в шк. 1953. № 3. С. 12.

[18] *Шагинян М.* Об искусстве и литературе, 1933–1957: Статьи и речи. М., 1958.

[19] См.: *Гуральник У. А.* Наследие Н. Г. Чернышевского и советское литературоведение. М., 1980.

[20] *Луначарский А. В.* Собр. соч.: В 8 т. М., 1963–1967. Т. 1. С. 229.

[21] Там же.

[22] Там же. С. 230.
[23] Там же. С. 240.
[24] *Теплинский М. В.* Изучение творчества Н. Г. Чернышевского С. 107.
[25] Вопр. лит. 1987. № 11.
[26] Комс. правда. 1976. 8 дек.
[27] В. И. Ленин о литературе и искусстве. 6-е изд. М., 1979. С. 647.
[28] *Луначарский А. В.* Собр. соч. Т. 1. С. 249.
[29] Поучительно в этом отношении призвание педагога-словесника из Риги: «Четвертый сон Веры Павловны», по его словам, «и вчера комментировать было нелегко. Но вчера Ваня и Янис больше помалкивали, а нынче они и о «казарменном рае» могут заговорить, и о принудительных попытках всеобщего осчастливливания» (Известия. 1988. 25 авг.).
[30] *Салтыков-Щедрин М. С.* Полн. собр. соч. М., 1937. Т. 6. С. 326.
[31] Вопр. лит. 1987. № 11. С. 161.
[32] Тринадцатый том составляют беллетристические произведения Чернышевского, написанные им в годы сибирской ссылки (1864–1883) и в Астрахани (1883–1889). Примечания к тому составлены А. П. Скафтымовым при участии У. А. Гуральника.
[33] Вопр. лит. 1987. № 11. С. 161.
[34] В. И. Ленин о литературе и искусстве. М., 1979. С. 649.
[35] *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. Л., 1966–1988. Т. 11. С. 55.
[36] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 30. С. 266.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Роман «Что делать?» принадлежит к тем немногочисленным — не только в русской, но и в мировой литературе — произведениям, которые по праву могут быть названы «книгами поколений»: так велико и длительно оказалось их и идейное и художественное воздействие. Эта уникальная двусторонность определила проблематику историко-функционального исследования: оно велось в основном по двум направлениям. Первое направление может быть условно названо «Роман „Что делать?“ и русский литературный процесс». Другое — «Роман и жизнь» или «Роман как учебник жизни».

В работах, относящихся к первому из этих двух направлений, прослеживается то творческое влияние, те нити творческого взаимодействия, которые связывают роман с другими произведениями русской литературы, с кругом их идей и героев, средств художественной изобразительности и выразительности, определяется то историческое место, которое занимает произведение Чернышевского в русской литературе со всем ее богатством традиций и черт новаторства. По-прежнему актуальным остается вопрос о «школе» Чернышевского в литературе. Речь идет не столько о собственно влиянии «Что делать?» на другие произведения или прямых заимствованиях из романа Чернышевского, сколько о закономерностях обращения русской литературы к одному и тому же комплексу вопросов, поставленных жизнью, и сходству ответов, на них даваемых, при различном уровне охвата проблематики и степени художественности.

Что такая закономерность объективно существовала, свидетельствуют и высказывания русской критики того же периода, что и анализируемые беллетристические произведения. При всей разноголосице критических мнений и оценок, мотив случайности, неожиданности появления такого произведения, как «Что делать?», в критике почти не слышен (только В. П. Боткин и рассуждал на тему о приемлемости для России социалистических идей). Даже непримиримое идейное противостояние писателей и критиков роману Чернышевского обнаруживает явственную органичность его связей с литературой своего времени.

Шли десятилетия; роман становился фактом истории литературы. Новые оттенки вносились в его восприятие читателями последующих поколений. Новые не только по отношению собственно к содержанию романа, но и к проблеме его художественности. Анализ того, как эволюционировало во времени представление о Чернышевском-художнике, показывает, что сама жизнеспособ-

ность романа, сила его воздействия, несомненно, была неоднозначно связана с признанием достоинств или недостатков Чернышевского-художника; что связь такого рода существовала всегда, даже в тех случаях, когда создавалось представление о преобладании чисто идейного, мировоззренческого или социально-практического моментов в восприятии «Что делать?».

И хотя в отношении «Что делать?» речь не может идти исключительно (или даже преимущественно) о месте произведения Чернышевского в собственно эстетическом сознании эпохи, роман этот, несомненно, занимал и в нем определенное место. Надо лишь помнить, что место это было особым, как особой была и судьба романа. Прежде всего потому, что отношения произведения Чернышевского с литературой, как и его отношения с действительностью, были совершенно необычными. Исторический опыт, перемены в общественных настроениях принесли с собой не только развитие представлений о «новых людях», но и деформировали эти представления, наполнили их иным содержанием, порой далеко отстоящим от того, что мы находим в романе Чернышевского. Однако это содержание было таким же результатом воздействия «Что делать?», как и первоначальные представления о новых людях.

Теперь настало наконец время снять с творчества революционных демократов «хрестоматийный глянец», показать не только «триумфальное шествие» их идей, но и драматические, даже трагические повороты деформации, перегибы в претворении высказанных Чернышевским (как и Белинским, Добролюбовым, Писаревым) весьма резких и радикальных убеждений.

Драматизм ситуаций, связанный с восприятием «Что делать?», анализируется почти во всех статьях, особенно же тех, которые условно, как мы уже говорили, могут быть отнесены ко второму направлению историко-функционального исследования, могущему быть названным «Роман и жизнь» или «Роман как учебник жизни». Здесь, естественно, преобладает изучение функционирования романа не по откликам, содержащимся в профессиональных критических статьях, литературных произведениях, но по материалам писем, дневников, воспоминаний — свидетельств самой жизни, не преломленной через художественную форму. Такой путь важен не оттого только, что эти отзывы, не предназначенные для печати, более непосредственны, а иногда и более содержательны, но прежде всего потому, что именно здесь, в сфере «сырой» жизни, особенно наглядно проявлялась беспримерная действенность романа Чернышевского.

Так, с помощью рассказа о конкретных человеческих судьбах с привлечением «жизненных документов» эпохи удается не просто показать конкретные результаты воздействия романа на читателей, но отчетливо выявить главное в отношении многих из них к литературному произведению: роман — это «учебник жизни» в полном смысле этого выражения, это — модель, образец ее сознательного «построения», жизненного творчества. Вместе с тем на

основе мемуарных свидетельств становятся очевидными и «издержки восприятия» — смешные, иногда даже уродливые формы, которые придавали своему восторженному отношению к роману некоторые его поклонники и последователи идей Чернышевского.

Среди объективных и субъективных причин, повлиявших на то впечатление, которое роман произвел на читателей, немалую роль сыграла личная судьба Чернышевского, мученика за убеждения, политического ссыльного. В этой связи особый интерес приобретает тот аспект восприятия романа «Что делать?», который был связан с правовым самосознанием русского общества. Тем более этот аспект не был ему безразличен в периоды общественного подъема — в 60-е, 70-е годы XIX в. и т. д.

Хорошо известно, какое значение придавалось действенности литературы революционными демократами. Роман «Что делать?» был, пожалуй, наиболее полным воплощением их представлений о назначении литературы. Его действительно «читали все», и для многих чтение его привело к жизненному перелому, к началу «новой жизни». Проблема «роман и читатель» —одна из важнейших в литературе вообще, а тем более в данном случае.

Закономерны поэтому вопросы: каким было представление о читателе у Чернышевского и его единомышленников, какую роль сыграли теоретические воззрения на место читателя в литературном процессе в работе Чернышевского над своим произведением? Нет сомнений, совпадение представлений автора о читателе с тем, каким этот читатель — как личность, как социальный тип — был в действительности, доскональное знание *своего* читателя имели большое значение для успеха романа.

Впрочем, потрясающий успех романа среди читателей имел и обратную сторону.

Если он, с одной стороны, усилил радикальные настроения части русского общества, то он же вызвал и соответствующую реакцию охранительных элементов, представителей государственной власти. Впечатление, произведенное романом, имело свои следствия и в тех сферах, которыми исполнялись карательные функции. И — неизбежно — усилились удары, обрушиваемые на литературу и искусство. Так, выход «Что делать?» и его успех едва не стали роковыми для Д. И. Писарева. Он тогда также был узником Петропавловской крепости. Управляющий III отделением генерал А. Л. Потапов писал шефу жандармов князю В. А. Долгорукову: «Писарев по своему преступлению подлежит лишению всех прав состояния и ссылке в каторжные работы, а потому во избежание, чтобы статьи Писарева не произвели бы тех последствий, какие произошли от романа Чернышевского «Что делать?», я полагал бы снестись с министром юстиции, не признает ли он нужным переместить Писарева в Алексеевский равелин и тогда, как выпуск его статей, так и неуместные свидания могут быть прекращены»[1]. К счастью, представление Потапова осталось без последствий. Но факты такого рода не следует забывать прежде всего потому, что они еще и еще раз напоминают об огромных

масштабах воздействия романа, в том числе и в тех областях жизни, в которых трудно было этого ожидать, или, напротив, там, где воздействие можно было предвидеть.

В контексте русского национально-освободительного движения значимость романа трудно переоценить. Важно, однако, сейчас не просто снова констатировать, что степень социально-политического и нравственного влияния романа была велика. Интереснее, вероятно, попытаться понять саму природу такого явления, каким был феноменальный успех «Что делать?». Думается, это нельзя сделать, оставаясь только в рамках литературоведческих исследований. Нужны работы историков, философов, социологов, психологов, наконец, нужен комплексный подход. Но литературоведческие исследования все же останутся изначальными, ибо (хотя порой это и забывается) «Что делать?» — это прежде всего *роман*, произведение русской *художественной* литературы XIX в.

Поэтому, не претендуя на завершенность, всесторонность своего исследования, авторы этой книги — литературоведы — тем не менее полагают, что внесли свой вклад в изучение удивительной судьбы «Что делать?», судьбы, подтверждающей, какой силой может обладать слово. Кроме того, книга позволяет сделать, быть может, самый главный вывод: в каких бы направлениях ни шло изучение «Что делать?», это исследовательское «разъединение» условно. Все направления анализа сходятся в понимании единства замысла писателя и его воплощения. Нет сомнений, когда речь идет о «Что делать?», то этому будут находиться все новые подтверждения, а значит, возможно еще не одно исследование о романе.

Вдумчивый читатель обратит внимание на то, что авторский коллектив стремился показать силу воздействия романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?» прежде всего на творчество русских писателей-демократов 1860—1870-х годов, на его восприятие и оценку революционно-демократической критикой, а также на формирование жизненного идеала народовольцев и народников — видных участников освободительного движения второй половины XIX в.

Подняв значительные пласты новых материалов, авторы труда подошли в изучении наследия писателя к черте, за которой отчетливо вырисовываются новые задачи. Чтобы полнее представить масштабы и значение вклада, внесенного Чернышевским в развитие отечественной литературы, необходимо соотнести его с вкладом таких писателей, как Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, М. Е. Салтыков-Щедрин. Все они были современниками Чернышевского и каждый из них имел с ним творческие связи.

Что может дать соотнесение Чернышевского и Толстого как мыслителей и художников? Оно поможет преодолеть давнюю и непродуктивную традицию их полного и абсолютного противопоставления. Нет ничего проще, чем увидеть то, что их разделяло. Труднее, но и гораздо важнее, заметить в их наследии такие начала, которые порождали общие черты в социально-философских, исторических, эстетических, педагогических и нравственных взгля-

дах этих писателей. Глубоко симптоматично, что общее и сходное в их воззрениях возникало чаще всего тогда, когда они обращали свою мысль к будущему нашей Родины и всего рода людского.

Как и других великих гуманистов, автора «Что делать?» и автора «Войны и мира» — романов, создававшихся почти в одно и то же время, более всего занимал феномен, который все мы называем сегодня «человеческим фактором». «Нет ничего выше человека»,— убежденно заявлял Чернышевский (XI, с. 275). «Человеческое достоинство, говорящее мне, что всякий из нас ежели не больше, то никак не меньше человек, чем великий Наполеон»,— утверждает Толстой в «Войне и мире» [2].

И то и другое сказано «на все времена». И может быть никогда еще не звучало так актуально, как в наше бурное время. Вместе с Толстым, Достоевским, Щедриным и другими его великими современниками Чернышевский входит в наше время. Как это происходит — литературоведам надлежит исследовать более подробно.

[1] Лит. наследство. М., 1936. Т. 25/26. С. 675.
[2] *Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч.: В 90-та т. М., 1932. Т. 11. С. 219.

СОДЕРЖАНИЕ

От редакционной коллегии 3

П. А. Николаев

«...ЧТОБЫ ЧИТАЛИ ВСЕ...» 5

К. В. Виноградов, Г. Г. Елизаветина

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЧИТАТЕЛЕ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ КРИТИКЕ «ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ» 14

И. П. Видуэцкая

ПИСАТЕЛИ-ДЕМОКРАТЫ 1860-х – НАЧАЛА 1880-х ГОДОВ И РОМАН ЧЕРНЫШЕВСКОГО «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 37

И. П. Видуэцкая

РОМАН «ЧТО ДЕЛАТЬ?» В ОЦЕНКЕ РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ КРИТИКИ 78

В. Ю. Троицкий

ИДЕЙНО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ БОРЬБА ВОКРУГ РОМАНА Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО «ЧТО ДЕЛАТЬ?» (Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ, Н. С. ЛЕСКОВ, И. А. ГОНЧАРОВ) 107

Э. Л. Афанасьев

РОМАН Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО «ЧТО ДЕЛАТЬ?» И ЖИЗНЕННЫЙ ИДЕАЛ НАРОДОВОЛЬЦА 143

И. В. Кондаков

«ЧТО ДЕЛАТЬ?» КАК ФИЛОСОФСКО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РОМАН (К ДИАЛЕКТИКЕ СОЗНАНИЯ И САМОСОЗНАНИЯ СТАНОВЯЩЕГОСЯ ЖАНРА) 183

У. А. Гуральник, Ю. У Гуральник

РОМАН «ЧТО ДЕЛАТЬ?» СЕГОДНЯ. ОПЫТ СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 218

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 242

Научное издание

«ЧТО ДЕЛАТЬ?»
Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО
Историко-функциональное исследование

Утверждено к печати
Институтом мировой литературы им. А. М. Горького
Академии наук СССР

Редактор издательства *Г. И. Романова*
Художник *С. А. Резников*
Художественный редактор *М. Л. Храмцов*
Технические редакторы *Е. Ф. Альберт, Л. И. Куприянова*
Корректоры *Р. С. Алимова, Л. А. Лебедева*

ИБ № 46298

Сдано в набор 18.10.89. Подписано к печати 18.04.90
А-08462. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага офсетная № 1

Гарнитура обыкновенная. Печать высокая
Усл. печ. л. 15,5. Усл. кр. отт. 15,75. Уч.-изд. л. 18,3
Тираж 2250 экз. Тип. зак. 4126
Цена 2 р. 80 к.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Наука»
117864, ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90

2-я типография издательства «Наука»
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6

„ЧТО ДЕЛАТЬ?"
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Историко-функциональное исследование

Что привлекало
внимание читателей
к роману Чернышевского
на протяжении десятилетий
и что составляет
сегодня его «душу живу»? —
на эти вопросы стремились
ответить авторы книги.

2 р. 80 к.